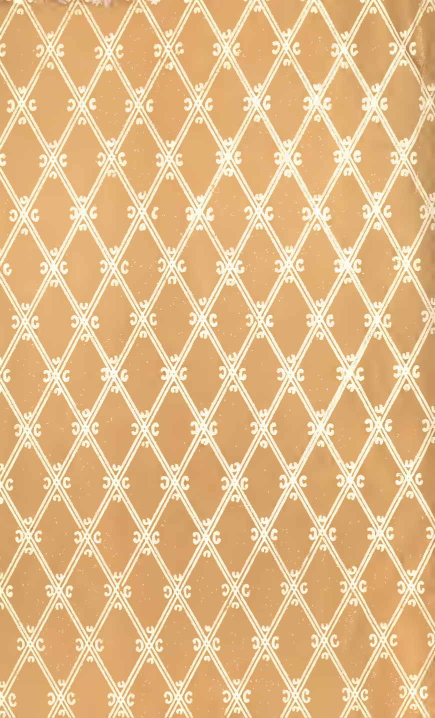
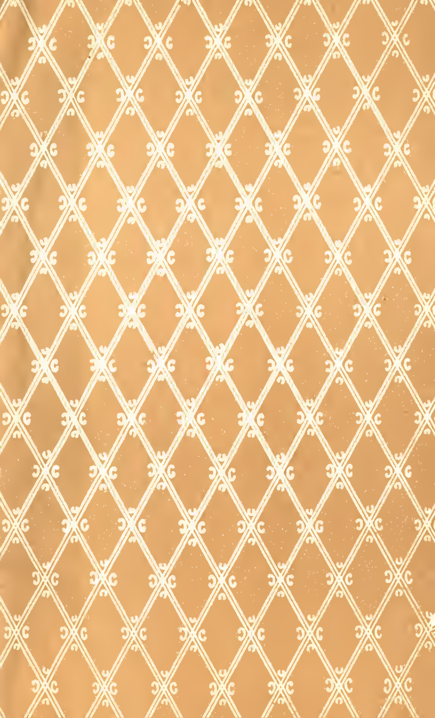
Л. Н. ТОЛСТОЙ

Кавказские рассказы и повести





Л. Н. ТОЛСТОЙ



КАВКАЗСКИЕ РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1983

Р1
Т 53

Составление, предисловие, примечания и словарь
Дмитрия Жукова

Художник **Н. И. Крылов**

Т $\frac{4702010100-138}{М\text{-}105(03)83}$ доп.— 83

КАВКАЗСКАЯ ЭПОПЕЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения и страсти истребления себе подобных? («Набег»).

1

На Кавказе Л. Н. Толстой провел два года и восемь месяцев, едва ли не самых важных в его жизни, потому что именно здесь он состоялся как писатель. Здесь дано было осуществиться напряженным поискам жизненного предназначения Толстого. Здесь он окунулся в гущу событий, народного и военного быта, еще сильнее заворожила его многослойная живая раскованная речь. Новизна впечатлений, встречи с людьми, каждая из которых была открытием нового характера, и, наконец, участие в военных действиях — все это не только побудило его к творчеству, но и дало толчок тем мыслям и образной системе, которые стали характерными для всей последующей литературной деятельности Толстого, представлявшей, по словам Ленина, «шаг вперед в художественном развитии всего человечества»[1].

---

[1] Ленин В. И. Л. Н. Толстой.— Полн. собр. соч., т. 20, с. 19.

Разумеется, не будь Кавказа в жизни Толстого, все равно он стал бы литератором, потому что ему на роду написано пристально вглядываться в действительность и без конца думать о ней, прислушиваться к малейшим движениям собственной души и пытаться найти причины и следствия поступков человеческих, постоянно страдать и волноваться, что он может умереть и не сказать то, «что дало бы благо людям, избавило бы их от страданий, дало бы утешение». Всю жизнь он искал истину, свою «правду», которая, при всей ее субъективности, по большей части приближалась к правде общечеловеческой, что определило и величие самого Толстого.

Он имел весьма смутное представление о Кавказе, отправившись в апреле 1851 года с братом Николаем в дальний путь из Ясной Поляны. Старший Толстой служил в 20-й артиллерийской бригаде, стоявшей тогда на Тереке. За плечами у Льва Толстого было всего двадцать два года жизни, из которых последние пять отданы попытке получить достойное образование в Казанском университете, чтению серьезной литературы, которому положила начало студенческая работа над сравнением «Наказа» Екатерины II и «Духа законов» Монтескье, увлечению Руссо. Неудовлетворенность казенным учебным заведением заставила его бросить университет и составить обширную программу самообразования...

Потом были раздумья, метания, безденежье и долги, «внезапно пришедшая в голову фантазия» уехать на Кавказ, не уволившись с формальной службы в Тульском губернском управлении и не выправив паспорта, путешествие по Волге до Астрахани, а потом на перекладных до станицы Старогладковской, где 30 мая 1851 года Толстой записал в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже».

В разное время жизни по-разному оцениваются переживания молодости. Жизнь кажется ужасной в лучшую ее пору, которая представляется сплошной чередой неприятностей, неловких поступков и обид, поскольку душа еще легко ранима и ничего не сделано для самоутверждения. Жалобы в дневнике на лень, на разочарование в кавказской природе и собственной «лихости» надо воспринимать с большой скидкой на возраст.

Позднее он писал: «...я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал *туда,*

как в это время, продолжавшееся два года. И все, что я нашел тогда, останется моим убеждением».

Дневник («записки того времени») чрезвычайно богат мыслями о творчестве, которое представлялось Толстому способом постижения истины, а не самоцелью. Еще почти ничего не написавший, он исполнен сознания, что ему предстоит громадная работа, и нащупывает собственный путь в литературе. Он хочет понять границы между прозой и поэзией и высказывает предположение, что поэзия — не только стихи, а все написанное хорошо, «исключая деловых бумаг и учебных книг». И вслед за Гоголем приходит к мысли, что все сочинения, чтобы быть хорошими, должны выпеться из души сочинителя. Его заботит, как народ поймет сочинителя. «У народа есть своя литература — прекрасная, неподражаемая; но она не подделка, она выпевается из среды самого народа». И Толстой решает не подражать народной литературе, а идти своим путем, искать новое, высшее (речь идет об образованности, ином круге интересов), «народ не отстанет». И еще он решает не стесняться передавать собственные, даже потаенные, мысли и показывать свои слабости.

Тогда Толстой писал «Детство», замысел которого созрел у него уже давно. Он следовал «формам выражения», найденным его любимым писателем Стерном в «Сентиментальном путешествии», но оставался в русле русской традиции, ярко проявившейся в лермонтовском «журнале» Печорина, блестящем сочинении откровенной исповеди героя. Однако если Печорин — сложившийся и неизменный характер, то герой Толстого — ребенок (рождающийся, по мысли Руссо, совершенным) — развивается и со временем под влиянием неправильного воспитания и обстоятельств даже обретает дурные черты. Это насыщало «Детство» критическим содержанием, предвещало начало романа...

В середине этой работы, через месяц с небольшим после прибытия на Кавказ, 3 июля 1851 года в дневнике Толстого появляется запись: «Был в набеге». Еще не окончив «Детства», он принялся (в мае 1852 года) за «Письмо с Кавказа», которое писал трудно, постоянно коря себя за «необработанность слога», за излишнюю «сатиру», что считал недостатком серьезного произведения. Уже появилась в «Современнике» его повесть о детстве и лестные отзывы на нее. Толстой старался оправдать сложившееся впечатление, работал над «Письмом с Кавказа» («Набегом») до самого конца 1852 года, отделывая и переделывая его, затратив на эту небольшую вещь почти восемь месяцев. Прав был Некрасов, назвавший его в письме к Тургеневу талантом «надежным».

Зато он «нашел тогда» все те характерные черты своей прозы, которые теперь считаются толстовским стилем, и потому на

первый очерк-рассказ Толстого «Набег» следовало бы обратить особое внимание.

Прежде всего это развенчивание романтического представления о Кавказе, укоренившегося в русском читающем обществе, а следовательно, питавшего и воображение самого Толстого до его встречи с кавказской действительностью. Развенчивание начинается едва ли не с первой страницы «Набега», где появляется капитан Хлопов. Тотчас в памяти возникает лермонтовский штабс-капитан Максим Максимыч. Однако разница есть, и существенная. Если старый кавказский служака Максим Максимыч может выразиться несколько выспренно: «Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца», — то Хлопов начисто лишен способности говорить красиво. Он скромно и честно исполняет свой воинский долг и будично, трезво относится к вопросу о храбрости, так много занимавшему Толстого и молодых офицеров. Показная храбрость ему кажется странной. «Здесь, батюшка, никого не удивишь», — говорит он и дает такое определение: «Храбрый тот, кто ведет себя как следует». Хлопов стоит у начала замечательных толстовских образов простых армейских офицеров, приведших к Тушину из «Войны и мира».

Еще Лермонтов с большой долей иронии рассказывал о казказских офицерах, воспитанных на «Кавказском пленнике» Пушкина, грезивших о рыцарских подвигах, зарабатывавших ордена, но не чины. Но у того же Лермонтова глаза Печорина «сияли каким-то фосфорическим блеском» и было достаточно романтики, чтобы пленять молодежь.

Прошло всего десять лет с того времени, когда был написан «Герой нашего времени», и многое стало меняться и в действительности, и в отражавшей ее литературе. Но приметы романтического времени еще живут в «Набеге» Толстого. Здесь и милый восторженный мальчик, прапорщик Аланин, предваривший Петю Ростова. Здесь и «высокий и красивый офицер в азиятской одежде», один из «удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову», которые «смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулла-Нуров и т. п.». Розенкранц, совершающий свои романтические подвиги, в которых так много показного, заимствованного, окарикатурен Толстым, так боровшимся с «сатирой» в своем рассказе, но мысль и образ явно перекликаются с лермонтовскими. Вспомним хотя бы «романтический фанатизм» Грушницкого, который в деле махает шашкой, кричит и бросается вперед зажмуря глаза. «Это что-то не русская храбрость!..» — говорит Лермонтов устами Печорина.

Опираясь иа дневинки Толстого, обычио говорят о главной теме кавказских рассказов как о теме храбрости, и при этом подчеркивается исследование писателем психологической природы храбрости. Но, по-видимому, эта традиционная для русской литературы тема все-таки ие главиое в «Набеге». Преодолев пришедшую иа смену романтической приподнятости приземлениость очерка «натуральиой школы», Толстой сумел обобщить факты и возвысить очерк до подлииио художественного рассказа. Уже тогда он выработал собствениую поэтику, и скорее даже ие «выработал», а проявил упрямое иежелаиие следовать образцам и стремление «соедиинть вдруг поэзию с прозой», то есть факт с художественностью. Отчетливо и сразу проявилась и толстовская манера — давать кроме факта и образа объяснеиия к иим, и хотя он тогда же, в молодости, считал отступления «дурной привычкой, а не обильиостью мыслей» и писал в дневнике 1851 года, что «отступления тяжелы даже» у его любимого писателя Стерна, искоренить это свое свойство ои ие мог до самого коица.

Поразительна иаблюдательность Толстого, проявившаяся в обширных и красочных описаииях природы и человеческих типов, без особенного приискаиия эпитетов, что так мучило его последователей, стремившихся удивить читателя своей наблюдательностью и изыскаиностью иагромождаемых определеиий.

Описания Толстого еще существуют сами по себе, ие слиты с действием или главной мыслью, ио оии и сами по себе точны и прекрасны, как вот этот рассвет дия набега: «Серые и беловатые камии, желто-зелеиый мох, покрытые росой кусты держи-дерева, кизила и карагача обозиачились с чрезвычайиой ясностию и выпуклостию на прозрачиом, золотистом свете восхода; зато другая сторона и лощииа, покрытая густым туманом, который волновался дымчатыми неровиымн слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледио-лилового, почти чериого, темно-зеленого и белого».

В «Набеге» уже можно увидеть такие типичные и для позднего Толстого обороты, как: «Бедный мальчик! он еще ие зиал, что...» Опережение событий ради подстегивания читательского интереса присутствует и в сцене беззаботиого поведеиия офицеров и солдат, идущих в набег: «Как будто нельзя было и предположить, что иекоторым уже не суждено вериуться по этой дороге!»

Подлинным героем рассказа оказывается скромный капитан Хлопов («у иего была одна из тех простых, спокойиых русских физиоиомий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза»), с виду такой маловоииствениый, и он иедвусмысленио противопоставляется и красивому самоувереииому генералу, способиому изящно изъясняться по-фраицузски и шутить с хорошенькой жен-

щиной, как будто ему предстоит не бой, а бал, и Розенкранцу, и даже Аланину, и тому «кроткому» поручику К., который досадует, что ему не позволили идти стрелять в черкесов... Ближе всех по духу Хлопову старый солдат, сожалеющий о безрассудности, из-за которой поплатился жизнью Аланин.

Подчеркивая суетность одних и *храброе* здравомыслие других, Толстой старается понять смысл кавказской войны, но кроме мыслей, вынесенных в эпиграф этой статьи, недоумения по поводу «страсти истреблять себе подобных», зрелища величественного, но «лишнего», он ничего не выносит из набега. «Невольно приходило сравнение человека, который сплеча рубил бы воздух».

К тому времени, когда писался «Набег», Толстой уже съездил в Тифлис, был принят на военную службу, ходил со своей батареей в походы, в бою при Мичике в феврале 1852 года чудом остался жив — ядро попало в колесо орудия, которое он наводил... Казалось бы, он мог шире захватить кавказские события, однако, ставя перед собой определенную задачу — впечатления человека, только что приехавшего в эти края и попросившегося добровольцем в набег, он сознательно избегал всего, что противоречило бы замыслу.

Толстой *никогда* не был тем, что мы называем «цельной натурой». В нем как бы соединилось множество личностей, наделенных самыми различными страстями и характерами. Какой бы образ ни рисовался Толстому, всякий раз он черпал психологические черты в собственном душевном опыте. И никогда не смешивал противоречивые натуры, из которых был соткан, тщательно оберегая цельность образа, добиваясь удивительной художественной правды.

В одном из вариантов «Набега» он писал: «Для меня давно прошло то время, когда я один, расхаживая по комнате и размахивая руками, воображал себя героем, сразу убивающим бесчисленное множество людей и получающим за это чин генерала и бессмертную славу». Художественная правда «Набега» требовала совсем не этого. И если капитан Хлопов говорит рассказчику: «Хочется вам узнать, какие сражения бывают? прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны» — прекрасная книга: там все подробно описано, и где какой корпус стоял, и как сражения происходят», то получает ответ: «Напротив, это-то меня не занимает».

Это будет занимать Толстого, когда он примется за «Войну и мир» и станет полемизировать с историком Михайловским-Данилевским. Теперь же его занимает «только вопрос: под влиянием какого чувства решается человек без видимой пользы подвергать

ссбя опасности и, что еще удивительнее, убивать себе подобных?» Он перебирает возможные чувства: самосохранения, долга, злобы...

«Набег», печатавшийся в «Современнике», подвергся основательной цензурной обработке. За неимением рукописи, посланной в журнал, теперь трудно судить, входили ли в нее такие впечатляющие сцены из черновых вариантов, как убийство карабинером молодой женщины-чеченки, а потом избиение этого солдата за неоправданную жестокость капитаном и рассуждение рассказчика, укоряющего карабинера за его безумный поступок и предположившего, что где-то в Т. губернии буяны фабричные ударили бы его жену Аксинию и размозжили медной кружкой головку его малолетнего сынка Алешки...

Это сопоставление не случайно. Что же такое война? «Какое непонятное явление <в роде человеческом>. Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? внутренний голос всегда отвечает: нет». Нет-то оно нет, и все-таки что-то делает это «неестественное явление» постоянным. И в свои двадцать с небольшим Толстой задумывается над справедливостью и несправедливостью войн.

«Кто станет сомневаться, что в войне Русских с Горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещенные русские владения от грабежей, убийств, набегов народов диких и воинственных?» — спрашивает Толстой в одном из вариантов. Любопытно, что именно в 1851 году, когда Толстой ходил в набег, К. Маркс написал, что «Россия действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку... господство России играет цивилизаторскую роль для Черного и Каспийского морей и Центральной Азии, для башкир и татар»[1].

Но одно дело — высшие соображения, а другое — «какой-нибудь Джеми», который хватает со стены сакли старую винтовку, и солдаты, которые тоже не своей волей пришли на Кавказ. И как можно сравнить этих людей с тем же генералом, знакомым адъютантом или саксонским немцем Каспаром Лаврентьевичем, которого нелегкая занесла на Кавказ!

Тут-то и возникли сложности, заставившие Толстого трудиться над таким маленьким рассказом, как «Набег», целых восемь месяцев.

Произведения Льва Толстого о Кавказе стоят особняком во всем громадном творческом наследии писателя. Составляя небольшой том, они потребовали от него невероятных усилий и очень протяженного во времени труда. Почти шестьдесят лет можно

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 27, с. 241.

насчитать с мая 1852 года, когда Толстой начал свою работу над рассказом-очерком «Набег», и до 28 октября 1910 года, когда он ночью навсегда покинул Ясную Поляну, оставив в письменном столе рукопись «Хаджи-Мурата», которую считал еще не вполне отделанной.

Казалось бы, личные впечатления кавказской службы Толстого должны были облегчить выполнение задач, которые он ставил перед собой, но мы знаем, что «Казаки» писались с перерывами более десяти лет (1852—1862) и увидели свет незаконченными. Уже работая над «Войной и миром», Толстой мечтал закончить свою повесть, писал в дневнике о «казаках будущих»... Потом он не раз возвращался к кавказским воспоминаниям, много читал о прошедшей войне, пока в июле 1896 года не появилась заметка в записной книжке: «Татарин на дороге. Хаджи-Мурат», что положило начало новой мучительной работе, которая из замысла рассказа «Репей» выросла в «Хаджи-Мурата», так и не увидевшего свет при жизни Толстого.

Почему же была так трудна и длительна работа Толстого над кавказскими вещами? Это загадка, на которую он сам не дал ответа. Неужели увиденное сковывало фантазию и тормозило осуществление замыслов? Или кавказская тема так сложна, что требует необыкновенной тщательности и внимания?

По-видимому, последнее.

Восхитившись во введении к «Хаджи-Мурату» энергией и жизнестойкостью куста «татарина», Толстой писал: «И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе...» И начал свой рассказ просто: «Это было в конце 1851 года».

Не упомянув о своей громадной работе над историческими источниками, в повести превратившимися в простые свидетельства очевидцев, писатель действовал так, как подсказывало ему художественное чутье, — исключил всякий намек на книжность, пересказ, вторичность. Но он уже провидчески предугадывал тягу будущих поколений читателей к исторической точности.

Что же стоит за толстовскими «видел» и «слышал»?

2

В прошлом веке была широко известна солдатская песня, родившаяся на Кавказе во время одной из самых затяжных войн в истории нашего государства:

Ты зачем, мой друг, стремишься
На сей погибельный Кавказ?

Ты оттоль не возвратишься —
Говорит мне тайный глас!

Но для одних Кавказ был погибельным, другие же находили на нем то, чего не было, например, в чиновном Петербурге. Солдатская и офицерская жизнь, сводившаяся в центральных губерниях к бессмыслице гарнизонной службы, муштровке и парадам, к мелочной придирчивости начальников по пустякам, на Кавказе становилась иной — здесь допускалась определенная вольность нравов, свобода разговоров, да и сами взаимоотношения между офицерами и солдатами под пулями были другими, и во всей Кавказской армии, за малыми и осуждаемыми исключениями, царил дух, противный казенной рассудочности.

Кавказ и пугал и притягивал.

После Отечественной войны 1812 года русское общество, охваченное патриотическим порывом, еще долго воспринимало с восторгом описания подвигов, почитало героев, сложивших головы на полях сражений. Многие из героев, оставшиеся в живых, были совсем молодыми и не лишенными литературной жилки. Они искали в недалеком и давнем былом выхода своей восторженности, благородства чувств, обуревавшей их жажды событий. Те же настроения владели и поколением поэтов, которые не принимали непосредственного участия в войне, но возросли в атмосфере победного ликования, общались с живыми героями, и это была более чем благодатная почва для крепнувшего, ветвящегося, буйно зеленеющего древа российской словесности.

Для русских романтиков первой половины девятнадцатого столетия, пожалуй, не было более притягательной темы, чем кавказская. Да и где могла найтись романтика, как не на Кавказе, с его величественной и дикой природой, множеством народов и племен, разнообразием обычаев, языков и одежд, с гибельными страстями.

По своей и не по своей воле на Кавказе побывали лучшие из лучших представителей мыслящей России, и на каждого это пребывание производило неизгладимое впечатление. Перечень русских писателей, чье творчество было в значительной степени оплодотворено прикосновением к Кавказу, тому порукой. Это Грибоедов и Бестужев-Марлинский, это Пушкин и Лермонтов, это Кюхельбекер, Полежаев, литераторы-декабристы...

Читателю девятнадцатого века было гораздо легче ориентироваться в кавказских произведениях русских писателей, потому что на памяти еще были события войны, публиковалась масса воспоминаний. Но события эти для современного читателя, не заглядывающего в специальные труды, малоизвестны. Произведения же

классиков остаются и сегодня фактом нашей действительности, составной частью нашего исторического образования. Полны реалий и упоминаний действительных событий и произведения Льва Толстого, который был крайне щепетилен в отношении исторической достоверности своих сочинений.

В сделанном в 1852 году наброске «Записка о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт» он даже выражал опасение, что читатели, воспитанные, как и он, на писателях-романтиках, не поймут его, поскольку и сам он «решительно становился в тупик», видя несоответствие «увлекательной поэмы на незнакомом языке» и того, что он увидел в действительности, которая, впрочем, была не хуже, а может быть, даже лучше воображаемого.

Сперва это касалось только примет, сразу бросающихся в глаза, — «черкесов нет — есть чеченцы, кумыки, абазехи и т. д. ... чинар нет, есть буг, известное р[усское] дерево, голубоглазых черкешенок нет... От многих еще звучных слов и поэтических образов должно вам будет отказаться, ежели вы будете читать мои рассказы». Он обещает новые образы, которые будут ближе к действительности и не менее поэтичны. И не без лукавства тут же сообщает, что кавказские дамы «жили в Чечне — на Кавказе — стране дикой, поэтической и воинственной точно так же, как бы они жили в городе Саратове или Орле».

А вот с отображением самой кавказской войны дело обстояло посерьезнее. Да, была имперская политика череды монархов России, было стремление покорить мятежных горцев, были оправданное осуществление стратегических планов и неоправданная жестокость, были борьба горцев за независимость и фанатическое изуверство мусульманских владык... И были подвиги и страдания героев обеих сторон, целых народов. Но было и другое — самое ценное для нас сейчас, в нашем многонациональном государстве. Ни у одного из русских писателей, создавших так много произведений о Кавказе, нет и намека на национальное высокомерие. С громадным уважением писали они о горцах, их обычаях, своеобразной культуре, поэтизируя образы джигитов, наделяя их благородными чертами и побуждениями, сожалея о взаимно проливаемой крови.

Судьбе Льва Толстого было угодно распорядиться так, что он оказался на Кавказе в период активизации военных действий, в завершающее десятилетие событий, имеющих едва ли не тысячелетнюю историю. Дореволюционные историки вспоминали еще о походах Олега и Святослава, о русском княжестве Тмутаракань на Кавказе, о женитьбе Юрия, сына Андрея Боголюбского, на грузинской царице Тамаре. Татарское нашествие перечеркнуло на несколько веков и связи, и борьбу, и естественное развитие Руси и

Кавказа. Оказавшись в станице Старогладковской, в которой жили гребенские казаки, Толстой прикоснулся к седой старине. В повести «Казаки» он дал историческую справку о «воинственных, красивых и богатых» станичниках. «Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры...»

Легенде бы не стоило верить, потому что раскол православной веры на «старую» и «новую» произошел спустя почти сто лет после царствования Ивана Грозного, а старообрядчество, скорее всего, было принесено бежавшими на Терек мятежниками стрельцами уже при Петре I. Теперь трудно выяснить, чьими потомками были гребенские казаки, — то ли тмутараканцев, то ли беглых крестьян из Рязанского княжества, которые слились с местным населением и тремястами донскими казаками, в 1582 году переселившимися в урочище Гребни. Но еще в 1557 году, когда Кабарда добровольно вошла в состав Русского государства, Иван Грозный, женившийся вскоре на кабардинской княжне Марии Темрюковне, принимал и старейшин гребенских казаков, пожаловав их «рекою вольною Тереком» и приказав им беречь его «кабардинскую вотчину». Тогда же послы многострадальной Грузии побывали в Москве и «били челом, чтобы единственный православный государь принял их народ и спас их жизнь и душу»[1].

С той поры, выполняя договоры с Грузией и стараясь оградить свою «кабардинскую вотчину» от противников, русские цари считали себя вправе вмешиваться в кавказские дела. Опираясь на терских и гребенских казаков, уже тогда русское войско под началом воеводы Хворостина, а в 1604 году — воевод Бутурлина и Плещеева пыталось соединиться с грузинской ратью, но между ними непреодолимой преградой стоял Дагестан. Брали они Тарки, столицу шамхала, владельца большей части Дагестана, но отступали с уроном. Пытался взять Тарки и Степан Разин во время своего персидского похода. «Лев Ирана» Шах-Аббас вторгался в Грузию, обращал в руины цветущую страну, заливал ее кровью. И вновь приезжали грузинские послы, на этот раз к царю Алексею

[1] Кавказ и его герои. Спб., 1902, с. 13.

Михайловичу, с просьбой о помощи. Их принимали радушно, но помощи оказать не могли.

Ходил на Кавказ и петровский полководец Апраксин, уговоривший гребенцев перейти на левый берег Терека, и таким образом образовалось пять станиц — Червленная, Щедринская, Старогладковская, Новогладковская и Курдюковская, собирательный облик которых можно узнать в Новомлинской станице толстовских «Казаков». Сам Петр I тоже побывал на Кавказе и в своем стремлении открыть путь для России в Индию через Персию дошел до Дербента.

После Петра военные действия на Кавказе носили характер случайных экспедиций. Казаки постепенно обращались в старообрядчество, жили с горцами мирно, даже роднились. Горские предводители и те в 1755 году писали в Петербург, что «издревле имеют с казаками доброе обхождение».

В 1983 году исполнилось 200 лет со дня подписания Георгиевского договора-трактата, «ставшего первым манифестом дружбы и братства русского и грузинского народов»[1].

С присоединением в 1801 году Грузии и Азербайджана началась собственно кавказская война, призванная оградить надежным щитом, как выразился Толстой, «все смежные богатые и просвещенные русские владения». Географически Тифлис с Россией связывала лишь Военно-Грузинская дорога, проложенная через Кавказский хребет по Дарьяльскому ущелью. Сохранению этой ниточки, а потом и полному овладению Северным Кавказом и была подчинена стратегия и практика затяжной войны. В 1816 году главнокомандующим на Кавказ был назначен А. П. Ермолов, герой Отечественной войны. Он начал планомерное продвижение в глубь Чечни и Горного Дагестана, создавал укрепления, и в том числе крепость Грозную, изображенную в «Набеге», прорубал просеки в густых кавказских лесах. Убежденный в том, что на Востоке уважают лишь того, кто силен и жесток, Ермолов действовал решительно. И в то же время суворовский выученик с львиной внешностью оставил о себе добрую память у передовых русских людей. Недаром на «проконсула Кавказа» рассчитывали декабристы. Он окружил себя храбрыми командирами и блестящими умами. Чего стоил один Грибоедов, которого он буквально спас после декабрьских событий в Петербурге. Среди офицеров Ермолов культивировал отвагу и честь, что в немалой степени способствовало романтическим настроениям. Именно он, высказывавшийся смело и одевавшийся просто, не по уставу, положил начало кавказской традиции вести вольные разговоры, держаться свободно,

[1] Правда, 1983, 11 марта.

«Следуя примеру начальника, войска тоже не придерживались строго формы одежды; каждый солдат, каждый офицер одевался, как считал для себя удобнее: у кого была на голове папаха, у кого черкесская шапка, кто в архалухе, а кто в чекмене. Солдаты шли вольно, смотрели весело...» — вспоминал один из современников. И это была не мелочь — «вольный дух» Кавказа отражался на русской литературе. И через много лет Толстой в своем «Набеге» и других произведениях уделит большое внимание быту кавказских воинов, удивляясь ему сам и понимая, какое это произведет впечатление на российского читателя, скованного николаевской регламентацией.

Ермолов подчинил русскому владычеству почти весь Дагестан, Чечню и Закубанье. Сменил его в 1827 году генерал И. Ф. Паскевич, который, вернувшись к тактике карательных экспедиций в горы, все растерял. В горах росло сопротивление. И прежде вспыхивали восстания, под руководством шейха Мансура, Бей-Булата... Теперь же в горах возникло религиозно-государственное образование — имамат. В. И. Ленин отмечал, что «выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития, а не одной России»[1].

В конце 20-х годов прошлого века Гази-Магомед, известный на Кавказе также под именем Кази-муллы, выдвинул идею объединения народов Дагестана и Чечни под лозунгом газавата — священной войны против неверных. Проповедь его имела тем больший успех у горцев, что он выступил и против местных ханов и других феодалов, числившихся обычно на имперской службе и имевших чины, вплоть до генеральских. Он и стал первым имамом Дагестана. Имам в исламе сосредоточивает в своих руках всю полноту светской и религиозной власти, и на Кавказе эта власть была подкреплена крепкой организацией фанатичных мюридов — учеников религиозного руководителя, гвардией его, из рядов которой выходили наибы — начальники областей Чечни и Дагестана и горские полководцы.

Чечня — это горы, не очень высокие и крутые, поросшие могучими лесами до самых вершин, это широкие плодородные долины рек. Иное дело — Дагестан, сверху напоминающий бушующее море с грозными валами, которые вдруг остановились, замерли навек, превратились в безлесные хребты, на крутых каменистых склонах которых лепятся горные аулы, сакля над саклей, которые кажутся слитыми воедино, представляются гигантскими небо-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 228.

скребами. А бешеные горные реки мчатся в теснинах, в проточенных водой узких ущельях с отвесными километровыми стенами, и, стоя у гремучего потока, можно увидеть лишь узкую полоску неба наверху.

Гази-Магомед и его ученик Шамиль сознательно готовили себя в вожди народа, осуждали, а потом преследовали роскошь, питье вина и курение табаку. Объявив газават, Гази-Магомед надел белую чалму, а его мюриды носили белые повязки поверх папах. Его аскетизм, исступленные речи увлекли горцев. Они пытались взять столицу аварских ханов Хунзах, ходили в походы на русские владения, брали Тарки и Кизляр, осаждали Дербент. Но рядовые горцы, не дождавшись обещанного имамом уничтожения сословного неравенства, отходили от имама.

Очередной главнокомандующий на Кавказе генерал Г. В. Розен, пройдя с войском всю Чечню и часть Дагестана, подступил к Гимрам, где засел имам с горстью мюридов, среди которых был Шамиль. 17 октября 1832 года в сражении имам Гази-Магомед был убит, а Шамиль ранен. Шедший с тысячью человек на выручку к имаму его ближайший мюрид Гамзат-бек мог только наблюдать осаду Гимров со скалы, нависшей над ущельем. Решительный и честолюбивый Гамзат-бек был «чанкой», сыном хана от женщины низкого происхождения. Провозгласив себя вторым имамом, он удачными действиями привлек на свою сторону почти все народы Горного Дагестана, взял наконец Хунзах и, домогаясь ханского титула, истребил всю семью аварских ханов, но и сам погиб в результате кровной мести, которую осуществили два брата — Осман и Хаджи-Мурат, о чем Лев Толстой и рассказал подробно в своей последней повести.

Третим имамом стал Шамиль. Он был намного умнее, настойчивее, а главное, политически талантливее своих предшественников. Изворотливость и смелость его породили на Кавказе тысячи легенд. Десятки раз царские генералы добирались до сердца гор, осаждали Шамиля, но он, даже раненый, прорывался, уходил, объявлялся в другом месте, произносил зажигательные речи, поднимал новые восстания, вербовал все новых мюридов, укреплял свой имамат, приобретавший все бóльшие государственные черты, несмотря на отсутствие столицы и четких границ. Влияние же Шамиля распространялось от моря до моря.

Лев Толстой приехал на Кавказ, когда главнокомандующим там был генерал М. С. Воронцов, который в 1845 году разрушил резиденцию Шамиля аул Дарго, но там же попал в окружение и едва спасся, потеряв треть солдат, все орудия и обоз. Именно об этом событии говорил в «Набеге» капитан Хлопов («В Дарги ходили, на неделю сухарей взяли, а пробыли чуть не месяц!»). Во-

роицов вернулся к ермоловской тактике планомерного продвижения в глубь горских территорий, к прорубке просек в лесах...

В то самое время, когда Толстой ездил в Тифлис хлопотать о поступлении на военную службу, туда привезли Хаджи-Мурата. Толстой не видел его, но читал, видимо, в местной газете о «важном раздоре» с имамом этого «самого смелого, предприимчивого, воинственного и любимого народом из наибов Шамиля» и написал своему брату Сергею Николаевичу 23 декабря 1851 года: «Ежели хочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец по всей Чечне, а сделал подлость». Судя тогда чисто по-человечески о поступке наиба как о предательстве, Толстой еще не знал всех обстоятельств. Известный советский знаток мюридизма на Кавказе Н. А. Смирнов разыскал в архивах документы, повествовавшие о том, как в 1852 году к русскому командованию явился Халет-эфенди, еще один сподвижник Шамиля, и рассказал, что в нагорных обществах Дагестана господствует всеобщее уныние, близкое к отчаянию. Война истребила цвет горского населения. Шамиль в каждом сильном человеке видит опасного соперника, хочет сделать свою власть наследственной, проча в имамы сына Гази-Мухамеда, и поэтому террор, составлявший основу его могущества, стал в последнее время особенно нестерпимым. Сохранившие достоинство горцы мечтают о восстании против власти имама, но некому возглавить выступление. Всякий мыслящий человек в горах, по утверждению Халета-эфенди, убежден в окончательном торжестве русского оружия. Если же война укрепит власть Шамиля, то это будет совсем не та независимость, ради которой боролись горцы.

Через несколько лет, с отпадением Чечни от имамата, была решена и его судьба. В статье «О значении наших последних подвигов на Кавказе», напечатанной в журнале «Современник» в 1859 году Н. А. Добролюбов подвел итог многолетней войны: «Шамиль давно уже не был для горцев представителем свободы и национальности. От того-то и находилось так много людей, способных изменить ему, хотя, по понятиям горцев, да и по законам Шамиля, измена народу считается важнейшим преступлением и наказывается смертью. Управление Шамиля казалось тяжело для племен, не привыкших к повиновению, а выгод никаких они от этого управления не находили. Напротив, они видели, что жизнь мирных селений, находившихся под покровительством русских, гораздо спокойнее и обильнее. Следовательно, им представлялся уже выбор — не между свободой и покорностью, а только между покорностью Шамилю, без обеспечения своего спокойствия и жиз-

ни, и между покорностью русским, с надеждой на мир и удобства быта. Само собой разумеется, что рано или поздно выбор их должен был склониться на последнее»[1].

3

Сравнительно небольшой рассказ «Рубка леса» писался с июня 1853 года по июнь 1855 года. Трудно создать подлинное художественное произведение по горячим следам событий, когда все еще не отстоялось, не ушли подробности незначительные, не определилась глубина обобщения. Одной из причин затянувшейся работы была и беспокойная жизнь Толстого, ставшего уже офицером, служебные обязанности, увлечения молодости, имевшие весьма косвенное отношение к литературе, переезд в Южную армию на Дунай, потом — в осажденный Севастополь. Впрочем, Толстой работал не переставая и во время переездов, а севастопольские впечатления, окончательно сформировавшие в его сознании черты русских военных людей, способствовали зрелой отделке «Рубки леса».

В этом рассказе обнаружилась тяга Толстого к систематизации и классификации. Может создаться впечатление, что это художественный прием, характерный лишь для «Рубки леса», однако и в других, более широких полотнах Толстого мы замечаем ту же, хотя и замаскированную, тенденцию, которая выдает истинную причину такой наклонности Толстого. Соединяя в себе художника и философа, он не мог избавиться от желания не только образно показать, но объяснить, разложить все по полочкам, а порой и вступить в полемику с «чистыми», например, историками, что сказалось в многочисленных отступлениях в «Войне и мире». Примером тому — сохранившийся вариант начала «Рубки леса»: «На Кавказе существует три рода войны: набеги, осады крепостей или, правильнее, укрепленных аулов и постройка крепостей в неприятельских владениях». Сообщение завершается объяснением, что постройка крепостей главное, и ради нее производится очистка местности от непроходимых лесов, что составляет «продолжительнейшее, труднейшее и полезнейшее занятие здешних войск». Но такое начало перенасытило бы классификацией небольшое повествование, потому что следующая же глава опять начинается с перечисления трех преобладающих типов солдат российских войск: «1) Покорных. 2) Начальствующих и 3) Отчаянных», которые в свою очередь «подразделяются на: а) ...» и т. д. Сила таланта Толстого превратила в общем-то бессюжетное повествование в интереснейшее произведение, заключающее в себе множество микросюжетов, каждый из которых содержит цельный образ. Толстой

[1] Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1937, с. 155.

явно нарушает здесь выработанное тогда же для себя правило, гласящее, что каждая глава должна выражать одну только мысль или одно только чувство.

В это же время, в дневниковой записи от 8 января 1854 года, Толстой определяет для себя процесс создания произведения: «Нужно писать начерно, не обдумывая места и правильности выражения мыслей. Второй раз переписывать, исключая все лишнее и давая настоящее место каждой мысли. Третий раз переписывать, обрабатывая правильность выражения». Складывающиеся характеры диктуют их действия и даже сюжет; образы живут в процессе сочинительства своей жизнью, и порой писатель вначале не знает, что «выкинет» его герой в дальнейшем. Талант Толстого сродни творческой способности самой природы.

Это касается не только чистой беллетристики Толстого (в подлинном и лучшем значении этого слова), но и очерков, упорно и небезосновательно называвшихся им рассказами. Вот начало «Рубки леса»:

«В середине зимы 185... года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером 14-го февраля, узнав, что взвод, которым я командовал за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса...»

Перед нами все приметы военной корреспонденции или рассказа очевидца (и Толстой, как мы знаем, действительно в феврале 1852 года был в бою на Мичике), но не будем напрасно искать в этом рассказе его собственные военные приключения или описание диспозиции отряда. Толстой возмущался, когда при публикации «Детства» в «Современнике» название переменили на «Историю моего детства». Это противоречило всему замыслу Толстого: «Кому какое дело до истории моего детства?» За нарочито документальным началом «Рубки леса» встают все-таки не впечатления одного дня, а наблюдения и мысли, захватывающие много пространства и времени. Рассказ от первого лица, казалось бы, требует лирических излияний, каких немало в «Записках охотника» Тургенева, которому посвятил Толстой журнальную публикацию «Рубки леса». Но, находясь под влиянием Тургенева чисто формально (зарисовки встреч либерально настроенного дворянина с крепостными крестьянами и общение образованного юнкера с солдатами), Толстой недаром торопится оповестить читателя, что рассказчик вовсе не он, Лев Николаевич, а некий юнкер Николай Петрович, тем самым как бы ставя преграду на пути лирики и предоставляя свободу эпичности. Это условность, разумеется, литературная уловка, не исключающая лирики совершенно. И получилось то, о чем Некрасов восторженно писал к Тургеневу 18 августа 1855 года: «В IX № «Совр.» печатается посвященный тебе рассказ

юнкера: *«Рубка леса»*. Знаешь ли, что это такое? Это очерк разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских), то есть *вещь доныне небывалая в русской литературе* (подчеркнуто мною. — *Д. Ж.*). И как хорошо! Форма в этих очерках совершенно твоя... Но все это далеко от подражания, схватывающего одну внешность». Да и самому Толстому он высказал те же мысли, присовокупив: «О солдате ведь наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости».

И в самом деле, нам трудно подыскать предшественника Толстого, проявлявшего бы такое внимание к быту солдат, их взаимоотношениям, характерам, речи... Существуют военные галереи, в которых запечатлены образы полководцев и храбрых офицеров, удостоенных к тому же пышных жизнеописаний. Рядовой же солдат вообще прославлялся редко... Толстой создает галерею солдатских типов в литературе. Здесь и «покорный хлопотливый» Веленчук, и «начальствующий политичный» Максимов, и «отчаянный развратный» Антонов, и «отчаянный забавник» Чикин, и «храбрый и исправный» Жданов... Если бы Толстой просто описал солдат, то и тогда бы мы согласились с критиком С. С. Дудышкиным, сказавшим в 1855 году в «Отечественных записках», что за «один разговор солдат у огня ночью мы готовы отдать иной многотомный роман». Но у молодого офицера, оказавшегося к тому времени в осажденном Севастополе, были далеко идущие замыслы. И дело совсем не в том, что в Жданове или Веленчуке уже проглядывает Платон Каратаев. В неприхотливости русского солдата, в его рассудительности и неброской храбрости Толстой увидел его величие, позволявшее России выигрывать самые безнадежные, с генеральской точки зрения, войны. Более того, в написанном уже в Севастополе и похожем по мысли на «Рубку леса» рассказе на кавказскую тему «Как умирают русские солдаты» он воскликнет: «Велики судьбы славянского народа! Не даром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!..»

Среди множества солдатских и офицерских типов, выведенных Толстым в «Рубке леса», трудно назвать главный. Возникает многоликий образ русского воина, но «рассыпаться» произведению не дают повествование и мысли рассказчика о Веленчуке, «вся простая история солдатской жизни» которого лучше, чем любое ученое исследование, рисует картину будней и тягот рядового, обреченного в николаевское время на долгие годы службы.

Иное отношение Толстого к офицерам. Разговоры о картах и женщинах, о деньгах и возможностях продвижения по службе, хвастовство и выпивка... Умильное настроение покидает автора «Рубки леса» и «Разжалованного», когда он возвращается от под-

слушанного к привычному. «Разжалованный» был написан быстро, в 1856 году, по возвращении Толстого из армии в Петербург. Даже к герою рассказа Гуськову, разжалованному и посланному на Кавказ за какую-то провинность, он испытывает смешанное чувство жалости и... гадливости из-за попыток того проявлять неуместный здесь великосветский лоск, отдающий карикатурным фанфаронством, из-за неумения найти себя на войне, нежелания сблизиться с солдатами, из-за сословного чистоплюйства («идти рядом с каким-то диким Антоном Бондаренко»). В Гуськове нет и намека на сосланного в ермоловские времена рыцарски храброго Якубовича или декабристов. Большинство офицеров служит на Кавказе либо по бедности, ради двойного жалования, либо из тщеславия, за которым кроется надежда поскорее сделать карьеру, заработав кресты и чины, что оказывается осуществимым для очень немногих. Лишь пройдя севастопольскую страду и оторвавшись затем от повседневности армейской службы, окунувшись в атмосферу эпохи всенародного подъема, эпоху «Войны и мира», Толстой создаст обаятельные образы русских офицеров, и за этим будет стоять собственный опыт и наблюдения.

4

Среди офицерских и дворянских типов первых кавказских рассказов не было пока еще одного. Увлеченный внешней стороной кавказского военного быта, Толстой останавливает внимание лишь на поступках и разговорах своих персонажей, оставляя «за кадром» внутреннюю жизнь героев. Для того чтобы обратиться к тонкостям духовной жизни, к изображению личности в ее развитии, требовалась иная форма, и она нашлась в «Казаках» — полотне эпическом, живописующем народную жизнь во многих ее проявлениях, хотя место действия ограничено казачьей станицей.

За десятилетие, прошедшее в работе над повестью, было многое сделано, написано много других произведений, но ни одно из них не заставляло Толстого так мучительно колебаться и «выкладываться», как «Казаки». Это склоняет чашу весов к тому, что в повести заложены интимные переживания автора. Трудно было преодолеть традицию, предписывавшую не выставлять свою душу напоказ, и, может быть, именно с легкой руки Толстого впоследствии так размножилась в мировой литературе исповедальная проза (не следует путать с этим термином словосочетание из современного критического обихода). Недаром в литературоведении существует мнение об Оленине, человеке рефлексирующем, по молодости мятущемся и неуверенном в себе, как о «характерном толстовском герое».

Во всех черновых вариантах повести действие начинается в станице — то ли это «непонятная сладострастная тревога» молодого человека при виде красивой казачки, то ли описание станичного праздника... Сперва был гвардейский офицер Губков, который после трех лет службы в Петербурге расстроил свои дела «несчастной страстью к игре» и решил перейти в кавказский полк, чтобы походной жизнью, трудами, опасностями и «отсутствием искушений» вернуться к здоровой жизни, в чем он, отдав «дань глупостям», начал преуспевать. В другом варианте герой под именем Ржавского изображен «новым человеком», возмущенным «безобразием русской общественной жизни», возненавидевшим цивилизацию и нашедшим избавление от пороков в воинственности и свободе быта казаков. Едва ли не главным было для него сближение с дядей Ерошкой, «выражением всего этого нового мира». И еще там была конспективно выраженная (и потом художественно развернутая) мысль: «Он был застенчив с женщинами не своего круга до такой степени, что подойти к казачке, заговорить с ней было для него физически невозможно». И наконец Толстой совсем приблизился к личной судьбе, начав повесть с фактической справки: «В 1850 году 28 февраля была выдана подорожная по собственной надобности от Москвы до Ставропольской Губернии, города Кизляра, канцелярскому служителю Т-аго депутатского собрания, коллежскому Регистратору Дмитрию Андрееву Оленину...»

Здесь все как и было на самом деле — студент, юнкер, офицер. Давая очень четкую характеристику Оленину, молодой Толстой весьма зрело оценил обстановку сороковых годов, настроения русской молодежи. Независимо от Герцена, назвавшего эпоху Николая I «удивительным временем наружного рабства и внутреннего освобождения», Толстой написал: «Весь порыв сил, сдержанный в жизненной внешней деятельности, переходил в другую область внутренней деятельности и в ней развивался с тем большей свободой и силой». Его студент, оставшийся рано без отца и матери, исполненный этой самой умственной свободы, открывает, что «все наше гражданское устройство есть вздор, что религия есть сумасшествие, что наука, как ее преподают в университете, есть дичь, что сильные мира сего большей частью идиоты или мерзавцы, несмотря на то, что они владыки». Получалось, что все люди «глупы и дурны», но юношеский максимализм — совсем не мизантропия, потому что в быстрой смене настроений легко было переходить к мысли, что те же люди в определенных обстоятельствах «умны и прекрасны». Жизнь полна противоречий. И как не увлечься всем тем, что отрицается скептическим разумом, — наукой, славой, любовью, светом, кутежами, игрой, не сознавать в себе, по выражению Толстого, всемогущего бога молодости. Шало-

пайство можно вылечить женитьбой на кроткой, тихой и красивой барышне, которая народит детей, для пропитания которых потребуется ровная, плодотворная деятельность в деревенской тиши. Но шалопай еще неспособен влюбиться серьезно, и поскольку он совестлив и не будет ни насиловать себя, ни обманывать девушку, то остается другой путь — сменить колею, солдатствовать на Кавказе (не для карьеры), испытать себя в труде и лишениях, хотя война совсем не лучшее поле деятельности для благородного человека, «особенно война на Кавказе с несчастным рыцарским племенем горцев, отстаивающих свою независимость». Влечет новая среда, дикая природа...

Образ складывался, но повесть все-таки не выстраивалась. В мае 1857 года Толстой писал к Анненкову: «Ту серьезную вещь, про которую я вам говорил как-то, я начал в 4-х различных тонах, каждую написал листа по три — и остановился, не знаю, что выбрать или как слить, или должен я все бросить. Дело в том, что эта субъективная поэзия искренности — вопросительная поэзия, — и опротивела мне немного и нейдет ни к задаче, ни к тому настроению, в котором я нахожусь. Я пустился в необъятную и твердую положительную, объективную сферу и ошалел: во-первых, по обилию предметов, которые мне представились, и по разнообразию тонов, в которых можно выставлять эти предметы. Кажется мне, что копошится в этом хаосе смутное правило, по которому я в состоянии буду выбрать; но до сих пор это обилие и разнообразие равняются бессилию. Одно, что меня утешает, это то, что мне и мысль не приходит отчаиваться, и какая-то кутерьма происходит в голове все с большей и большей силой».

В конце концов Толстой пришел к гармоничному соединению субъективной поэзии искренности с объективной сферой — новым для русского читателя миром казачьей жизни, тесно переплетенной со всей кавказской действительностью. В сцене отъезда Оленина из Москвы и прощания с друзьями, очень важной для понимания героя, исчезают подробности личной судьбы; характеристика Оленина подается в абстрактно художественной форме; восторженность молодости остается («Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо!»), но максимализм из цензурных соображений заменяется «неясными мыслями и упреками», обращенными как к себе, так и к свету. Ощущение пустоты светского времяпрепровождения подчеркивается фразой: «Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы». Оленин расстается с жизнью, в которой он при всяком приближении настоящего труда и борьбы инстинктивно торопился оторваться от чувства и дела и восстановить свою эфемерную свободу. Отъезд на Кавказ отрезает возможность возвращения к прежним сладостным ошибкам,

и легкая тревога («Может быть, мне не вернуться с Кавказа») не омрачает дальней дороги, представляющейся в виде продолжительной прогулки.

У художественного произведения свои законы, и последовательность обретения собственного опыта меняется писателем ради живописного воплощения идеи. Оленин был снабжен сперва подорожной до Кизляра, а следовательно, обречен на повторение пути самого Толстого по Волге, через Астрахань, что повторило бы и разочарование автора из-за унылости пейзажа. А именно встрече героя с кавказской природой Толстой придавал большое значение, поскольку это символ перехода от цивилизации в иную стихию. Поэтому он отправляет Оленина через Ставрополь и, видимо, Моздок, где открывается вид на Главный Кавказский хребет. Оленин еще долго не может очнуться от первого впечатления, и, лишь *прочувствовав* горы, он понимает всю пошлость прежней жизни и своих романтических мечтаний о Кавказе. Вот тут-то и лежит граница, за которой начинается «твердая положительная, объективная сфера».

Большие писатели XIX века творили свободно, легко переходя жанровые границы. Толстой сам создавал для себя каноны новой прозы и сам же их нарушал, потому что наступало время, раскрепощавшее и человека и слог его письма. В «Казаках» органичны не только непринужденные переходы от лирического повествования к эпическому, но и откровенно документальные вставки, наподобие той справочной историко-этнографической прозы, которой начинается рассказ о гребенских казаках. Толстой на время как бы забывает об Оленине, когда в череде картин станичной жизни знакомит читателя с красавицей Марьяной и ее матерью, молодцом Лукашкой, несущим службу на кордоне, с дядей Ерошкой и множеством других персонажей повести. Толстой любуется казаками, тщательно выписывает их внешность, одежду, поведение в быту, на охоте, на службе, воспроизводит казачью речь со всеми ее особенностями. В одной из черновых рукописей подчеркнута свойственная казакам «особенная понятливость, живость, удальство и чувство изящного, чувство красоты, которое не встретишь до такой степени ни в каком другом народе. И чистое убранство хат, и блестящие красивые одежды, на которые кладется последнее, и цветы, которые любят женщины, и песни, — все показывает это. Должно быть красота природы и гребенской женщины развила в них это чувство»[1].

Это наблюдение, выраженное конспективно, широко развернуто Толстым в образах и описаниях. Знакомый с детства с кре-

[1] Гос. музей Л. Н. Толстого в Москве. № 8837/12.

постной русской деревней, он не мог не отдать предпочтения независимости казаков, которые вели себя с большим достоинством друг с другом, а к пришлым относились даже несколько свысока. Такой характер выработался у казаков из-за постоянной боевой готовности и нередкого риска жизнью; казачки, много работая и фактически владея всем имуществом, ощущали себя хранительницами благополучия — смелая речь и поведение их были вполне оправданы. Один из историков гребенского казачества подметил, что жены готовы были очень много работать, только бы видеть своего мужа с оружием в серебре с чернью, на лихом коне, героем джигитом; с другой стороны, не один казак сложил голову для того, чтобы доставить возможность своей красавице-жене щегольнуть геройством мужа. В 1857 году у Толстого при работе над «Казаками» мелькнула мысль: «Будущность России — казачество: свобода, равенство и обязательная военная служба каждого».

В реализме Толстого прозревается «свирепый реализм» Шолохова. Известно, что Толстой невероятно напряженно относился к смерти. Но вспомним один из центральных эпизодов повести — это тот, в котором Лукашка убивает чеченца-абрека. Казаки привычно управляются с трупом чеченца, спокойно раскупают оружие и одежду убитого, и при этом Лукашка говорит: «Уж когда же гулять, что не ныне», после чего он выпивает и заваливается спать до вечера. Казаки Толстого и казаки Шолохова воспитаны в атмосфере постоянной подготовки к доле военной, опасной, чреватой смертью, и убивают тогда, когда это считается не преступлением, а необходимостью. Впрочем, вооруженный грабеж — тоже норма в казачьем быту. Такое накладывает отпечаток на отношение к жизни вообще.

В мире Оленина, появившегося вместе со своей ротой в станице уже юнкером, еще иные понятия о войне и мире (свете, обществе — в старом, толстовском толковании этого слова). С молодой страстностью он желает приобщиться к новому миру, уже сменил фрак на черкеску, отрастил усы и бородку («вместо истасканного ночной жизнью желтоватого лица... здоровый загар»), но в душе, несмотря на всю свою искреннюю игру, он остается в том мире, к которому принадлежит в силу своего воспитания, привычек, образа мышления. «Все было так, да не так», — говорит Толстой.

Станичная жизнь не принимала Оленина, как он ни старался. Недаром он сближается только с дядей Ерошкой, который *уже* превратился в посмешище даже для станичных ребятишек, несмотря на свое легендарное прошлое («настоящий джигит... пьяница, вор, табуны в горах отбивал, песенник...»). Жители станицы слишком заняты — одни будничным крестьянским и сторожевым трудом, другие приобретательством, — чтобы относиться серьезно к

человеку, занимающемуся праздным делом — охотой. Ерошка — тоже примета старого, романтического времени. «На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев покажу, душеньку, хочешь, и ту доставлю», — говорит Оленину старый Ерошка.

Впрочем, и привязанность его к Оленину основана на «простоте» того, то есть возможности выпить на его счет. Одного молодца Лукашку любит старик искренне. Но для Оленина разговоры с Ерошкой — путь познания обычаев казаков, их взаимоотношений с горцами, весьма тесных, несмотря на вечную военную напряженность, путь познания кавказской природы. На охоте с Ерошкой он думает о счастье жить для других, о самоотвержении, но первая же попытка, например, сойтись с Лукашкой оборачивается тем, что он дарит коня, а Лукашка, вместо благодарности, подозревает богатого юнкера в дурном умысле — подбить на какое-нибудь нехорошее дело, иначе стал бы человек дарить свое добро. Понятно — пьяный был бы, а то — трезвый.

Толстой-писатель не заблуждался ни в природе гуманизма барчука, ни в моральной чистоте нецивилизованного «простого человека».

И все-таки Оленин счастлив в своей спокойной жизни в станице. Ему кажется, что он любит Марьяну, подумывает о женитьбе. Но как бы для того, чтобы оттенить зыбкую психологию Оленина, Толстой ставит рядом с ним молодого офицера Белецкого, доброго малого, служащего в захолустье ради будущей карьеры и орденов. Тот чувствует себя в станице как рыба в воде. Он вовсе не думал приноравливаться к станичникам, а через месяц стал тут своим, устраивал вечерники, имел успех у девок и баб, и «казаки, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, привыкли к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них загадкой».

И когда уже созревает неискренняя мысль Оленина купить в станице дом и записаться в казаки, когда и Марьяна соглашается будто бы выйти за него замуж, происходит событие, все поставившее на свои места. Окруженные казаками чеченцы-абреки защищались до последнего, связались ремнями, колено с коленом, чтобы не бежать, дрогнув, и все погибли, но Лукашка получил пулю в живот. И Марьяна, отклонявшая посягательства Лукашки, вдруг говорит Оленину: «Уйди, постылый!» И он понимает, что *думал и говорил не то*. Тут своя жизнь, свои законы. Один горец смертельно ранил Лукашку, другой горец лечит его травами. А он, Оленин, дальше от казаков, чем горцы, с которыми то воюют, то дружат.

Повесть заканчивается внезапным отъездом Оленина. Толстой подчеркивает, что «так же как во время проводов из Москвы, ям-

ская тройка стояла у подъезда». Провожает Оленина один дядя Ерошка, да и тот говорит на прощание: «*Нелюбимый* ты какой-то!» — и выклянчивает ружье.

Сначала Толстой задумывал роман в трех частях. Оленин женился на Марьяне, герои претерпевали различные приключения... Но что говорить о том, что не состоялось и *не могло* состояться, потому что это противоречило бы правде жизни, к которой максимально хотел приблизить литературу Толстой. Нет, совсем не вскоро он закончил свою повесть; главное, заключенное в ее названии, показано исчерпывающе; с поразительным мастерством Толстой показал станицу изнутри, проник в психологию ее обитателей, а робинзонада Оленина затягивалась, становилась лишней.

Утопия, как и всегда, проваливается, потому что она противоречит природе человека. Побеждает народное самосознание, равнодушное к индивидуализму. И недаром Толстой закончил повесть так: «Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьяной, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него».

5

Десятилетия отделяют «Казаков» от «Хаджи-Мурата». За это время написаны все крупные и наиболее известные произведения Льва Толстого, семь лет отданы «Войне и миру». В 1872 году Толстой отмечал в современной ему литературе «упадок поэтического творчества всякого рода», но это была, по его мнению, «смерть с залогом возрождения в народности». Он увлекается созданием литературы для народа, перерабатывает чужие сюжеты для детей, сам пишет рассказы, вошедшие сначала в «Азбуку», а потом в «Русские книги для чтения». Кавказ вспомнился в рассказах о Бульке и Мильтоне, а также в «Кавказском пленнике», непритязательном повествовании, ничем не похожем на одноименную пушкинскую вещь. Ему глубоко симпатичны русский офицер из бедных дворян Жилин, попавший в чеченский плен, и спасшая его девочка-горянка. С откровенным морализаторством он противопоставляет Жилина богатому и нестойкому Костылину, а нехитрый, спокойный стиль «Кавказского пленника» рассматривает как «образец тех приемов и языка», которыми он будет «писать для больших».

Но увлечение увлечением, а простота никак не годилась для произведений со сложной фабулой и героями, наделенными далеко как не простым душевным складом. Это касается и повести «Хаджи-Мурат», которой отданы многие годы на закате жизни Льва Толстого, не желавшего публиковать ее («надо же, чтобы что-нибудь осталось после моей смерти»). Она завершает кавказ-

скую эпопею, состоящую из произведений, которые писались на протяжении шестидесяти лет. И если «Казаки» в композиционном плане не давались Толстому, метавшемуся между замыслами и жизненной правдой, то «Хаджи-Мурат» сразу же обрел жесткий каркас, заполнение которого задерживалось желанием автора воспроизвести события с почти документальной точностью. Композиционное построение «Хаджи-Мурата» напоминает вертикальный разрез пирамиды общественно-государственного устройства — от вершины ее, где обитают Николай I и Шамиль, через вельмож, генералов, наибов, чиновников, офицеров, до основания ее — представителей гигантской массы простых людей, солдат, крестьян, рядовых горцев...

При всей не утрачиваемой злободневности «Хаджи-Мурат» остается исторической повестью, которая имеет и свою творческую историю, рассказанную исследователями очень обстоятельно, с привлечением многочисленных источников, которые использовал в своем труде Лев Толстой: для написания художественного произведения Толстой очень много поработал над изучением исторических трудов, книг воспоминаний, документов, специально запрошенных и написанных для него свидетельств очевидцев. За долгие годы жизни воспоминания о Кавказе не вытеснялись никакими новыми впечатлениями и увлечениями. Толстой не раз упоминал в дневнике и разговорах имя Хаджи-Мурата, пока 19 июля 1896 года не появилась расшифровка записи из записной книжки о надломленном, изуродованном стебле татарича (репья) у края пыльной дороги. «Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля хоть как-нибудь, да отстоял ее».

Сперва это был рассказ «Репей», написанный тогда же в три приема, а потом началась переработка груд материалов, общение с историками, наброски, упорное переосмысливание образа Хаджи-Мурата, который сначала представлялся просто сильной личностью, с детства усвоившей моральный кодекс горцев, перенявшей «дикие», жестокие нравы своих соплеменников, умной, культурной по-азиатски, сохраняющей достоинство при встрече с цивилизацией иного типа. Потом Толстой стал задумываться о мюридизме, причинах газавата, религиозного фанатизма. Характер Хаджи-Мурата усложнялся. Толстой записывает: «Вчера думал очень хорошо о Хаджи-Мурате — о том, что в нем, главное, надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман» (4 апреля 1897 года). В конце концов он решает показать героя сложным, противоречивым человеком, воином, политиком. Холодная жестокость и «детская улыбка». Фанатизм и невыносимая тревога за семью. И вот уже вырисовывается основная идея — неизбежна ги-

бель человека, гордого и независимого, если он осмелится в одиночку выступить против деспотии, а выбора у него нет — религиозная деспотия Шамиля в горах и бюрократическая деспотия режима Николая I одинаково не потерпят непокорства.

Толстой прямо говорил, что Николай и Шамиль представляют «два полюса властного абсолютизма — азиатского и европейского». Этот тезис доказан Толстым художественными средствами, отмечавшимися неоднократно литературоведами, которые порой выстраивали в два параллельных столбика цитаты из «Хаджи-Мурата», характеризующие лицемерие обоих правителей, сознание собственной значительности и одновременно понимание своего бессилия изменить ход событий, сладострастное желание приводить в трепет подданных, показное благочестие и т. д.

Повесть действительно насквозь тенденциозна. Но доказательство различных тезисов настолько продуманно и гармонично, так плотно прикрыто исторической достоверностью, что надо специально заниматься отысканием в художественной ткани произведения эпизодов и фраз, обнаруживающих толстовскую схему. Сатира, которой так стеснялся Толстой в молодости, здесь упрямо прорастает сквозь броню художественности, когда речь идет о сильных мира сего.

Толстой жил и начал творить в николаевское время, но в дневниках и первых произведениях его трудно найти тираноборческие мотивы, столь характерные и для менее талантливых его современников и предшественников. Известна даже определенная доля его неприязни к либерализму, например, Тургенева. Но теперь было другое время. Назревала русская революция. И уже был накоплен и предан гласности громадный разоблачительный материал, ярким примером которого служит герценовский список русских литераторов, погибших по вине или «недосмотру» Николая. Дворянин, сын своего класса, Толстой так же, как и многие другие дворяне, не мог простить Николаю и постыдной казни пяти декабристов — *повешения*. Расстреляние дворянина и офицера выглядело бы более пристойным, а Толстой знал по документам, что ритуал казни был разработан царем заранее и лично. И хотя ко времени написания «Хаджи-Мурата» насильственная смерть стала обычным явлением — правительственный террор унес множество жизней, — повешенье пяти человек оставалось символом царской жестокости. И Толстой отомстил за нее сатирой в «Хаджи-Мурате» — художественно, а следовательно, навечно.

Размышление о раздавленном репье начинает и завершает повесть. Этот символ заранее предупреждает читателя о трагическом конце, что было бы рискованно для писателя посредственного, но не составляло никакого риска для Толстого, умевшего не сюжетом, а

каждой фразой удерживать внимание читателя. Напряженность и беспокойство ощущаются почти физически с самого начала, с описания того холодного ноябрьского вечера в 1851 году, когда Хаджи-Мурат въехал в чеченский аул Махкет, чтобы затем предаться русским. С точностью ученого-этнографа Толстой воспроизводит, какие *могли бы быть* сказаны слова, как одеты люди, каковы их повадки и т. д. Тут-то и пригодились давние собственные впечатления от посещений аулов и дружбы с чеченцами, в частности с Садо Мисербаевым, именем которого Толстой наделил хозяина сакли, принимавшего Хаджи-Мурата. И эти штрихи, почерпнутые из собственного опыта, Толстой припоминал все время работы над повестью и заносил в записную книжку — что-нибудь вроде: «Приносят траву, сушат на крыше и там же спят». И это касается не только жизни горцев, но и солдат, офицеров, природных явлений.

Действие повести развивается в хронологической последовательности, но, как в добром романе, — многопланово, а именно это и позволило Толстому на сравнительно небольшой площади построить весьма монументальное сооружение. Хронологическая же последовательность дала возможность появиться на страницах повести очень большому числу персонажей, как в жизни, где человек встречается и зачастую тут же исчезает, тогда как в романе он *обязан* появиться снова и делать что-то в соответствии с сюжетом и заданным характером.

Между людьми в повести связь *причинная,* а не сюжетная. Она диктуется главным событием — выходом из гор Хаджи-Мурата. В этом единство повести. Разнообразие же достигается даром Толстого не повторяться в изображении характеров и поступков людей. Это не касается нарочитых параллелей, подчеркивающих ту или иную идею.

Толстой искусный портретист. Всякий персонаж в повести изображен с типическим сходством и наделен столь меткой психологической характеристикой, что тотчас угадывается его натура, прошлое и судьба, а за ними — целое явление народной жизни.

Трудно избежать искушения оглядеть громадное «население» повести, которая начинается с «Я» Льва Толстого, размышляющего о жестокости человека, разрушающего и уничтожающего природу и живые существа «для поддержания своей жизни». И тотчас — старик, спавший на плоской крыше сакли, которого разбудил Хаджи-Мурат. Он доволен, что наиб ест его мед; за плечами старика судьба человека, близкого к природе; он будущая жертва человеческой жестокости. И далее — воплощение горского гостеприимства, хозяин сакли Садо. Его жена, работящая и молчаливая; как и всякой женщине в горах, ей не положено даже присутствовать при мужских разговорах. Хитроватый Бату, поддержи-

вающий отношения с русскими с согласия горских старейшин. Жители аула, изображающие попытку остановить Хаджи-Мурата, дабы избежать гнева Шамиля. Русские солдаты в секрете — рассудительный унтер-офицер Панов, беспокоящийся о ротной кассе, и Авдеев, пошедший в солдаты вместо брата, потом раненный во время рубки леса. И вполне органичной кажется глава, не имеющая отношения к Хаджи-Мурату, переносящая читателя в русскую деревню, в атмосферу крестьянского труда. Толстой совсем не идеализирует прижимистого мужика, отца Авдеева, для которого сын, не работающий в хозяйстве, — отрезанный ломоть: «Солдатство было как смерть». Не нужен солдат и жене, которая «вновь брюхата от приказчика». Деревня помогает раскрыть трагедию солдатчины. Манекенами глядятся на этом фоне сын главнокомандующего, командир полка Семен Михайлович Воронцов и его жена, «знаменитая петербургская красавица» Марья Ивановна, к которым попадает Хаджи-Мурат. Бо́льшую симпатию вызывают добродушный боевой офицер Полторацкий, влюбленный в Марью Ивановну, или мюриды Хаджи-Мурата — жизнерадостный Хан-Магома, вечно озабоченный тавлинец Ханефи, молодой «красавец с бараньими глазами Элдар» (обычная манера Толстого — поминать потом все время эти бараньи глаза, как, например, в «Войне и мире» короткую верхнюю губку жены Андрея Болконского), мрачный чеченец Гамзало. Промелькнули уязвленный генерал Меллер-Закомельский и его бесцветная жена, и вот уже сам Михаил Семенович Воронцов, главнокомандующий на Кавказе, встречается с Хаджи-Муратом. Толстой выделяет честолюбие, ласковость с низшими и придворную тонкость обращения с людьми своего круга этого видного в российской истории человека. Это не просто характеристика личности, а приметная черта просвещенной русской бюрократии XIX века, выученной вести себя аристократично, сдержанно, внешне благодушно при любых серьезных обстоятельствах, что было очень важно для привлечения на сторону России знати присоединенных к империи земель. Недаром за столом у Воронцова так много представителей грузинской аристократии, чувствующих себя непринужденно.

В ткань исторического повествования Толстой искусно вплетает вымышленные персонажи, и среди них — красивый офицер Бутлер, курносый пьяница майор Петров и его сожительница Марья Дмитриевна. Толстой любуется этой женщиной, доброта которой снискивает признательность даже угрюмого Хаджи-Мурата, присланного Петрову под надзор.

Сатира на царя Николая перекликается с сатирой на Шамиля. И едва ли не повторяются все черты императора, но с горско-мусульманским колоритом. И новые персонажи — реальный князь Ба-

рятинский, начальник левого фланга (которого «трусил» Толстой в молодости, это по его рекомендации Толстой стал военным), вымышленные офицеры, чиновник Кириллов, получивший хлопок по плеши от Хаджи-Мурата... Сердце Хаджи-Мурата в Ведено, резиденции Шамиля, где живет под караулом семья наиба, а сын, 18-летний Юсуф, брошен в тюремную яму. Дело шло к развязке. Не получив от русских возможности выручить семью, Хаджи-Мурат бежит и погибает. Видя его отрубленную голову, Марья Дмитриевна говорит: «Все вы живорезы». В этом крике души — протест и самого Толстого против насилия в любом его проявлении.

Литературоведы находили в «Хаджи-Мурате» отзвук «непротивленчества», которое тогда проповедовал Толстой.

К чему бы ни прикасался царь Мидас, — все превращалось в золото. Что бы ни выходило из-под пера Льва Толстого, — почти все занимает виднейшее место в сокровищнице мировой культуры. Но дар Толстого тоже был роковым. Ему он не приносил удовлетворения. Мучительны были его поиски совершенства и правды. Непостижимо обширен круг интересов, в котором металась его мысль, порождая «противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого — действительно кричащие»[1].

Мысли и художественные принципы Толстого многообразны. Они неотторжимы от жизни во всех ее проявлениях. И они же носят отпечаток личности и настроений гения, что делает столь непосредственным восприятие его произведений.

Кавказская эпопея Льва Толстого, как уже было отмечено, писалась им всю жизнь, вызванные ею раздумья нашли отзвук в других его великих произведениях. Верность и убедительность изображения в них душевного состояния человека на войне стали возможными только потому, что сам Толстой в свои молодые годы повидал, угадал, продумал многое такое, чего нельзя почерпнуть ни в каких книгах.

Есть незримая нить, протянувшаяся от «Набега» к «Хаджи-Мурату», лейтмотив, отчетливо выраженный в вопросах, которые вынесены в эпиграф этой статьи.

Л. Н. Толстой, отразив в своем творчестве сложнейшую предреволюционную эпоху, «сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе»[2].

Дмитрий Жуков

---

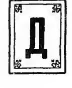
[1] Ленин В. И. Лев Толстой, как зеркало русской революции.— Полн. собр. соч., т. 17, с. 209.

[2] Ленин В. И. Л. Н. Толстой.— Полн. собр. соч., т. 20, с. 19.

НАБЕГ

Рассказ волонтера

I



венадцатого июля капитан Хлопов, в эполетах и шашке — форма, в которой со времени моего приезда на Кавказ я еще не видал его, — вошел в низкую дверь моей землянки.

— Я прямо от полковника, — сказал он, отвечая на вопросительный взгляд, которым я его встретил, — завтра батальон наш выступает.

— Куда? — спросил я.

— В NN. Там назначен сбор войскам.

— А оттуда, верно, будет какое-нибудь движение?

— Должно быть.

— Куда же? как вы думаете?

— Что думать? Я вам говорю, что знаю. Прискакал вчера ночью татарин от генерала — привез приказ, чтобы батальону выступать и взять с собою на два дня сухарей; а куда, зачем, надолго ли? — этого, батюшка, не спрашивают: велено идти и — довольно.

— Однако если сухарей берут только на два дня, стало, и войска продержат не долее.

— Ну, это еще ничего не значит...

— Да как же так? — спросил я с удивлением.

— Да так же! В Дарги ходили, на неделю сухарей взяли, а пробыли чуть не месяц!

— А мне можно будет с вами идти? — спросил я, помолчав немного.

— Можно-то можно, да мой совет лучше не ходить. Из чего вам рисковать?..

— Нет уж, позвольте мне не послушаться вашего

совета: я целый месяц жил здесь только затем, чтобы дождаться случая видеть дело, — и вы хотите, чтобы я пропустил его.

— Пожалуй, идите; только, право, не лучше ли бы вам остаться? Вы бы тут нас подождали, охотились бы; а мы бы пошли с богом. И славно бы! — сказал он таким убедительным тоном, что мне в первую минуту действительно показалось, что это было бы славно; однако я решительно сказал, что ни за что не останусь.

— И чего вы не видали там? — продолжал убеждать меня капитан. — Хочется вам узнать, какие сражения бывают? прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны» — прекрасная книга: там все подробно описано — и где какой корпус стоял, и как сражения происходят.

— Напротив, это-то меня и не занимает, — отвечал я.

— Ну, так что же? вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?.. Вот, в тридцать втором году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем плаще в каком-то... таки ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь.

Как мне ни совестно было, что капитан так дурно объяснял мое намерение, я и не покушался разуверять его.

— Что, он храбрый был? — спросил я его.

— А бог его знает: все, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он.

— Так, стало быть, храбрый, — сказал я.

— Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают...

— Что же вы называете храбрым?

— Храбрый? храбрый? — повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос. — *Храбрый тот, который ведет себя как следует,* — сказал он, подумав немного.

Я вспомнил, что Платон определяет храбрость *знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться,* и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же,

как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться*, а не того, *чего не нужно бояться.*

Мне хотелось объяснить свою мысль капитану.

— Да, — сказал я, — мне кажется, что в каждой опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувства, — трусость; поэтому человека, который из тщеславия, или из любопытства, или из алчности рискует жизнию, нельзя назвать храбрым, и, наоборот, человека, который под влиянием честного чувства семейной обязанности или просто убеждения откажется от опасности, нельзя назвать трусом.

Капитан с каким-то странным выражением смотрел на меня в то время, как я говорил.

— Ну уж этого не умею вам доказать, — сказал он, накладывая трубку, — а вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет.

Я только на Кавказе познакомился с капитаном, но еще в России знал его. Мать его, Марья Ивановна Хлопова, мелкопоместная помещица, живет в двух верстах от моего имения. Перед отъездом моим на Кавказ я был у нее: старушка очень обрадовалась, что я увижу ее Пашеньку (как она называла старого, седого капитана) и — живая грамота — могу рассказать ему про ее житье-бытье и передать посылочку. Накормив меня славным пирогом и полотками, Марья Ивановна вышла в свою спальню и возвратилась оттуда с черной, довольно большой ладанкой, к которой была пришита такая же шелковая ленточка.

— Вот это неопалимой купины наша матушка-заступница, — сказала она, с крестом поцеловав изображение божией матери и передавая мне в руки, — потрудитесь, батюшка, доставьте ему. Видите ли: как он поехал на *Капказ*, я отслужила молебен и дала обещание, коли он будет жив и невредим, заказать этот образок божией матери. Вот уже восемнадцать лет, как заступница и угодники святые милуют его: ни разу ранен не был, а уж в каких, кажется, сражениях не был!.. Как мне Михайло, что с ним был, порассказал, так, верите ли, волос дыбом становится. Ведь я что и знаю про него, так только от чужих: он мне, мой голубчик,

ничего про свои походы не пишет — меня напугать боится.

(Уже на Кавказе я узнал, и то не от капитана, что он был четыре раза тяжело ранен и, само собою разумеется, как о ранах, так и о походах ничего не писал своей матери.)

— Так пусть теперь он это святое изображение на себе носит, — продолжала она, — я его им благословляю. Заступница пресвятая защитит его! Особенно в сражениях, чтобы он всегда его на себе имел. Так и скажи, мой батюшка, что мать твоя так тебе велела.

Я обещался в точности исполнить поручение.

— Я знаю, вы его полюбите, моего Пашеньку, — продолжала старушка, — он такой славный! Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не присылал, и Аннушке, моей дочери, тоже много помогает; а все из одного жалованья! Истинно век благодарю бога, — заключила она со слезами на глазах, — что дал он мне такое дитя.

— Часто он вам пишет? — спросил я.

— Редко, батюшка: нечто в год раз, и то когда с деньгами, так словечко напишет, а то нет. Ежели, говорит, маменька, я вам не пишу, значит, жив и здоров, а коли что, избави бог, случится, так и без меня напишут.

Когда я отдал капитану подарок матери (это было на моей квартире), он попросил оберточной бумажки, тщательно завернул его и спрятал. Я много говорил ему о подробностях жизни его матери; капитан молчал. Когда я кончил, он отошел в угол и что-то очень долго накладывал трубку.

— Да, славная старуха,— сказал он оттуда несколько глухим голосом,— приведет ли еще бог свидеться.

В этих простых словах выражалось очень много любви и печали.

— Зачем вы здесь служите? — сказал я.

— Надо же служить, — отвечал он с убеждением. — А двойное жалованье для нашего брата, бедного человека, много значит.

Капитан жил бережливо: в карты не играл, кутил редко и курил простой табак, который он, неизвестно почему, называл не тютюн, а *самброталический табак.*

Капитан еще прежде нравился мне: у него была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза; но после этого разговора я почувствовал к нему истинное уважение.

II

В четыре часа утра на другой день капитан заехал за мной. На нем были старый, истертый сюртук без эполет, лезгинские широкие штаны, белая папашка с опустившимся пожелтевшим курпеем[1] и незавидная азиятская шашка через плечо. Беленький маштачок[2], на котором он ехал, шел понуря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жиденьким хвостом. Несмотря на то, что в фигуре доброго капитана было не только мало воинственного, но и- красивого, в ней выражалось так много равнодушия ко всему окружающему, что она внушала невольное уважение.

Я ни минуты не заставил его дожидаться, тотчас сел на лошадь, и мы вместе выехали за ворота крепости.

Батальон был уже сажен двести впереди нас и казался какою-то черной сплошной колеблющейся массой. Можно было догадаться, что это была пехота, только потому, что, как частые длинные иглы, виднелись штыки и изредка долетали до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестного тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении. Дорога шла серединой глубокой и широкой балки[3], подле берега небольшой речки, которая в это время *играла,* то есть была в разливе. Стада диких голубей вились около нее: то садились на каменный берег, то, поворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улетали из вида. Солнца еще не было видно, но верхушка правой стороны балки начинала освещаться. Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держи-дерева, кизила и карагача обозначались

[1] Курпей на кавказском наречии значит овчина.
[2] Маштак на кавказском наречии значит небольшая лошадь.
[3] Балка на кавказском наречии значит овраг, ущелье. (Здесь и далее все примечания, за исключением переводов иностранного текста, принадлежат Л. Н. Толстому.)

с чрезвычайной ясностию и выпуклостию на прозрачном, золотистом свете восхода; зато другая сторона и лощина, покрытая густым туманом, который волновался дымчатыми неровными слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. Прямо перед нами, на темной лазури горизонта, с поражающею ясностию виднелись ярко-белые, матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых проснулись в высокой траве и наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками: казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчиков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой, туманом, — одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром. Капитан вырубил огня и закурил трубку; запах *самбротапического табаку* и трута показался мне необыкновенно приятным.

Мы ехали стороной дороги, чтобы скорее догнать пехоту. Капитан казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта дагестанской трубочки и с каждым шагом пятками поталкивал ногами свою лошадку, которая, перекачиваясь с боку на бок, прокладывала чуть заметный темно-зеленый след по мокрой высокой траве. Из-под самых ног ее с *тордоканьем*[1] и тем звуком крыльев, который невольно заставляет вздрагивать охотника, вылетел фазан и медленно стал подниматься кверху. Капитан не обратил на него ни малейшего внимания.

Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послышался топот скачущей лошади, и в ту же минуту проскакал мимо очень хорошенький и молоденький юноша в офицерском сюртуке и высокой белой папахе. Поровнявшись с нами, он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул плетью... Я успел заметить только, что он как-то особенно грациозно сидел на седле и держал поводья, и что у него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивавшиеся усики. Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой улыбке можно было заключить, что он еще очень молод.

[1] Тордоканье — крик фазана.

— И куда скачет? — с недовольным видом пробормотал капитан, не выпуская чубука изо рта.

— Кто это такой? — спросил я его.

— Прапорщик Аланин, субалтерн-офицер моей роты... Еще только в прошлом месяце прибыл из корпуса.

— Верно, он в первый раз идет в дело? — сказал я.

— То-то и радешенек! — отвечал капитан, глубокомысленно покачивая головой. — Молодость!

— Да как же не радоваться? Я понимаю, что для молодого офицера это должно быть очень интересно.

Капитан помолчал минуты две.

— То-то я и говорю: молодость! — продолжал он басом. — Чему радоваться, ничего не видя! Вот как походишь часто, так не порадуешься. Нас вот, положим, теперь 20 человек офицеров идет: кому-нибудь да убитым или раненым быть — уж это верно. Нынче мне, завтра ему, а после завтра третьему: так чему же радоваться-то?

III

Едва яркое солнце вышло из-за горы и стало освещать долину, по которой мы шли, волнистые облака тумана рассеялись, и сделалось жарко. Солдаты с ружьями и мешками на плечах медленно шагали по пыльной дороге; в рядах слышался изредка малороссийский говор и смех. Несколько старых солдат в белых кителях — большей частию унтер-офицеры — шли с трубками стороной дороги и степенно разговаривали. Троечные навьюченные верхом повозки подвигались шаг за шагом и поднимали густую неподвижную пыль. Офицеры верхами ехали впереди; иные, как говорится на Кавказе, джигитовали[1], то есть, ударяя плетью по лошади, заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову; другие занимались песенниками, которые, несмотря на жар и духоту, неутомимо играли одну песню за другою.

Сажен сто впереди пехоты на большом белом коне, с конными татарами, ехал известный в полку за отчаян-

[1] Джигит — по-кумыцки значит храбрый; переделанное же на русский лад *джигитовать* соответствует слову «храбриться».

ного храбреца и такого человека, *который хоть кому правду в глаза отрежет,* высокий и красивый офицер в азиятской одежде. На нем был черный бешмет с галунами, такие же ноговицы, новые, плотно обтягивающие ногу чувяки с чиразами[1], желтая черкеска и высокая, заломленная назад папаха. На груди и спине его лежали серебряные галуны, на которых надеты были натруска и пистолет за спиной; другой пистолет и кинжал в серебряной оправе висели на поясе. Сверх всего этого была опоясана шашка в красных сафьянных ножнах с галунами и надета через плечо винтовка в черном чехле. По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по всем движениям заметно было, что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним; но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов.

Поручик, например, любил, может быть, общество порядочных женщин и важных людей — генералов, полковников, адъютантов, — даже я уверен, что он очень любил это общество, потому что он был тщеславен в высшей степени, — но он считал своей непременной обязанностью поворачиваться своей грубой стороной ко всем важным людям, хотя грубил им весьма умеренно, и когда появлялась какая-нибудь барыня в крепости, то считал своей обязанностью ходить мимо ее окон с кунаками[2] в одной красной рубахе и одних чувяках на босую ногу и как можно громче кричать и браниться, — но все это не столько с желанием оскорбить ее, сколько с желанием показать, какие у него прекрасные белые ноги, и как можно бы было влюбиться в него, если бы он сам захотел этого. Или, часто ходя с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы засаживаться на дороги, чтоб подкарауливать и убивать немирных про-

[1] Чиразы значит галуны, на кавказском наречии.
[2] Кунак — приятель, друг, на кавказском наречии.

езжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет, он считал себя обязанным заставлять страдать людей, в которых он будто разочарован за что-то и которых он будто бы презирал и ненавидел. Он никогда не снимал с себя двух вещей: огромного образа на шее и кинжала сверх рубашки, с которым он даже спать ложился. Он искренно верил, что у него есть враги. Уверить себя, что ему надо отмстить кому-нибудь и кровью смыть обиду, было для него величайшим наслаждением. Он был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие поэтические чувства. Но любовница его, — черкешенка, разумеется, — с которой мне после случалось видеться, говорила, что он был самый добрый и кроткий человек и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счеты на разграфленной бумаге и на коленях молился богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось. Раз, в одну из своих ночных экспедиций на дорогу с кунаками, ему случилось ранить пулей в ногу одного немирного чеченца и взять его в плен. Чеченец этот семь недель после этого жил у поручика, и поручик лечил его, ухаживал, как за ближайшим другом, и когда тот вылечился, с подарками отпустил его. После этого, во время одной экспедиции, когда поручик отступал с цепью, отстреливаясь от неприятеля, он услыхал между врагами, что кто-то его звал по имени, и его раненый кунак выехал вперед и знаками приглашал поручика сделать то же. Поручик подъехал к своему кунаку и пожал ему руку. Горцы стояли поодаль и не стреляли; но как только поручик повернул лошадь назад, несколько человек выстрелили в него, и одна пуля попала вскользь ему ниже спины. Другой раз я сам видел, как в крепости, ночью, был пожар и две роты солдат тушили его. Среди толпы, освещенная багровым пламенем пожара, появилась вдруг высокая фигура человека на вороной лошади. Фигура расталкивала толпу и ехала к самому огню. Подъехав уже вплоть, поручик соскочил с лошади и побежал в горящий с одного краю дом. Через пять минут поручик вышел оттуда с опаленными волосами и обожженным локтем, неся за пазухой двух голубков, которых он спас от пламени.

Фамилия его была *Розенкранц;* но он часто говорил о своем происхождении, выводил его как-то от варягов и ясно доказывал, что он и предки его были чистые русские.

IV

Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскаленный воздух жаркие лучи на сухую землю. Темно-синее небо было совершенно чисто; только подошвы снеговых гор начинали одеваться бело-лиловыми облаками. Неподвижный воздух, казалось, был наполнен какою-то прозрачною пылью: становилось нестерпимо жарко. Дойдя до небольшого ручья, который тек на половине дороги, войска сделали привал. Солдаты, составив ружья, бросились к ручью; батальонный командир сел в тени, на барабан, и, выразив на полном лице степень своего чина, с некоторыми офицерами расположился закусывать; капитан лег на траве под ротной повозкой; храбрый поручик Розенкранц и еще несколько молодых офицеров, поместясь на разостланных бурках, собрались кутить, как-то заметно было по расставленным около них фляжкам и бутылкам и по особенному одушевлению песенников, которые, стоя полукругом перед ними, с присвистом играли плясовую кавказскую песню на голос лезгинки:

Шамиль вздумал бунтоваться
В прошедшие годы...
Трай-рай, ра-та-тай...
В прошедшие годы.

В числе этих офицеров был и молоденький прапорщик, который обогнал нас утром. Он был очень забавен: глаза его блестели, язык немного путался; ему хотелось целоваться и изъясняться в любви со всеми... Бедный мальчик! он еще не знал, что в этом положении можно быть смешным, что его откровенность и нежности, с которыми он ко всем навязывался, расположат других не к любви, которой ему так хотелось, а к насмешке, — не знал и того, что, когда он, разгоревшись, бросился наконец на бурку и, облокотясь на руку, откинул назад свои черные густые волосы, он был необыкновенно мил. Два офицера сидели под повозкой и на погребце играли в дурачки.

Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий; но решительно ни в ком я не мог заметить и тени того беспокойства, которое испытывал сам: шуточки, смехи, рассказы выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя было и предположить, что некоторым уже не суждено вернуться по этой дороге!

V

В седьмом часу вечера, пыльные и усталые, мы вступили в широкие, укрепленные ворота крепости NN. Солнце садилось и бросало косые розовые лучи на живописные батарейки и сады с высокими раинами, окружавшие крепость, на засеянные желтеющие поля и на белые облака, которые, столпясь около снеговых гор, как будто подражая им, образовывали цепь не менее причудливую и красивую. Молодой полумесяц, как прозрачное облачко, виднелся на горизонте. В ауле, расположенном около ворот, татарин на крыше сакли сзывал правоверных к молитве; песенники заливались с новой удалью и энергией.

Отдохнув и оправясь немного, я отправился к знакомому мне адъютанту, с тем чтобы попросить его доложить о моем намерении генералу. По дороге от форштата[1], где я остановился, я успел заметить в крепости NN то, чего никак не ожидал. Хорошенькая двуместная каретка, в которой видна была модная шляпка и слышался французский говор, обогнала меня. Из растворенного окна комендантского дома долетали звуки какой-то «Лизанька» или «Катенька-польки», играемой на плохом, расстроенном фортепьяно. В духане, мимо которого я проходил, с папиросами в руках, за стаканами вина сидели несколько писарей, и я слышал, как один говорил другому: «Уж позвольте... что насчет политики, Марья Григорьевна у нас первая дама». Сгорбленный жид, в изношенном сюртуке, с болезненной физиономией, тащил пискливую, сломанную шарманку, и по всему форштату разносились звуки финала из «Лючии». Две женщины в шумящих платьях, повязанные

[1] предместья (от *нем.* Vorstadt).

шелковыми платками и с ярко-цветными зонтиками в руках, плавно прошли мимо меня по дощатому тротуару. Две девицы, одна в розовом, другая в голубом платье, с открытыми головами, стояли у завалинки низенького домика и принужденно заливались тоненьким смехом, с видимым желанием обратить на себя внимание проходящих офицеров. Офицеры, в новых сюртуках, белых перчатках и блестящих эполетах, щеголяли по улицам и бульвару.

Я нашел своего знакомого в нижнем этаже генеральского дома. Только что я успел объяснить ему свое желание, и он — сказать мне, что оно очень может быть исполнено, как мимо окна, у которого мы сидели, простучала хорошенькая каретка, которую я заметил, и остановилась у крыльца. Из кареты вышел высокий, стройный мужчина в пехотном мундире с майорскими эполетами и прошел к генералу.

— Ах, извините, пожалуйста, — сказал мне адъютант, вставая с места, — мне непременно нужно доложить генералу.

— Кто это приехал? —спросил я.

— Графиня, — отвечал он и, застегивая мундир, побежал наверх.

Через несколько минут на крыльцо вышел невысокий, но весьма красивый человек, в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке. За ним вышли майор, адъютант и еще каких-то два офицера. В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену.

— Bonsoir, madame la comtesse[1], — сказал он, подавая руку в окно кареты.

Ручка в лайковой перчатке пожала его руку, и хорошенькое, улыбающееся личико в желтой шляпке показалось в окне кареты.

Из всего разговора, продолжавшегося несколько минут, я слышал только, проходя мимо, как генерал, улыбаясь, сказал:

— Vous savez, que j'ai fait voeu de combattre les infidèles; prenez donc garde de le devenir[2].

---

[1] Добрый вечер, графиня *(фр.)*.

[2] Вы знаете, что я дал обет сражаться с неверными, так остерегайтесь, чтоб не сделаться неверной *(фр.)*.

В карете засмеялись.

— Adieu donc, cher général [1].

— Non, á revoir, — сказал генерал, всходя на ступеньки лестницы, — n'oubliez pas, que je m'invite pour la soirée de demain [2].

Карета застучала дальше.

«Вот еще человек, — думал я, возвращаясь домой, — имеющий все, чего только добиваются русские люди: чин, богатство, знатность, — и этот человек перед боем, который бог один знает чем кончится, шутит с хорошенькой женщиной и обещает пить у нее чай на другой день, точно так же, как будто он встретился с нею на бале!»

Тут же, у этого же адъютанта, я встретил одного человека, который еще больше удивил меня: это — молодой поручик К. полка, отличавшийся своей почти женской кротостью и робостью, который пришел к адъютанту изливать свою досаду и негодование на людей, которые будто интриговали против него, чтобы его не назначили в предстоящее дело. Он говорил, что это гадость так поступать, что это не по-товарищески, что он будет это помнить ему и т. д. Сколько я ни вглядывался в выражение его лица, сколько ни вслушивался в звук его голоса, я не мог не убедиться, что он нисколько не притворялся, а был глубоко возмущен и огорчен, что ему не позволили итти стрелять в черкесов и находиться под их выстрелами; он был так огорчен, как бывает огорчен ребенок, которого только что несправедливо высекли... Я совершенно ничего не понимал.

VI

В десять часов вечера должны были выступить войска. В половине девятого я сел на лошадь и поехал к генералу; но, предполагая, что он и адъютант его заняты, я остановился на улице, привязал лошадь к забору и сел на завалинку, с тем чтобы, как только выедет генерал, догнать его.

Солнечный жар и блеск уже сменились прохладой ночи и неярким светом молодого месяца, который, обра-

---

[1] Ну, прощайте, дорогой генерал *(фр.)*.

[2] Нет, до свиданья, — не забудьте, что я напросился к вам завтра на вечер *(фр.)*.

зовывая около себя бледный светящийся полукруг на темной синеве звездного неба, начинал опускаться; в окнах домов и щелях ставень землянок засветились огни. Стройные раины садов, видневшиеся на горизонте из-за выбеленных, освещаемых луною землянок с камышевыми крышами, казались еще выше и чернее.

Длинные тени домов, деревьев, заборов ложились красиво по светлой пыльной дороге... На реке без умолку звенели лягушки [1]; на улицах слышны были то торопливые шаги и говор, то скок лошади; с форштата изредка долетали звуки шарманки: то *виют витры*, то какого-нибудь «Aurora-Walzer»[2].

Я не скажу, о чем я задумался: во-первых, потому, что мне совестно было бы признаться в мрачных мыслях, которые неотвязчивой чередой набегали мне в душу, тогда как кругом себя я замечал только веселость и радость, а во-вторых, потому, что это нейдет к моему рассказу. Я задумался так, что даже не заметил, как колокол пробил одиннадцать, и генерал со свитою проехал мимо меня.

Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд.

Арьергард еще был в воротах крепости. Насилу пробрался я по мосту между столпившимися орудиями, ящиками, ротными повозками и шумно распоряжающимися офицерами. Выехав за ворота, я рысью объехал чуть не на версту растянувшиеся, молчаливо двигающиеся в темноте войска и догнал генерала. Проезжая мимо вытянувшейся в одно орудие артиллерии и ехавших верхом между орудиями офицеров, меня, как оскорбительный диссонанс среди тихой и торжественной гармонии, поразил немецкий голос, кричавший: «Агхтингхист, падай пааааальник!» — и голос солдатика, торопливо кричавший: «Шевченко! поручик огня спрашивают».

Бóльшая часть неба покрылась длинными темно-серыми тучами; только кое-где между ними блестели неяркие звезды. Месяц скрылся уже за близким горизонтом черных гор, которые виднелись направо, и бросал на верхушки их слабый и дрожащий полусвет, резко

---

[1] Лягушки на Кавказе производят звук, не имеющий ничего общего с кваканьем русских лягушек.

[2] «Аврора-вальс» *(нем.)*.

противоположный с непроницаемым мраком, покрывавшим их подошвы. В воздухе было тепло и так тихо, что, казалось, ни одна травка, ни одно облачко не шевелились. Было так темно, что на самом близком расстоянии невозможно было определять предметы; по сторонам дороги представлялись мне то скалы, то животные, то какие-то странные люди, — и я узнавал, что это были кусты, только тогда, когда слышал их шелест и чувствовал свежесть росы, которою они были покрыты.

Перед собой я видел сплошную колеблющуюся черную стену, за которой следовало несколько движущихся пятен: это были авангард конницы и генерал со свитой. Сзади нас подвигалась такая же черная мрачная масса; но она была ниже первой: это была пехота.

Во всем отряде царствовала такая тишина, что ясно слышались все сливающиеся, исполненные таинственной прелести звуки ночи: далекий заунывный вой чакалок, похожий то на отчаянный плач, то на хохот, звонкие однообразные песни сверчка, лягушки, перепела, какой-то приближающийся гул, причины которого я никак не мог объяснить себе, и все те ночные, чуть слышные движения природы, которые невозможно ни понять, ни определить, сливались в один полный прекрасный звук, который мы называем тишиною ночи. Тишина эта нарушалась или, скорее, сливалась с глухим топотом копыт и шелестом высокой травы, которые производил медленно двигающийся отряд.

Только изредка слышались в рядах звон тяжелого орудия, звук столкнувшихся штыков, сдержанный говор и фырканье лошади. По запаху сочной и мокрой травы, которая ложилась под ногами лошади, легкому пару, подымавшемуся над землей, и с двух сторон открытому горизонту можно было заключить, что мы идем по широкому роскошному лугу.

Природа дышала примирительной красотой и силой.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственнейшим выражением красоты и добра.

VII

Мы ехали уже более двух часов. Меня пробирала дрожь и начинало клонить ко сну. Во мраке смутно представлялись те же неясные предметы: в некотором отдалении черная стена, такие же движущиеся пятна; подле самого меня круп белой лошади, которая, помахивая хвостом, широко раздвигала задними ногами; спина в белой черкеске, на которой покачивалась винтовка в черном чехле и виднелась белая головка пистолета в шитом кобуре; огонек папиросы, освещающий русые усы, бобровый воротник и руку в замшевой перчатке. Я нагибался к шее лошади, закрывал глаза и забывался на несколько минут; потом вдруг знакомый топот и шелест поражали меня: я озирался, — и мне казалось, что я стою на месте, что черная стена, которая была передо мной, двигается на меня, или что стена эта остановилась, и я сейчас наеду на нее. В одну из таких минут меня поразил еще сильнее тот приближающийся непрерывный гул, причины которого я не мог отгадать. Это был шум воды. Мы входили в глубокое ущелье и приближались к горной реке, которая была в это время во всем разливе[1]. Гул усиливался, сырая трава становилась гуще и выше, кусты попадались чаще, и горизонт постепенно суживался. Изредка на мрачном фоне гор вспыхивали в различных местах яркие огни и тотчас же исчезали.

— Скажите, пожалуйста, что это за огни? — спросил я шепотом у татарина, ехавшего подле меня.

— А ты не знаешь? — отвечал он.

— Не знаю.

— *Это горской солома на таяк[2] связал и огонь махать будет.*

— Зачем же это?

— *Чтобы всякий человек знал — русской пришел. — Теперь в аулах,* — прибавил он, засмеявшись: — *ай-ай, томаша[3] идет, всякий хурда-мурда[4] будет в балка тащить.*

---

[1] Разлив рек на Кавказе бывает в июле месяце.

[2] Таяк значит шест, на кавказском наречии.

[3] Томаша значит хлопоты, на особенном наречии, изобретенном русскими и татарами для разговора между собой. Есть много слов на этом странном наречии, корень которых нет возможности отыскать ни в русском, ни в татарском языках.

[4] Хурда-мурда — пожитки, на том же наречии.

— Разве в горах уже знают, что отряд идет? — спросил я.

— *Эй! как можно не знает! всегда знает: наши народ такой!*

— Так и Шамиль теперь собирается в поход? — спросил я.

— *Йок*[1],— отвечал он, качая головой в знак отрицания. — *Шамиль на похода ходить не будет; Шамиль наиб*[2] *пошлет, а сам труба смотреть будет, наверху.*

— А далеко он живет?

— *Далеко нету. Вот, левая сторона, верста десять будет.*

— Почему же ты знаешь? — спросил я. — Разве ты был там?

— *Был: наша все в горах был.*

— И Шамиля видел?

— *Пих! Шамиля наша видно не будет. Сто, триста, тысяча мюрид*[3] *кругом. Шамиль середка будет!* — прибавил он с выражением подобострастного уважения.

Взглянув кверху, можно было заметить, что выяснившееся небо начинало светлеть на востоке, и стожары опускаться к горизонту; но в ущелье, по которому мы шли, было сыро и мрачно.

Вдруг немного впереди нас, в темноте, зажглось несколько огоньков; в то же мгновение с визгом прожужжали пули, и среди окружающей тишины далеко раздались выстрелы и громкий пронзительный крик. Это был неприятельский передовой пикет. Татары, составлявшие его, гикнули, выстрелили наудачу и разбежались.

Всё смолкло. Генерал подозвал переводчика. Татарин в черной черкеске подъехал к нему и о чем-то шепотом и с жестами довольно долго говорил с ним.

— Полковник Хасанов, прикажите рассыпать цепь,— сказал генерал тихим, протяжным, но внятным голосом.

Отряд подошел к реке. Черные горы ущелья остались сзади; начинало светать. Небосклон, на котором чуть заметны были бледные, неяркие звезды, казался

---

[1] Йок по-татарски значит нет.

[2] Наибами называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управления.

[3] Слово мюрид имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем.

выше; зарница начинала ярко блестеть на востоке; свежий, прохватывающий ветерок тянул с запада, и светлый туман, как пар, подымался над шумящей рекой.

VIII

Вожак показал брод, и авангард конницы, а вслед за ним и генерал со свитою стали переправляться. Вода была лошадям по груди, с необыкновенной силой рвалась между белых камней, которые в иных местах виднелись на уровне воды, и образовывала около ног лошадей пенящиеся, шумящие струи. Лошади удивлялись шуму воды, подымали головы, настороживали уши, но мерно и осторожно шагали против течения по неровному дну. Седоки подбирали ноги и оружие. Пехотные солдаты, буквально в одних рубахах, поднимая над водою ружья, на которые надеты были узлы с одеждой, схватясь человек по двадцати рука с рукою, с заметным, по их напряженным лицам, усилием старались противостоять течению. Артиллерийские ездовые с громким криком рысью пускали лошадей в воду. Орудия и зеленые ящики, через которые изредка хлестала вода, звенели о каменное дно; но добрые черноморки дружно натягивали уносы, пенили воду и с мокрым хвостом и гривой выбирались на другой берег.

Как скоро переправа кончилась, генерал вдруг выразил на своем лице какую-то задумчивость и серьезность, повернул лошадь и с конницею рысью поехал по широкой, окруженной лесом поляне, открывшейся перед нами. Казачьи конные цепи рассыпались вдоль опушек.

В лесу виднеется пеший человек в черкеске и папахе, другой, третий... Кто-то из офицеров говорит: «это татары». Вот показался дымок из-за дерева... выстрел, другой... Наши частые выстрелы заглушают неприятельские. Только изредка пуля, с медленным звуком, похожим на полет пчелы, пролетая мимо, доказывает, что не все выстрелы наши. Вот пехота беглым шагом и орудия на рысях прошли в цепь; слышатся гудящие выстрелы из орудий, металлический звук полета картечи, шипение ракет, трескотня ружей. Конница, пехота и артиллерия виднеются со всех сторон по обширной поляне. Дымки орудий, ракет и ружей сливаются с покрытой росою зеленью и туманом. Полковник Хасанов подска-

кивает к генералу и на всем марш-марше круто останавливает лошадь.

— Ваше превосходительство! — говорит он, приставляя руку к папахе, — прикажите пустить кавалерию: показались значки[1], — и он указывает плетью на конных татар, впереди которых едут два человека на белых лошадях с красными и синими лоскутами на палках.

— С богом, Иван Михайлыч! — говорит генерал.

Полковник на месте поворачивает лошадь, выхватывает шашку и кричит: «Ура!»

— Урра! Урра! Урра! — раздается в рядах, и конница несется за ним.

Все смотрят с участием: вон значок, другой, третий, четвертый...

Неприятель, не дожидаясь атаки, скрывается в лес и открывает оттуда ружейный огонь. Пули летают чаще.

— Quel charmant coup d'oeil![2] — говорит генерал, слегка припрыгивая по-английски на своей вороной тонконогой лошадке.

— Charrmant! — отвечает грассируя майор и, ударяя плетью по лошади, подъезжает к генералу. — C'est un vrrai plaisirr, que la guerre dans un aussi beau pays[3], — говорит он.

— Et surtout en bonne compagnie[4], — прибавляет генерал с приятной улыбкой.

Майор наклоняется.

В это время с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то; сзади слышен стон раненого. Этот стон так странно поражает меня, что воинственная картина мгновенно теряет для меня всю свою прелесть; но никто, кроме меня, как будто не замечает этого: майор смеется, как кажется, с большим увлечением; другой офицер совершенно спокойно повторяет начатые слова речи; генерал смотрит в противоположную сторону и со спокойнейшей улыбкой говорит что-то по-французски.

---

[1] Значки между горцами имеют почти значение знамен, с тою только разницею, что всякий джигит может сделать себе значок и возить его.

[2] Какое прекрасное зрелище! *(фр.)*.

[3] Очаровательно! Истинное наслаждение — воевать в такой прекрасной стране (фр.).

[4] И особенно в хорошей компании (фр.).

— Прикажете отвечать на их выстрелы? — спрашивает, подскакивая, начальник артиллерии.

— Да, попугайте их, — небрежно говорит генерал, закуривая сигару.

Батарея выстраивается, и начинается пальба. Земля стонет от выстрелов, огни беспрестанно вспыхивают, и дым, в котором едва можно различить движущуюся прислугу около орудий, застилает глаза.

Аул обстрелян. Снова подъезжает полковник Хасанов и, по приказанию генерала, летит в аул. Крик войны снова раздается, и конница исчезает в поднятом ею облаке пыли.

Зрелище было истинно величественное. Одно только для меня, как человека, не принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще впечатление, было то, что́ мне казалось лишним — и это движение, и одушевление, и крики. Невольно приходило сравнение человека, который сплеча топором рубил бы воздух.

IX

Аул уже был занят нашими войсками, и ни одной неприятельской души не оставалось в нем, когда генерал со свитою, в которую вмешался и я, подъехал к нему.

Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами и красивыми трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река. С одной стороны виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычевыми[1] деревьями; с другой — торчали какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами. (Это были могилы джигитов.)

Войска в порядке стояли за воротами.

Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул мгновенно оживился. Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву, и выламывают дощатую дверь; тут загораются стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак

[1] Лыча — мелкая слива.

тащит куль муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашел где-то огромный кумган[1] с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю.

Батальон, с которым я шел из крепости N, тоже был в ауле. Капитан сидел на крыше сакли и пускал из коротенькой трубочки струйки дыма *самброталического табаку* с таким равнодушным видом, что, когда я увидал его, я забыл, что я в немирном ауле, и мне показалось, что я в нем совершенно дома.

— А! и вы тут? — сказал он, заметив меня.

Высокая фигура поручика Розенкранца то там, то сям мелькала в ауле; он без умолку распоряжался и имел вид человека, чем-то крайне озабоченного. Я видел, как он с торжествующим видом вышел из одной сакли; вслед за ним двое солдат вели связанного старого татарина. Старик, всю одежду которого составляли распадавшиеся в лохмотьях пестрый бешмет и лоскутные портки, был так хил, что туго стянутые за сгорбленной спиной костлявые руки его, казалось, едва держались в плечах, и кривые босые ноги насилу передвигались. Лицо его и даже часть бритой головы были изрыты глубокими морщинами; искривленный беззубый рот, окруженный седыми подстриженными усами и бородой, беспрестанно шевелился, как будто жуя что-то; но в красных, лишенных ресниц глазах еще блистал огонь и ясно выражалось старческое равнодушие к жизни.

Розенкранц через переводчика спросил его, зачем он не ушел с другими.

— Куда мне идти? — сказал он, спокойно глядя в сторону.

— Туда, куда другие ушли, — заметил кто-то.

— Джигиты пошли драться с русскими, а я старик.

— Разве ты не боишься русских?

— Что́ мне русские сделают? Я старик, — сказал он опять, небрежно оглядывая кружок, составившийся около него.

Возвращаясь назад, я видел, как этот старик, без шапки, со связанными руками, трясся за седлом линей-

---

[1] Кумган — горшок.

ного казака и с тем же бесстрастным выражением смотрел вокруг себя. Он был необходим для размена пленных.

Я влез на крышу и расположился подле капитана.

— Неприятеля, кажется, было немного, — сказал я ему, желая узнать его мнение о бывшем деле.

— Неприятеля? — повторил он с удивлением. — Да его вовсе не было. Разве это называется неприятель?.. Вот вечерком посмотрите, как мы отступать станем: увидите, как провожать начнут: что их там высыплет! — прибавил он, указывая трубкой на перелесок, который мы проходили утром.

— Что́ это такое? — спросил я с беспокойством, прерывая капитана и указывая на собравшихся недалеко от нас около чего-то донских казаков.

Между ними слышалось что-то похожее на плач ребенка и слова:

— Э, не руби... стой... увидят... Нож есть, Евстигнеич?.. Давай нож...

— Что-нибудь делят, подлецы, — спокойно сказал капитан.

Но в то же самое время с разгоревшимся, испуганным лицом вдруг выбежал из-за угла хорошенький прапорщик и, махая руками, бросился к казакам.

— Не трогайте, не бейте его! — кричал он детским голосом.

Увидев офицера, казаки расступились и выпустили из рук белого козленка. Молодой прапорщик совершенно растерялся, забормотал что-то и со сконфуженной физиономией остановился перед ним. Увидав на крыше меня и капитана, он покраснел еще больше, и, припрыгивая, подбежал к нам.

— Я думал, что это они ребенка хотят убить, — сказал он, робко улыбаясь.

X

Генерал с конницей поехал вперед. Батальон, с которым я шел из крепости N, остался в арьергарде. Роты капитана Хлопова и поручика Розенкранца отступали вместе.

Предсказание капитана вполне оправдалось: как только мы вступили в узкий перелесок, про который он говорил, с обеих сторон стали беспрестанно мелькать

конные и пешие горцы, и так близко, что я очень хорошо видел, как некоторые, согнувшись, с винтовкой в руках, перебегали от одного дерева к другому.

Капитан снял шапку и набожно перекрестился; некоторые старые солдаты сделали то же. В лесу послышались гиканье, слова: «иай гяур! Урус иай!» Сухие, короткие винтовочные выстрелы следовали один за другим, и пули визжали с обеих сторон. Наши молча отвечали беглым огнем; в рядах их только изредка слышались замечания в роде следующих: «*он*[1] откуда палит, *ему* хорошо из-за леса, *орудию* бы нужно...» и т. д.

Орудия въезжали в цепь, и после нескольких залпов картечью неприятель, казалось, ослабевал, но через минуту и с каждым шагом, который делали войска, снова усиливал огонь, крики и гиканье.

Едва мы отступили сажен на триста от аула, как над нами со свистом стали летать неприятельские ядра. Я видел, как ядром убило солдата... Но зачем рассказывать подробности этой страшной картины, когда я сам дорого бы дал, чтобы забыть ее!

Поручик Розенкранц сам стрелял из винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплым голосом кричал на солдат и во весь дух скакал с одного конца цепи на другой. Он был несколько бледен, и это очень шло к его воинственному лицу.

Хорошенький прапорщик был в восторге; прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался; он беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволения броситься *на ура*.

— Мы их отобьем, — убедительно говорил он, — право, отобьем.

— Не нужно, — кротко отвечал капитан, — надо отступать.

Рота капитана занимала опушку леса и лежа отстреливалась от неприятеля. Капитан в своем изношенном сюртуке и взъерошенной шапочке, опустив поводья белому маштачку и подкорчив на коротких стременах ноги, молча стоял на одном месте. (Солдаты так хорошо знали и делали свое дело, что нечего было приказывать им.) Только изредка он возвышал голос, прикрикивая на тех, которые подымали головы.

---

[1] Он — собирательное название, под которым кавказские солдаты разумеют вообще неприятеля.

В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр», сказалось мне невольно.

Он был *точно таким же, каким я всегда видал его:* те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом. Легко сказать: *таким же, как и всегда.* Но сколько различных оттенков я замечал в других: один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно; по лицу же капитана заметно, что он и не понимает, зачем казаться.

Француз, который при Ватерлоо сказал: «La garde meurt, mais ne se rend pas»[1], и другие, в особенности французские герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбры и действительно говорили достопамятные изречения; но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, что, когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости; и как же после этого не болеть русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французские пошлые фразы, имеющие претензию на подражание устарелому французскому рыцарству?..

Вдруг в той стороне, где стоял хорошенький прапорщик со взводом, послышалось недружное и негромкое ура. Оглянувшись на крик, я увидел человек тридцать солдат, которые с ружьями в руках и мешками на плечах насилу-насилу бежали по вспаханному полю. Они спотыкались, но все подвигались вперед и кричали. Впереди их, выхватив шашку, скакал молодой прапорщик.

Все скрылось в лесу...

Через несколько минут гиканья и трескотни из лесу

[1] «Гвардия умирает, но не сдается» *(фр.).*

выбежала испуганная лошадь, и в опушке показались солдаты, выносившие убитых и раненых; в числе последних был молодой прапорщик. Два солдата держали его под мышки. Он был бледен, как платок, и хорошенькая головка, на которой заметна была только тень того воинственного восторга, который одушевлял ее за минуту перед этим, как-то страшно углубилась между плеч и спустилась на грудь. На белой рубашке под расстегнутым сюртуком виднелось небольшое кровавое пятнышко.

— Ах, какая жалость! — сказал я невольно, отворачиваясь от этого печального зрелища.

— Известно, жалко, — сказал старый солдат, который, с угрюмым видом, облокотясь на ружье, стоял подле меня. — Ничего не боится: как же этак можно! — прибавил он, пристально глядя на раненого. — Глуп еще — вот и поплатился.

— А ты разве боишься? — спросил я.

— А то нет!

XI

Четыре солдата на носилках несли прапорщика; за ними форштатский солдат вел худую, разбитую лошадь, с навьюченными на нее двумя зелеными ящиками, в которых хранилась фельдшерская принадлежность. Дожидались доктора. Офицеры подъезжали к носилкам и старались ободрить и утешить раненого.

— Ну, брат Аланин, не скоро опять можно будет поплясать с ложечками, — сказал с улыбкой подъехавший поручик Розенкранц.

Он, должно быть, полагал, что слова эти поддержат бодрость хорошенького прапорщика; но, сколько можно было заметить по холодно-печальному выражению взгляда последнего, слова эти не произвели желанного действия.

Подъехал и капитан. Он пристально посмотрел на раненого, и на всегда равнодушно-холодном лице его выразилось искреннее сожаление.

— Что, дорогой мой Анатолий Иваныч? — сказал он голосом, звучащим таким нежным участием, какого я не ожидал от него. — Видно, так богу угодно.

Раненый оглянулся; бледное лицо его оживилось печальной улыбкой.

— Да, вас не послушался.

— Скажите лучше: так богу угодно, — повторил капитан.

Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонд и другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободрительной улыбкой подошел к раненому.

— Что, видно, и вам сделали дырочку на целом месте, — сказал он шутливо-небрежным тоном, — покажите-ка.

Прапорщик повиновался; но в выражении, с которым он взглянул на веселого доктора, были удивление и упрек, которых не заметил этот последний. Он принялся зондировать рану и осматривать ее со всех сторон; но выведенный из терпения раненый с тяжелым стоном отодвинул его руку...

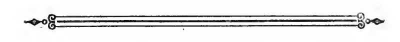
— Оставьте меня, — сказал он чуть слышным голосом, — все равно я умру.

С этими словами он упал на спину, и через пять минут, когда я, подходя к группе, образовавшейся подле него, спросил у солдата: «что прапорщик?», мне отвечали: *«отходит»*.

XII

Уже было поздно, когда отряд, построившись широкой колонной, с песнями подходил к крепости.

Солнце скрылось за снеговым хребтом и бросало последние розовые лучи на длинное, тонкое облако, остановившееся на ясном, прозрачном горизонте. Снеговые горы начинали скрываться в лиловом тумане; только верхняя линия их обозначалась с чрезвычайной ясностью на багровом свете заката. Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури. Зелень травы и деревьев чернела и покрывалась росою. Темные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и веселые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех сил, и, исполненные чувства и силы, звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху.



РУБКА ЛЕСА

Рассказ юнкера

I

В середине зимы 185... года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером 14-го февраля, узнав, что взвод, которым я командовал за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь, лег на свою построенную на колышках постель, надвинул на глаза папаху, закутался в шубу и заснул тем особенным, крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела на завтра привело меня в это состояние.

В три часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза.

— Извольте вставать, — сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп и заснул.— Извольте вставать,— повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо. — Пехота выступает. — Я вдруг вспомнил действительность, вздрогнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошел в парк (место, где стоят орудия). Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким багровым светом. Вблизи слышался равномер-

ный, спокойный храп, вдали движение, говор и бряцанье ружей пехоты, готовившейся к выступлению; пахло дымом, навозом, фитилем и туманом; по спине пробегала утренняя дрожь, и зубы против воли ощупывали друг друга.

Только по фырканью и редкому топоту можно было разобрать в этой непроницаемой темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников — где стоят орудия. Со словами: «с богом», зазвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. Вступив в интервал между пехотою, взвод остановился и с четверть часа дожидался сбора всей колонны и выезда начальника.

— А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович! — сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова.

— Кого?

— Веленчука нет-с. Как запрягали, он все тут был,— я его видал, — а теперь нет.

Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскать Веленчука строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысило несколько конных: это был начальник со свитой; а вслед затем зашевелилась и тронулась голова колонны, наконец и мы,— а Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти сто шагов, как оба солдата догнали нас.

— Где он был? — спросил я у Антонова.

— В парке спал.

— Что, он хмелен, что ли?

— Никак нет.

— Так отчего же он заснул?

— Не могу знать.

Часа три мы медленно двигались по каким-то непаханым бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде послышались отрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбудительно подействовали на всех. Отряд как бы проснулся: в рядах послышались говор,

движение и смех. Солдаты кто боролся с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или, для препровождения времени, *отбивал* на караул и к ноге. Притом туман заметно начинал белеть на востоке, сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые лафеты и ящики, покрытую туманной сыростью медь орудий, знакомые, невольно изученные до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнедых лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами.

Скоро нас снова тронули и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелись крутой берег извилистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища; слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес.

Не прошло пяти минут, как со всех сторон затрещали и задымились костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучья и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев.

Артиллеристы с некоторым соперничеством перед пехотными разложили свой костер, и, хотя он уже так разгорелся, что на два шага подойти нельзя было, и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались угли, и помертвелая белая трава оттаивала кругом костра, солдатам все казалось мало: они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували все больше и больше.

Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук, и всегда хлопотун, но теперь, как провинившийся, больше всех старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил раза два из руки в руку и бросил на землю.

— Ты форостинку зажги да подай, — сказал другой. — Пальник, братцы, подайте, — сказал третий.

Когда я наконец без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажег папиросу,

он потер обожженные пальцы о задние полы полушубка и, должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок и с размаху бросил его на костер. Когда наконец ему показалось, что можно отдохнуть, он подошел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем в виде епанчи, на задней пуговице, расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки и, скривив немного рот, зажмурился.

— Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности.

II

В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск: кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д.

Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие:

1) Покорных.

2) Начальствующих и

3) Отчаянных.

Покорные подразделяются на: а) покорных хладнокровных, b) покорных хлопотливых.

Начальствующие подразделяются на: а) начальствующих суровых и b) начальствующих политичных.

Отчаянные подразделяются на: а) отчаянных забавников и b) отчаянных развратных.

Чаще других встречающийся тип, — тип более всего милый, симпатичный и большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле божьей, — есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем несокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная черта хлопотливого — ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием.

Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и т. д., и, по первому

подразделению начальствующих суровых, есть тип весьма благородный, энергический, преимущественно военный, не исключающий высоких поэтических порывов (к этому-то типу принадлежал ефрейтор Антонов, с которым я намерен познакомить читателя). Второе подразделение составляют начальствующие политичные, с некоторого времени начинающие сильно распространяться. Начальствующий политичный бывает всегда красноречив, грамотен, ходит в розовой рубашке, не ест из общего котла, курит иногда Мусатов табак, считает себя несравненно выше простого солдата и редко сам бывает столь хорошим солдатом, как начальствующие первого разряда.

Тип отчаянного, точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении — отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль, — и так же ужасно дурен во втором подразделении — отчаянных развратных, которые однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским. Неверие и какое-то удальство в пороке — главные черты характера этого разряда.

Веленчук принадлежал к разряду покорных хлопотливых. Он был малороссиянин родом, уже пятнадцать лет на службе и хотя невидный и не слишком ловкий солдат, но простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большей частью некстати, и чрезвычайно честный. Я говорю: чрезвычайно честный, потому что в прошлом году был случай, в котором он показал весьма очевидно это характеристическое свойство. Надобно заметить, что почти каждый из солдат имеет мастерство. Более распространенные мастерства: портняжное и сапожное. Веленчук сам научился первому и даже, судя по тому, что сам Михаил Дорофеич, фельдфебель, давал ему шить на себя, дошел до известной степени совершенства. В прошлом году в лагере Веленчук взялся шить тонкую шинель Михаилу Дорофеичу; но в ту самую ночь, когда он, скроив сукно и прикинув приклад, положил к себе в палатке под голову, с ним случилось несчастие: сукно, которое стоило *семь рублей,* в ночь пропало! Веленчук, со слезами на глазах, с дрожащими бледными губами и сдержанными рыдания-

ми, объявил о том фельдфебелю. Михаил Дорофеич прогневался. В первую минуту досады он пригрозил портному, но потом, как человек с достатком и хороший, махнул рукой и не требовал с Веленчука возвращения ценности шинели. Как ни хлопотал хлопотливый Веленчук, как ни плакал, рассказывая про свое несчастие, вор не нашелся. Хотя и были сильные подозрения на одного отчаянного развратного солдата, Чернова, спавшего с ним в одной палатке, но не было положительных доказательств. Начальствующий политичный Михаил Дорофеич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с каптенармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели; Веленчук же, напротив, не забыл своего несчастия. Солдаты говорили, что в это время они боялись за него, как бы он не наложил на себя рук или не бежал в горы: так сильно на него подействовало это несчастие. Он не пил, не ел, работать даже не мог и все плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеичу и, весь бледный, дрожащей рукой достал из-за обшлага золотой и подал ему. «Ей-богу, последние, Михаил Дорофеич, — и те у Жданова занял, — сказал он, снова всхлипывая, — а еще два рубля, ей-ей, отдам, как заработаю. Он (кто был *он,* не знал и сам Веленчук) меня перед вашими глазами плутом сделал. Он — ехидная его мерзкая душа — у своего брата-солдата последнее из души взял; а я, пятнадцать лет служа...» К чести Михаила Дорофеича должно сказать, что он не взял с Веленчука недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их.

III

Кроме Веленчука, около костра грелись еще пять человек солдат моего взвода.

На лучшем месте, за ветром, на баклаге, сидел взводный фейерверкер Максимов и курил трубку. В позе, во взгляде и во всех движениях этого человека заметны были привычка повелевать и сознание собственного достоинства, не говоря уже о баклаге, на которой он сидел, составляющей на привале эмблему власти, и крытом нанкой полушубке.

Когда я подошел, он повернул голову ко мне, но глаза его оставались устремленными на огонь, и только

гораздо после взгляд его, вслед за направлением головы, обратился на меня. Максимов был из однодворцев, имел деньги и в учебной бригаде получил класс и набрался учености. Он был ужасно богат и ужасно учен, как говорили солдаты. Я помню, как раз на практической навесной стрельбе с квадрантом он объяснял собравшимся вокруг него солдатам, что ватерпас *не что иное есть, как происходит, что атмосферическая ртуть свое движение имеет*. В сущности, Максимов был далеко не глуп и отлично знал свое дело; но у него была несчастная странность говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его и что, я уверен, он сам не понимал своих слов. Особенно он любил слова «происходит» и «продолжать», и когда бывало, скажет: «происходит» или «продолжая», то уже я вперед знаю, что из всего последующего я не пойму ничего. Солдаты же, напротив, сколько я мог заметить, любили слушать его «происходит» и подозревали в нем глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова. Но непонимание это они относили только к своей глупости и тем более уважали Федора Максимыча. Одним словом, Максимов был начальствующий политичный.

Второй солдат, переобувавший около огня свои жилистые красные ноги, был Антонов, — тот самый бомбардир Антонов, который еще в тридцать седьмом году, втроем оставшись при одном орудии, без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал идти около орудия и заряжать его. «Давно бы уж ему быть фейерверкером, коли бы не карахтер его», — говорили про него солдаты. И действительно, странный у него был характер: в трезвом виде не было человека покойнее, смирнее и исправнее; когда же он запивал, становился совсем другим человеком: не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда не годным солдатом. Не дальше как неделю тому назад он запил на масленице и, несмотря ни на какие угрозы, увещания и привязыванья к орудию, пьянствовал и буянил до самого чистого понедельника. Весь пост же, несмотря на приказ по отряду всем людям есть скоромное, питался он одними сухарями и на первой неделе не брал даже положенной крышки водки. Впрочем, надобно было видеть эту невысокую, сбитую, как железо, фигуру, с короткими, выгнутыми ножками и глянцевитой

усатой рожей, когда он, бывало, под хмельком возьмет в жилистые руки балалайку и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет «барыню» или, с шинелью внакидку, на которой болтаются ордена, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдется по улице,— надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему не солдатскому, игравшее в это время на его физиономии, чтобы понять, каким образом не подраться в такие минуты с загрубившим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще неартиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем.

Третий солдат, с серьгой в ухе, щетинистыми усиками, птичьей рожицей и фарфоровой трубочкой в зубах, на корточках сидевший около костра, был ездовой Чикин. Милый человек Чикин, как его прозвали солдаты, был *забавник*. В трескучий ли мороз, по колено в грязи, два дня не евши, в походе, на смотру, на ученье, милый человек всегда и везде корчил гримасы, выделывал ногами коленцы и отливал такие штуки, что весь взвод покатывался со смеху. На привале или в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат, с которыми он или затевал «Фильку»[1], или рассказывал сказки про хитрого солдата и английского милорда, или представлял татарина, немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирали со смеху. Правда, что репутация его как забавника была уж так утверждена в батарее, что стоило ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести общий хохот; но действительно в нем много было истинно комического и неожиданного. Он в каждой вещи умел видеть что-то особенное, такое, что другим и в голову не приходило, и главное — способность эта во всем видеть смешное не уступала никаким испытаниям.

Четвертый солдат был молодой, невзрачный мальчишка, рекрут прошлогоднего пригона, в первый еще раз бывший в походе. Он стоял в самом дыму и так близко от огня, что, казалось, истертый полушубочек его сейчас загорится; но, несмотря на это, по его распахнутым по-

[1] Солдатская игра в карты.

лам, спокойной, самодовольной позе с выгнутыми икрами видно было, что он испытывал большое удовольствие.

И, наконец, пятый солдат, немного поодаль сидевший от костра и строгавший какую-то палочку, был дяденька Жданов. Жданов был старше всех солдат в батарее на службе, всех знал еще рекрутами, и все по старой привычке называли его дяденькой. Он, как говорили, никогда не пил, не курил, не играл в карты (даже в носки), не бранился дурным словом. Все свободное от службы время он занимался сапожным мастерством, по праздникам ходил в церковь, где было возможно, или ставил копеечную свечку перед образом и раскрывал псалтырь, единственную книгу, по которой он умел читать. С солдатами он водился мало, — со старшими чином, хотя и младшими летами, он был холодно-почтителен, с равными, как не пьющий, он имел мало случаев сходиться; но особенно он любил рекрутов и молодых солдат: их он всегда покровительствовал, читал им наставления и помогал часто. Все в батарее считали его капиталистом, потому что он имел рублей двадцать пять, которыми охотно ссужал солдата, который действительно нуждался. Тот самый Максимов, который теперь был фейерверкером, рассказывал мне, что когда, десять лет тому назад, он рекрутом пришел, и старые пьющие солдаты пропили с ним деньги, которые у него были, Жданов, заметив его несчастное положение, призвал к себе, строго выговорил ему за его поведение, побил даже, прочел наставление, как в солдатстве жить нужно, и отпустил, дав ему рубаху, которых уже не было у Максимова, и полтину денег. «Он из меня человека сделал», — говорил про него всегда с уважением и благодарностью сам Максимов. Он же помог Веленчуку, которого он вообще покровительствовал с самого рекрутства, во время несчастия пропажи шинели и многим, многим другим во время своей двадцатипятилетней службы.

По службе нельзя было желать лучше знающего дело, храбрее и исправнее солдата; но он был слишком смирен и невиден, чтобы быть произведенным в фейерверкеры, хотя уже был пятнадцать лет бомбардиром. Одна радость и даже страсть Жданова были песни; особенно некоторые он очень любил и всегда собирал кружок песенников из молодых солдат и, хотя сам не

умел петь, стоял с ними и, заложив руки в карманы полушубка и зажмурившись, движениями головы и скул выражал свое сочувствие. Не знаю почему, в этом равномерном движении скул под ушами, которое я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выраженья. Белая, как лунь, голова, нафабренные черные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему на первый взгляд выражение строгое и суровое; но, вглядевшись ближе в его большие, круглые глаза, особенно, когда они улыбались (губами он никогда не смеялся), что-то необыкновенно кроткое, почти детское, вдруг поражало вас.

IV

— Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — повторил Веленчук.

— А ты бы *сихарки* курил, милый человек!— заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая.— Я так всё сихарки дома курю, она слаще!

Разумеется, все покатились со смеху.

— То-то, трубку забыл, — перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически-гордо выбивая трубку о ладонь левой руки. — Ты где там пропадал? а, Веленчук?

Веленчук полуоборотился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее.

— Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стоя засыпаешь. За это вашему брату спасибо не говорят.

— Разорви меня на сем месте, Федор Максимыч, коли у меня капля во рту была; а я и сам не знаю, что со мной сделалось, — отвечал Веленчук. — С какой радости напился! — проворчал он.

— То-то, а из-за вашего брата ответствуешь перед начальством своим, а вы этак продолжаете — вовсе безобразно, — заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном.

— Ведь вот чудо-то, братцы мои, — продолжал Веленчук после минутного молчания, почесывая в затылке и не обращаясь ни к кому в особенности, — право, чудо, братцы мои! Шестнадцать лет служу — такого со мной не бывало. Как сказали к расчету строиться,

я собрался как следует — ничего не было, да вдруг у парке как *она* схватит меня... схватила, схватила, повалила меня наземь, да и все... И как заснул, сам не слыхал, братцы мои! Должно, она самая спячка и есть,— заключил он.

— Ведь и то насилу я тебя разбудил, — сказал Антонов, натягивая сапог, — уж я тебя толкал, толкал... ровно чурбан какой!

— Вишь ты, — заметил Веленчук, — добро уж пьяный бы был...

— Так-то у нас дома баба была, — начал Чикин, — так с печи, почитай, два года не сходила. Стали ее будить раз, думали, что спит, а уж она мертвая лежит, — так тоже все на нее сон находил. Так-то, милый человек!

— А расскажи-ка, Чикин, как ты в отпуску тон задавал себе, — сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на меня, как будто говоря: «не угодно ли тоже послушать глупого человека?».

— Какой тон, Федор Максимыч! — сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд. — Известно, рассказывал, какой такой Капказ есть.

— Ну да, как же, как же! Ты не модничай... расскажи, как ты им *предводительствовал?*

— Известно, как предводительствовал: спрашивали, как мы живем, — начал Чикин скороговоркой, с видом человека, несколько раз рассказывавшего то же самое,— я говорю, живем хорошо, милый человек: провиянт сполна получаем, утро и вечер по чашке *щиколата* идет на *солдата,* а в обед идет господский *суп* из перловых *круп,* а замест водки *модера* полагается по крышке. Модера Дивирье, что без посуды, мол, сорок две!

— Важная модера! — громче других, заливаясь смехом, подхватил Веленчук. — Вот так модера!

— Ну, а про эзиятов как рассказывал? — продолжал допрашивать Максимов, когда общий смех утих несколько.

Чикин нагнулся к огню, достал палочкой уголек, наложил его на трубку и молча, как будто не замечая возбужденного в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда наконец он набрался достаточно дыму, сбросил уголек, сдвинул еще более назад свою шапочку и, подергиваясь и слегка улыбаясь, продолжал:

— Тоже спрашивают, какой, говорит, там, малый, черкес, говорит, или турка у вас на Капказе, говорит, бьют? Я говорю: у нас черкес, милый человек, не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни замест хлеба едят. Те большие, говорю, ровно как колода добрая, по одном глазу во лбу, и шапки на них красные, вот так и горят, ровно как на тебе, милый человек! — прибавил он, обращаясь к молодому рекрутику, на котором, действительно, была уморительная шапочка с красным верхом.

Рекрутик при этом неожиданном обращении вдруг присел к земле, ударил себя по коленям и расхохотался и раскашлялся до того, что едва мог выговорить задыхающимся голосом: «Вот так тавлинцы!»

— А то еще, говорю, мумры есть, — продолжал Чикин, движением головы надвигая на лоб свою шапочку,— те другие,— двойнешки маленькие, вот такие. Всё по парочкам, говорю, рука с рукой держатся и так-то бегают, говорю, швытко, что ты его на коне не догонишь. — Как же, говорит, малый, как же они, мумры-то, рука с рукой так и родятся, что ли? — воображая передразнивать мужика, сказал он горловым басом. — Да, говорю, милый человек, он такой от природии. Ты им руки разорви, так кровь пойдет, все равно что китаец: шапку с него сними, она, кровь, пойдет. — А кажи, малый, как они бьют-то? — говорит. — Да так, говорю, поймают тебя, живот распорят, да кишки тебе на руку и мотают, и мотают. Они мотают, а ты смеешься; дотелева смеешься, что дух вон...

— Ну, что ж, и имели к тебе доверие, Чикин? — сказал Максимов, слегка улыбаясь, тогда как остальные помирали со смеху.

— И такой, право, народ чудной, Федор Максимыч: верют всему, ей-богу, верют! А стал им про гору *Кизбек* сказывать, что на ней все лето снег не тает, так вовсе на смех подняли, милый человек! — Что ты, говорит, малый, фастаешь? Видано ли дело: большая гора, да на ней снег не будет таять. У нас, малый, в ростопель так какой бугор, и то прежде растает, а в лощине снег лежит. — Поди ты! — заключил Чикин, подмигивая.

V

Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко; серо-лиловый горизонт постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но также резко ограничивался обманчивою белою стеною тумана.

Впереди нас, за срубленным лесом, открылась довольно большая поляна. По поляне со всех сторон расстилался где черный, где молочно-белый, где лиловый дым костров, и странными фигурами носились белые слои тумана. Далеко впереди изредка показывались группы верховых татар, и слышались нечастые выстрелы наших штуцеров, их винтовок и орудия.

«Это еще было не дело, а одна потеха-с», как говорил добрый капитан Хлопов.

Командир 9-й егерской роты, бывшей у нас в прикрытии, подошел к моим орудиям и, указывая на трех верховых татар, ехавших в это время под лесом, на расстоянии от нас более шестисот сажен, просил, по свойственной всем вообще пехотным офицерам любви к артиллерийской стрельбе, просил меня пустить по ним ядро или гранату.

— Видите, — говорил он, с доброй и убедительной улыбкой протягивая руку из-за моего плеча, — где два большие дерева, так впереди один на белой лошади и в черной черкеске, а вон сзади еще два. Видите? Нельзя ли их, пожалуйста...

— А вон еще трое едут, по-под лесом, — прибавил Антонов, отличавшийся удивительным глазом, подходя к нам и пряча за спину трубку, которую курил в это время, — еще передний винтовку из чехла вынул. Знатко видать, вашбородие!

— Вишь, выпалил, братцы мои! вон дымок забелелся, — сказал Веленчук в группе солдат, стоявших немного сзади нас.

— Должно, в нашу цепь, прохвост! — заметил другой.

— Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно, место глядят — орудию поставить хотят, — добавил третий. — Гхранату кабы им туда в кучку пустить, то-го бы заплевали...

— А как думаешь, как раз дотолева фатит, милый человек? — спросил Чикин.

— Пятьсот либо пятьсот двадцать сажен, больше не будет, — как будто говоря сам с собой, хладнокровно сказал Максимов, хотя видно было, что ему так же, как и другим, ужасно хотелось выпалить, — коли сорок пять линий из единорога дать, то в самый пункт попасть можно, то есть совершенно.

— Знаете, теперь коли в эту кучку направить, непременно в какого-нибудь попадете. Вот-вот теперь, как они съехались, пожалуйста, поскорей велите выстрелить,— продолжал упрашивать меня ротный командир.

— Прикажете навести орудие? — отрывистым басом вдруг спросил Антонов с видом какой-то угрюмой злобы.

Признаюсь, мне и самому этого очень хотелось, и я велел навести второе орудие.

Едва я успел сказать, как граната была распудрена, дослана, и Антонов, прильнув к станине и приставив к затыльнику свои два толстых пальца, уже командовал хобот вправо и влево.

— Чуть-чуть влево... самую малость вправо... еще, еще трошки... так ладно, — сказал он, с гордым видом отходя от орудия.

Пехотный офицер, я, Максимов, один за другим приложились к прицелу и все подали свои разнообразные мнения.

— Ей-богу, перенесет, — заметил Веленчук, пощелкивая языком, несмотря на то, что он только смотрел чрез плечо Антонова и поэтому не имел никакого основания предполагать это. — Е-е-ей-богу, перенесет, прямо в ту дерево попанет, братцы мои!

— Второе! — скомандовал я.

Прислуга расступилась. Антонов отбежал в сторону, чтобы видеть полет снаряда, трубка вспыхнула, и зазвенела медь. В то же мгновение нас обдало пороховым дымом, и из поразительного гула выстрела отделился металлический, жужжащий, с быстротою молнии удалявшийся звук полета, посреди всеобщего молчания замерший в отдалении.

Немного позади группы верховых показался белый дымок, татары расскакались в разные стороны, и до нас долетел звук разрыва.

«Вот важно-то! Эк поскакали! Вишь, черти, не лю-

бят!» — послышались одобрения и смешки в рядах артиллерийских и пехотных солдат.

— Коли бы трошки ниже пустить, в самую его бы попало, — заметил Веленчук. — Говорил, в дереву попанет: оно и есть — взяло вправо.

VI

Оставив солдат рассуждать о том, как татары ускакали, когда увидели гранату, и зачем они тут ездили, и много ли их еще в лесу есть, я отошел с ротным командиром за несколько шагов и сел под деревом, ожидая разогревавшихся битков, которые он предложил мне. Ротный командир Болхов был один из офицеров, называемых в полку *бонжурами*. Он имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски. Но, несмотря на это, товарищи любили его. Он был довольно умен и имел достаточно такта, чтобы носить петербургский сюртук, есть хороший обед и говорить по-французски, не слишком оскорбляя общество офицеров. Поговорив о погоде, о военных действиях, об общих знакомых офицерах и убедившись по вопросам и ответам, по взгляду на вещи в удовлетворительности понятий один другого, мы невольно перешли к разговору более короткому. Притом же на Кавказе между встречающимися одного круга людьми хотя не высказанно, но весьма очевидно проявляется вопрос: зачем вы здесь? и на этот-то мой молчаливый вопрос, мне казалось, собеседник мой хотел ответить.

— Когда этот отряд кончится?— сказал он лениво.— Скучно!

— Мне не скучно, — сказал я, — ведь в штабе еще скучнее.

— О, в штабе в десять тысяч раз хуже,— сказал он со злостью. — Нет! когда все это совсем кончится?

— Что же вы хотите, чтоб кончилось? — спросил я.

— Все, совсем!... Что же, готовы битки, Николаев? — спросил он.

— Для чего же вы пошли служить на Кавказ, — сказал я, — коли Кавказ вам так не нравится?

— Знаете, для чего, — отвечал он с решительной откровенностью, — по преданию. В России ведь суще-

ствует престранное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей.

— Да, это почти правда, — сказал я, — бо́льшая часть из нас...

— Но что лучше всего, — перебил он меня, — что все мы, по преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройства дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками, — всё это страшное что-то, а в сущности ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д...

— Да, — сказал я смеясь, — мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь? Как читать стихи на языке, который плохо знаешь: воображаешь себя гораздо лучше, чем есть?..

— Не знаю, право, но ужасно не нравится мне этот Кавказ, — перебил он меня.

— Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе...

— Может быть, и хорош, — продолжал он с какою-то раздражительностью, — знаю только то, что я не хорош на Кавказе.

— Отчего же так? — сказал я, чтоб сказать что-нибудь.

— Оттого, что, во-первых, *он* обманул меня. Все то, от чего я, по преданию, поехал лечиться на Кавказ, все приехало со мною сюда, только с той разницей, что прежде все это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязненькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей, оскорблений; во-вторых, оттого, что я чувствую, как я с каждым днем морально падаю ниже и ниже, и главное — то, что чувствую себя неспособным к здешней службе: я не могу переносить опасности... просто, я не храбр... — Он остановился и посмотрел на меня. — Без шуток.

Хотя это непрошенное признание чрезвычайно удивило меня, я не противоречил, как, видимо, хотелось того моему собеседнику, но ожидал от него самого опровержения своих слов, как это всегда бывает в подобных случаях.

— Знаете, я в нынешний отряд в первый раз в деле, — продолжал он, — и вы не можете себе представить, что со мной вчера было. Когда фельдфебель принес приказание, что моя рота назначена в колонну, я побледнел, как полотно, и не мог говорить от волнения. А как я провел ночь, ежели бы вы знали! Если правда, что седеют от страха, то я бы должен быть совершенно белый нынче, потому что, верно, ни один приговоренный к смерти не прострадал в одну ночь столько, как я; даже и теперь, хотя мне и легче немного, чем ночью, но у меня здесь вот что идет, — прибавил он, вертя кулак перед своей грудью. — И что смешно, — продолжал он, — что здесь ужаснейшая драма разыгрывается, а сам ешь битки с луком и уверяешь, что очень весело. Вино есть, Николаев? — прибавил он, зевая.

— Это *он,* братцы мои! — послышался в это время встревоженный голос одного из солдат, — и все глаза обратились на опушку дальнего леса.

Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понял, что это был против нас выстрел неприятеля, все, что было на моих глазах в эту минуту, все вдруг приняло какой-то новый величественный характер. И козлы ружей, и дым костров, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева, — все это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дула и летит в это мгновение в пространстве, может быть, направлено прямо в мою грудь.

— Вы где брали вино? — лениво спросил я Болхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один — господи, прими дух мой с миром, другой — надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро, — и в то же мгновение над головой просвистело что-то ужасно неприятно, и в двух шагах от нас шлепнулось ядро.

— Вот, если бы я был Наполеон или Фридрих, — сказал в это время Болхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне, — я бы непременно сказал какую-нибудь любезность.

— Да вы и теперь сказали, — отвечал я, с трудом скрывая тревогу, произведенную во мне прошедшей опасностью.

— Да что ж, что сказал: никто не запишет.

— А я запишу.

— Да вы ежели и запишете, так в критику, как говорит Мищенков, — прибавил он улыбаясь.

— Тьфу ты проклятый! — сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону, — трошки по ногам не задела.

Все мое старанье казаться хладнокровным и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания.

VII

Неприятель, действительно, поставил два орудия на том месте, где разъезжали татары, и каждые минут двадцать или тридцать посылал по выстрелу в наших рубщиков. Мой взвод выдвинули вперед на поляну и приказали отвечать ему. В опушке леса показался дымок, слышались выстрел, свист, и ядро падало сзади или впереди нас. Снаряды неприятеля ложились счастливо, и потери не было.

Артиллеристы, как и всегда, вели себя превосходно, проворно заряжали, старательно наводили по показавшемуся дыму и спокойно шутили между собой. Пехотное прикрытие в молчаливом бездействии лежало около нас, дожидая своей очереди. Рубщики леса делали свое дело: топоры звучали по лесу быстрее и чаще; только в то время, как слышался свист снаряда, все вдруг замолкало, средь мертвой тишины раздавались не совсем спокойные голоса: «Сторонись, ребята!» — и все глаза устремлялись на ядро, рикошетировавшее по кострам и срубленным сучьям.

Туман уже совершенно поднялся и, принимая формы облаков, постепенно исчезал в темно-голубой синеве неба; открывшееся солнце ярко светило и бросало веселые отблески на сталь штыков, медь орудий, оттаивающую землю и блестки инея. В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца; тысячи различных теней и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной глянцовитой дороге от-

четливо виднелись следы шин и подковных шипов.

Между войсками движение становилось сильнее и заметнее. Со всех сторон показывались чаще и чаще голубоватые дымки выстрелов. Драгуны, с развевающимися флюгерами пик, выехали вперед; в пехотных ротах послышались песни, и обоз с дровами стал строиться в арьергард. К нашему взводу подъехал генерал и приказал готовиться к отступлению. Неприятель засел в кусты против нашего левого фланга и стал сильно беспокоить нас ружейным огнем. С левой стороны из лесу прожужжала пуля и ударила в лафет, потом другая, третья... Пехотное прикрытие, лежавшее около нас, шумно поднялось, взяло ружья и заняло цепь. Ружейные выстрелы усиливались, и пули стали летать чаще и чаще. Началось отступление и, следовательно, настоящее дело, как это всегда бывает на Кавказе.

По всему видно было, что артиллеристам не нравились пули, как прежде ядра — пехотным. Антонов принахмурился. Чикин передразнивал пули и подшучивал над ними; но видно было, что они ему не нравились. Про одну говорил он: «как торопится», другую называл «пчелкой», третью, которая, как-то медленно и жалобно визжа, пролетела над нами, назвал «сиротой», чем произвел общий хохот.

Рекрутик с непривычки при каждой пуле сгибал на бок голову и вытягивал шею, что тоже заставляло смеяться солдатиков. «Что, знакомая, что ли, что кланяешься?» — говорили ему. И Веленчук, всегда чрезвычайно равнодушный к опасности, теперь был в тревожном состоянии: его, видимо, сердило то, что мы не стреляем картечью по тому направленью, откуда летали пули. Он несколько раз недовольным голосом повторил: «Что ж *он* нас даром-то бьет? Кабы туда орудию поворотить да картечью бы дунуть, так затих бы небось».

Действительно, пора было это сделать: я приказал выпустить последнюю гранату и зарядить картечью.

— Картечь! — крикнул Антонов лихо, в самом дыму подходя с банником к орудию, только что заряд был выпущен.

В это время недалеко сзади себя я услыхал вдруг прекратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце сжалось во мне. «Кажется, кого-то из наших задело», — подумал я, но вместе с тем

боясь оглянуться под влиянием тяжелого предчувствия. Действительно, вслед за этим звуком послышалось тяжелое падение тела и «о-о-о-ой» — раздирающий стон раненого. «Задело, братцы мои!» — проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием. Сума, которую он нес, была отброшена в сторону. Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови; лоб же он разбил о пень во время падения.

Все это я разобрал гораздо после; в первую минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови.

Никто из солдат, заряжавших орудие, не сказал слова, только рекрутик пробормотал что-то в роде: «вишь ты как, в кровь», и Антонов, нахмурившись, крякнул сердито; но по всему заметно было, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с бо́льшей деятельностью принялись за дело. Орудие было заряжено в одно мгновение, и вожатый, принося картечь, шага на два обошел то место, на котором, продолжая стонать, лежал раненый.

VIII

Каждый бывший в деле, верно, испытывал то странное, хотя и не логическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь. Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошел к раненому, несмотря на усилившийся крик его, взял под мышки и поднял его. «Что стали? берись!» — крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек десять, даже ненужных, помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать ужасно и рваться.

— Что кричишь, как заяц! — сказал Антонов грубо, удерживая его за ногу. — А нето бросим.

И раненый затих действительно, только изредка приговаривая: «Ох, смерть моя! о-ох, братцы мои!»

Когда же его положили на повозку, он даже перестал охать, и я слышал, что он что-то говорил с товари-

щами — должно быть, прощался — тихим, но внятным голосом.

В деле никто не любит смотреть на раненого, и я, инстинктивно торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорей везти его на перевязочный пункт и отошел к орудиям; но через несколько минут мне сказали, что Веленчук зовет меня, и я подошел к повозке.

На дне ее, ухватясь обеими руками за края, лежал раненый. Здоровое, широкое лицо его в несколько секунд совершенно изменилось: он как будто похудел и постарел несколькими годами, губы его были тонки, бледны и сжаты с видимым напряжением; торопливое и тупое выражение его взгляда заменил какой-то ясный, спокойный блеск, и на окровавленных лбу и носу уже лежали черты смерти.

Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он просил снять с левой ноги чересок[1] с деньгами.

Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой, белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес.

— Тут три монеты и полтинник, — сказал он мне в то время, как я брал в руки черес, — уж вы их сберегите.

Повозка было тронулась; но он остановил ее.

— Я поручику Сулимовскому шинель работал. О... они мне две монеты дали. На полторы я пуговиц купил, а полтина у меня в мешке с пуговицами лежит. Отдайте.

— Хорошо, хорошо, — сказал я, — выздоравливай, братец!

Он не отвечал мне, повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздирающим душу голосом. Как будто, окончив мирские дела, он не находил больше причин удерживаться и считал теперь позволительным себе это облегчение.

---

[1] Черес — кошелек в виде пояска, который солдаты носят обыкновенно под коленом.

IX

— Ты куда? Вернись! Куда ты идешь? — закричал я рекрутику, который, положив под мышку свой запасный пальник, с какой-то палочкой в руках прехладнокровно отправлялся за повозкой, повезшей раненого.

Но рекрутик только лениво оглянулся на меня, пробормотал что-то и пошел дальше, так что я должен был послать солдат, чтобы привести его. Он снял свою красную шапочку и, глупо улыбаясь, глядел на меня.

— Куда ты шел? — спросил я.

— В лагерь.

— Зачем?

— А как же — Веленчука-то ранили, — сказал он, опять улыбаясь.

— Так тебе-то что? ты должен здесь оставаться.

Он с удивлением посмотрел на меня, потом хладнокровно повернулся, надел шапку и пошел к своему месту.

Дело вообще было счастливо: казаки, слышно было, сделали славную атаку и взяли три татарских тела; пехота запаслась дровами и потеряла всего человек шесть ранеными; в артиллерии выбыли из строя всего один Веленчук и две лошади. Зато вырубили леса версты на три и очистили место так, что его узнать нельзя было: вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась огромная поляна, покрытая дымящимися кострами и двигавшимися к лагерю кавалерией и пехотой. Несмотря на то, что неприятель не переставал преследовать нас артиллерийским и ружейным огнем до самой речки с кладбищем, которую мы переходили утром, отступление сделано было счастливо. Уже я начинал мечтать о щах и бараньем боке с кашей, ожидавших меня в лагере, когда пришло известие, что генерал приказал построить на речке редут и оставить в нем до завтра третий батальон К. полка и взвод четырехбатарейной. Повозки с дровами и ранеными, казаки, артиллерия, пехота с ружьями и дровами на плечах, — все с шумом и песнями прошли мимо нас. На всех лицах видны были одушевление и удовольствие, внушенные минувшей опасностью и надеждой на отдых. Только мы с третьим батальоном должны были ожидать этих приятных чувств еще до завтра.

X

Покуда мы, артиллеристы, хлопотали около орудий: расставляли передки, ящики, разбивали коновязь, пехота уже составила ружья, разложила костры, построила из сучьев и кукурузной соломы балаганчики и варила кашицу.

Начинало смеркаться. По небу ползли сине-беловатые тучи. Туман, превратившийся в мелкую, сырую мглу, мочил землю и солдатские шинели; горизонт суживался, и вся окрестность принимала мрачные тени. Сырость, которую я чувствовал сквозь сапоги, за шеей, неумолкаемое движение и говор, в которых я не принимал участия, липкая грязь, по которой раскатывались мои ноги, и пустой желудок наводили на меня самое тяжелое, неприятное расположение духа после дня физической и моральной усталости. Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению.

Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту.

— Ваше здоровье, — сказал мне подошедший Николаев, — пожалуйте к капитану, просят чай кушать.

Кое-как пробираясь между козлами и кострами, я вслед за Николаевым пошел к Болхову, с удовольствием мечтая о стакане горячего чаю и веселой беседе, которая бы разогнала мои мрачные мысли. «Что, нашел?» послышался голос Болхова из кукурузного шалаша, в котором светился огонек.

— Привел, ваше благородие! — басом отвечал Николаев.

В балагане на сухой бурке сидел Болхов, расстегнувшись и без папахи. Подле него кипел самовар, стоял барабан с закуской. В землю был воткнут штык со свечкой. «Каково?» — с гордостью сказал он, оглядывая свое уютное хозяйство. Действительно, в балагане было так хорошо, что за чаем я совсем забыл про сырость, темноту и рану Веленчука. Мы разговорились про Москву, про предметы, не имеющие никакого отношения с войной и Кавказом.

После одной из тех минут молчания, которые прерывают иногда самые оживленные разговоры, Болхов с улыбкой посмотрел на меня.

— А я думаю, вам очень странным показался наш разговор утром? — сказал он.

— Нет. Отчего же? Мне только показалось, что вы слишком откровенны, а есть вещи, которые мы все знаем, но которых никогда говорить не надо.

— Отчего? Нет! Ежели бы была какая-нибудь возможность променять эту жизнь хоть на жизнь самую пошлую и бедную, только без опасностей и службы, я бы ни минуты не задумался.

— Отчего же вы не перейдете в Россию? — сказал я.

— Отчего? — повторил он. — О! я давно уже об этом думал. Я не могу теперь вернуться в Россию до тех пор, пока не получу Анны и Владимира, Анны на шею и майора, как и предполагал, ехавши сюда.

— Отчего же, ежели вы чувствуете себя неспособным, как вы говорите, к здешней службе?

— Но когда я еще более чувствую себя неспособным к тому, чтобы вернуться в Россию тем, чем я поехал. Это тоже одно из преданий, существующих в России, которое утвердили Пассек, Слепцов и др., что на Кавказ стоит приехать, чтобы осыпаться наградами. И от нас все ожидают и требуют этого; а я вот два года здесь, в двух экспедициях был и ничего не получил. Но все-таки у меня столько самолюбия, что я не уеду отсюда ни за что до тех пор, пока не буду майором с Владимиром и Анной на шее. Я уж втянулся до того, что меня всего коробит, когда Гнилокишкину дадут награду, а мне нет. И потом, как я покажусь на глаза в России своему старосте, купцу Котельникову, которому я хлеб продаю, тетушке московской и всем этим господам после двух лет на Кавказе без всякой награды? Правда, что я этих господ знать не хочу, и, верно, они тоже очень мало обо мне заботятся; но уж так устроен человек, что я их знать не хочу, а из-за них гублю лучшие года, все счастие жизни, всю будущность свою погублю.

XI

В это время послышался снаружи голос батальонного командира: «С кем это вы, Николай Федорыч?»

Болхов назвал меня, и вслед затем в балаган влезли три офицера: майор Кирсанов, адъютант его батальона и ротный командир Тросенко.

Кирсанов был невысокий, полный мужчина, с черными усиками, румяными щеками и масляными глазками. Глазки эти были самой замечательной чертой в его физиономии. Когда он смеялся, то от них оставались только две влажные звездочки, и звездочки эти вместе с натянутыми губами и вытянутой шеей принимали иногда престранное выражение бессмысленности. Кирсанов в полку вел и держал себя лучше всякого другого: подчиненные не бранили, а начальники уважали его, хотя общее мнение о нем было, что он очень недалек. Он знал службу, был исправен и усерден, всегда был при деньгах, имел коляску и повара и весьма натурально умел притворяться гордым.

— О чем это толкуете, Николай Федорыч? — сказал он входя.

— Да вот о приятностях здешней службы.

Но в это время Кирсанов заметил меня, юнкера, и потому, чтобы дать почувствовать мне свое значение, как будто не слушая ответа Болхова и глядя на барабан, спросил:

— Что, устали, Николай Федорыч?

— Нет, ведь мы... — начал было Болхов.

Но опять, должно быть, достоинство батальонного командира требовало перебить и сделать новый вопрос:

— А ведь славное дело было нынче?

Батальонный адъютант был молодой прапорщик, недавно произведенный из юнкеров, скромный и тихий мальчик, со стыдливым и добродушно-приятным лицом. Я видал его прежде у Болхова. Молодой человек часто приходил к нему, раскланивался, садился в уголок и по нескольку часов молчал, делал папиросы, курил их, потом вставал, раскланивался и уходил. Это был тип бедного русского дворянского сына, выбравшего военную карьеру, как одну возможную при своем образовании, и ставящего выше всего в мире свое офицерское звание, — тип простодушный и милый, несмотря на смешные неотъемлемые принадлежности: кисет, халат, гитару и щеточку для усов, с которыми мы привыкли воображать его. В полку рассказывали про него, будто он хвастался тем, что он с своим денщиком справедлив, но строг, будто он говорил: «Я редко наказываю; но уж когда меня доведут до этого, то беда», — и что, когда пьяный денщик обокрал его совсем и стал даже ругать своего барина, будто он привел его на гауптвахту, велел

приготовить всё для наказания, но при виде приготовлений до того смутился, что мог только говорить: «Ну, вот видишь... ведь я могу...», — и, совершенно растерявшись, убежал домой и с той поры боялся смотреть в глаза своему Чернову. Товарищи не давали ему покоя, дразнили его этим, и я несколько раз слышал, как простодушный мальчик отговаривался и, краснея до ушей, уверял, что это неправда, а совсем напротив.

Третье лицо, капитан Тросенко, был старый кавказец в полном значении этого слова, т. е. человек, для которого рота, которою он командовал, сделалась семейством, крепость, где был штаб, — родиной, а песенники — единственными удовольствиями жизни, — человек, для которого все, что не было Кавказ, было достойно презрения, да и почти недостойно вероятия; все же, что было Кавказ, разделялось на две половины: нашу и не нашу; первую он любил, вторую ненавидел всеми силами своей души, и главное — он был человек закаленной, спокойной храбрости, редкой доброты в отношении к своим товарищам и подчиненным и отчаянной прямоты и даже дерзости в отношении к ненавистным для него почему-то адъютантам и бонжурам. Входя в балаган, он чуть не пробил головой крыши, потом вдруг опустился и сел на землю.

— Ну, что? — сказал он и, вдруг заметив мое незнакомое для него лицо, остановился, вперил в меня мутный, пристальный взгляд.

— Так о чем это вы беседовали? — спросил майор, вынимая часы и глядя на них, хотя, я твердо уверен, ему совсем не нужно было делать этого.

— Да вот спрашивал меня, зачем я служу здесь.

— Разумеется, Николай Федорыч хочет здесь отличиться и потом во-свояси.

— Ну, а вы скажите, Абрам Ильич, зачем вы служите на Кавказе?

— Я потому, знаете, что, во-первых, мы все обязаны по своему долгу служить. Что? — прибавил он, хотя все молчали. — Вчера я получил письмо из России, Николай Федорыч, — продолжал он, видимо желая переменить разговор, — мне пишут, что... такие вопросы странные делают.

— Какие же вопросы? — спросил Болхов.

Он засмеялся.

— Право, странные вопросы... Мне пишут, что мо-

жет ли быть резвость без любви... Что? — спросил он, оглядываясь на всех нас.

— Вот как! — сказал, улыбаясь, Болхов.

— Да, знаете, в России хорошо, — продолжал он, как будто фразы его весьма натурально вытекали одна из другой. — Когда я в 52 году был в Тамбове, то меня принимали везде как флигель-адъютанта какого-нибудь. Поверите ли, на балу у губернатора, как я вошел, так знаете... очень хорошо принимали. Сама губернаторша, знаете, со мной разговаривала и спрашивала про Кавказ, и все так... что я не знал... Мою золотую шашку смотрят, как редкость какую-нибудь, спрашивают: за что шашку получил, за что — Анну, за что — Владимира, и я им так рассказывал... Что? Вот этим-то Кавказ хорош, Николай Федорыч! — продолжал он, не дожидаясь ответа. — Там смотрят на нашего брата, кавказца, очень хорошо. Молодой человек, знаете, штаб-офицер с Анной и Владимиром — это много значит в России... Что?

— Вы и прихвастнули-таки, я думаю, Абрам Ильич? — сказал Болхов.

— Хи-хи! — засмеялся он своим глупым смехом. — Знаете, это нужно. Да и поел я славно эти два месяца!

— А что, хорошо там, в России-то? — сказал Тросенко, спрашивая про Россию, как про какой-то Китай или Японию.

— Да-с, уж что мы там шампанского выпили в два месяца, так это страх!

— Да что вы! Вы, верно, лимонад пили. Вот я так уж бы треснул там, что знали бы, как кавказцы пьют. Не даром бы слава прошла. Я бы показал, как пьют... А, Болхов? — прибавил он.

— Да ведь ты, дядя, уж за десять лет на Кавказе, — сказал Болхов, — а помнишь, что Ермолов сказал; а Абрам Ильич только шесть...

— Какой десять! скоро шестнадцать.

— Вели же, Болхов, *шолфею* дать. Сыро, бррр!.. А? — прибавил он улыбаясь, — выпьем, майор!

Но майор был недоволен и первым обращением к нему старого капитана, теперь же видимо съежился и искал убежища в собственном величии. Он запел что-то и снова посмотрел на часы.

— Вот я так уж никогда туда не поеду, — продолжал Тросенко, не обращая внимания на насупившегося

майора, — я и ходить и говорить-то по русскому отвык. Скажут: что за чудо такая приехало? Сказано, Азия! Так, Николай Федорыч? Да и что мне в России! Все равно, тут когда-нибудь подстрелят. Спросят: где Тросенко? Подстрелили. Что вы тогда с восьмой ротой сделаете... а? — прибавил он, обращаясь постоянно к майору.

— Послать дежурного по батальону! — крикнул Кирсанов, не отвечая капитану, хотя, я опять уверен был, ему не нужно было отдавать никаких приказаний.

— А вы, я думаю, теперь рады, молодой человек, что на двойном окладе? — сказал майор после нескольких минут молчания батальонному адъютанту.

— Как же-с, очень-с.

— Я пахожу, что наше жалованье теперь очень большое, Николай Федорыч, — продолжал он, — молодому человеку можно жить весьма прилично и даже позволить себе роскошь маленькую.

— Нет, право, Абрам Ильич, — робко сказал адъютант, — хоть оно и двойное, а только что так... ведь лошадь надо иметь...

— Что вы мне говорите, молодой человек! Я сам прапорщиком был и знаю. Поверьте, с порядком жить очень можно. Да вот вам, сочтите — прибавил он, загибая мизинец левой руки.

— Всё вперед жалованье забираем — вот вам и счет, — сказал Тросенко, выпивая рюмку водки.

— Ну, да ведь на это что же вы хотите... Что?

В это время в отверстие балагана всунулась белая голова со сплюснутым носом, и резкий голос с немецким выговором сказал:

— Вы здесь, Абрам Ильич? а дежурный ищет вас.

— Заходите, Крафт! — сказал Болхов.

Длинная фигура в сюртуке генерального штаба пролезла в двери и с особенным азартом принялась пожимать всем руки.

— А, милый капитан! и вы тут? — сказал он, обращаясь к Тросенке.

Новый гость, несмотря на темноту, пролез до него и, к чрезвычайному, как мне показалось, удивлению и неудовольствию капитана, поцеловал его в губы.

«Это немец, который хочет быть хорошим товарищем», — подумал я.

XII

Предположение мое тотчас же подтвердилось. Капитан Крафт попросил водки, назвав ее *горилкой,* и ужасно крякнул и закинул голову, выпивая рюмку.

— Что, господа, поколесовали мы нынче по равнинам Чечни... — начал было он, но, увидав дежурного офицера, тотчас замолчал, предоставив майору отдавать свои приказания.

— Что, вы обошли цепь?

— Обошел-с.

— А секреты высланы?

— Высланы-с.

— Так вы передайте приказания ротным командирам, чтобы были как можно осторожнее.

— Слушаю-с.

Майор прищурил глаза и глубокомысленно задумался.

— Да скажите, что люди могут теперь варить кашу.

— Они уж варят.

— Хорошо. Можете итти-с.

— Ну-с, так вот мы считали, что нужно офицеру, — продолжал майор, со снисходительной улыбкой обращаясь к нам. — Давайте считать.

— Нужно вам один мундир и брюки... так-с?

— Так-с.

— Это, положим, пятьдесят рублей на два года, стало быть, в год двадцать пять рублей на одежду; потом на еду, каждый день по два абаза... так-с?

— Так-с; это даже много.

— Ну, да я кладу. Ну, на лошадь с седлом для ремонта тридцать рублей — вот и все. Выходит всего двадцать пять да сто двадцать да тридцать = сто семьдесят пять. Все вам остается еще на роскошь, на чай и на сахар, на табак — рублей двадцать. Изволите видеть?.. Правда, Николай Федорыч?

— Нет-с, позвольте, Абрам Ильич! — робко сказал адъютант, — ничего-с на чай и сахар не останется. Вы кладете одну пару на два года, а тут по походам панталон не наготовишься; а сапоги? я ведь почти каждый месяц пару истреплю-с. Потом-с белье-с, рубашки, полотенца, подвертки: все ведь это нужно купить-с. А как сочтешь, ничего не останется-с. Это, ей-богу-с, Абрам Ильич!

— Да, подвертки прекрасно носить, — сказал вдруг Крафт после минутного молчания, с особенной любовью произнося слово подвертки, — знаете, просто, по-русски.

— Я вам скажу, — заметил Тросенко, — как ни считай, всё выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что все живем, и чай пьем, и табак курим, и водку пьем. Послужишь с мое, — продолжал он, обращаясь к прапорщику, — тоже выучишься жить. Ведь знаете, господа, как он с денщиками обращается?

И Тросенко, помирая со смеху, рассказал нам всю историю прапорщика с своим денщиком, хотя мы все ее тысячу раз слышали.

— Да ты что́, брат, таким розаном смотришь? — продолжал он, обращаясь к прапорщику, который краснел, потел и улыбался, так что жалко было смотреть на него. — Ничего, брат, и я такой же был, как ты, а теперь, видишь, молодец стал. Пусти-ка сюда какого молодчика из России — видали мы их, — так у него тут и спазмы, и ревматизмы какие-то сделались бы; а я вот, сел тут — мне здесь и дом, и постель, и все. Видишь...

При этом он выпил еще рюмку водки.

— А? — прибавил он, пристально глядя в глаза Крафту.

— Вот это я уважаю! вот это истинно старый кавказец! Позвольте вашу руку.

И Крафт растолкал всех нас, продрался к Тросенке и, схватив его руку, потряс ее с особенным чувством.

— Да, мы можем сказать, что испытали здесь всего, — продолжал он, — в сорок пятом году... ведь вы изволили быть там, капитан? Помните ночь с двенадцатое на тринадцатое, когда по коленки в грязи ночевали, а на другой день пошли на завалы? Я тогда был при главнокомандующем, и мы пятнадцать завалов взяли в один день. Помните, капитан?

Тросенко сделал головой знак согласия и, выдвинув вперед нижнюю губу, зажмурился.

— Изволите видеть... — начал Крафт чрезвычайно одушевленно, делая руками неуместные жесты и обращаясь к майору.

Но майор, должно быть, неоднократно слышавший уже этот рассказ, вдруг сделал такие мутные, тупые глаза, глядя на своего собеседника, что Крафт отвернулся от него и обратился ко мне и Болхову, поперемен-

но глядя то на того, то на другого. На Тросенку же он ни разу не взглянул во время всего своего рассказа.

— Вот изволите видеть, как вышли мы утром, главнокомандующий и говорит мне: «Крафт! возьми эти завалы». Знаете, наша военная служба, без рассуждений — руку к козырьку. «Слушаю, ваше сиятельство!» — и пошел. Только, как мы подошли к первому завалу, я обернулся и говорю солдатам: «Ребята! не робеть! В оба смотреть! Кто отстанет, своей рукой изрублю». С русским солдатом, знаете, надо просто. Только вдруг граната... я смотрю, один солдат, другой солдат, третий солдат, потом пули... вжинь! вжинь! вжинь!.. Я говорю: «Вперед, ребята, за мной!» Только мы подошли, знаете, смотрим, я вижу тут, как это... знаете... как это называется? — и рассказчик замахал руками, отыскивая слово.

— Обрыв, — подсказал Болхов.

— Нет... Ах, как это? Боже мой! ну, как это?.. обрыв, — сказал он скоро. — Только ружья наперевес... ура! та-ра-та-та-та! Неприятеля ни души. Знаете, все удивились. Только хорошо: идем мы дальше — второй завал. Это совсем другое дело. У нас уж ретивое закипело, знаете. Только подошли мы, смотрим, я вижу, второй завал — нельзя итти. Тут... как это, ну, как называется этакая... Ах! как это...

— Опять обрыв, — подсказал я.

— Совсем нет, — продолжал он с сердцем, — не обрыв, а... ну, вот, как это называется, — и он сделал рукой какой-то нелепый жест. — Ах, боже мой! как это...

Он, видимо, так мучился, что невольно хотелось подсказать ему.

— Река, может, — сказал Болхов.

— Нет, просто обрыв. Только мы туда, тут, поверите ли, такой огонь — ад...

В это время за балаганом кто-то спросил меня. Это был Максимов. А так как за прослушанием разнообразной истории двух завалов мне оставалось еще тринадцать, я рад был придраться к этому случаю, чтобы пойти к своему взводу. Тросенко вышел вместе со мной. «Все врет, — сказал он мне, когда мы на несколько шагов отошли от балагана: — его и не было вовсе на завалах», и Тросенко так добродушно расхохотался, что и мне смешно стало.

XIII

Уже была темная ночь, и только костры тускло освещали лагерь, когда я, окончив уборку, подошел к своим солдатам. Большой пень, тлея, лежал на углях. Вокруг него сидели только трое: Антонов, поворачивавший в огне котелок, в котором варился *рябко*[1], Жданов, хворостинкой задумчиво разгребавший золу, и Чикин с своей вечно нераскуренной трубочкой. Остальные уже расположились на отдых — кто под ящиками, кто в сене, кто около костров. При слабом свете углей я различал знакомые мне спины, ноги, головы; в числе последних был и рекрутик, который, придвинувшись к самому огню, казалось, спал уже. Антонов дал мне место, я сел подле него и закурил папироску. Запах тумана и дыма от сырых дров, распространяясь по всему воздуху, ел глаза, и та же сырая мгла сыпалась с мрачного неба.

Подле нас слышались мерное храпенье, треск сучьев в огне, легкий говор и изредка бряцанье ружей пехоты. Везде кругом пылали костры, освещая в небольшом круге вокруг себя черные тени солдат. Около ближайших костров я различал на освещенных местах фигуры голых солдат, над самым пламенем махающих своими рубахами. Еще много людей не спало, двигалось и говорило на пространстве пятнадцати квадратных сажен; но мрачная, глухая ночь давала свой особенный таинственный тон всему этому движению, как будто каждый чувствовал эту мрачную тишину и боялся нарушить ее спокойную гармонию. Когда я заговорил, я почувствовал, что мой голос звучит иначе. На лицах всех солдат, сидевших около огня, я читал то же настроение. Я думал, что до моего прихода они говорили о раненом товарище; но ничуть не бывало: Чикин рассказывал про приемку вещей в Тифлисе и про тамошних школьников.

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни

[1] Солдатское кушанье — моченые сухари с салом.

и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненного в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом полушубке; ездового, вылезающего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего подпругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебиля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы, и фейерверкер двум солдатам велел взять бомбу и бежать бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были разорваны на части. Помню я еще, в отряде 1852 года, один из молодых солдат к чему-то сказал во время дела, что уж, кажется, взводу не выйти отсюда, и как весь взвод со злобой напустился на него за такие дурные слова, которые они и повторять не хотели. Вот теперь, когда у каждого в душе должна была быть мысль о Веленчуке, и когда всякую секунду мог быть по нас залп подкравшихся татар, все слушали бойкий рассказ Чикина, и никто не упоминал ни о нынешнем деле, ни о предстоящей опасности, ни о раненом, как будто это было бог знает как давно или вовсе никогда не было. Но мне показалось только, что лица их были несколько пасмурнее обыкновенного, они не слишком внимательно слушали рассказ Чикина, и даже Чикин чувствовал, что его не слушают, но говорил уж так себе.

К костру подошел Максимов и сел подле меня. Чикин дал ему место, замолчал и снова начал сосать свою трубочку.

— Пехотные в лагерь за водкой посылали, — сказал Максимов после довольно долгого молчания: — сейчас воротились. — Он плюнул в огонь. — Унтер-офицер сказывал, нашего видали.

— Что, жив еще? — спросил Антонов, поворачивая котелок.

— Нет, помер.

Рекрутик вдруг поднял над огнем свою маленькую

голову в красной шапочке, с минуту пристально посмотрел на Максимова и на меня, потом быстро опустил ее и закутался шинелью.

— Вишь, смерть-то недаром к нему поутру приходила, как я будил его в парке, — сказал Антонов.

— Пустое! — сказал Жданов, поворачивая тлеющий пень, — и все замолчали.

Среди общей тишины сзади нас послышался выстрел в лагере. Барабанщики у нас приняли его и заиграли зорю. Когда затихла последняя дробь, Жданов первый встал и снял шапку. Мы все последовали его примеру.

Среди глубокой тишины ночи раздался стройный хор мужественных голосов:

«Отче наш, иже еси на небесех! да святится имя твое; да приидет царствие твое; да будет воля твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

— Так-то у нас в сорок пятом году солдатик один в это место контужен был, — сказал Антонов, когда мы надели шапки и сели опять около огня, — так мы его два дня на орудии возили... помнишь Шевченку, Жданов?.. да так и оставили там под деревом.

В это время пехотный солдат, с огромными бакенбардами и усами, с ружьем и сумкой, подошел к нашему костру.

— Позвольте, землячки, огоньку, закурить трубочку, — сказал он.

— Что ж, закуривайте: огню достаточно, — заметил Чикин.

— Это, верно, про Дарги, земляк, сказываете? — обратился пехотный к Антонову.

— Про сорок пятый год, про Дарги, — ответил Антонов.

Пехотный покачал головой, зажмурился и присел около нас на корточки.

— Да уж было там всего, — заметил он.

— Отчего ж бросили? — спросил я Антонова.

— От живота крепко мучался. Как стоим, бывало, ничего, а как тронемся, то криком кричит. Богом просил, чтоб оставили, да все жалко было. Ну, а как *он* стал нас уж крепко донимать, трех людей у нас убил в орудии, офицера убил, да и от батареи своей отбились

мы как-то. — Беда! совсем, не думали орудия увезти. Грязь же была.

— Пуще всего, что под Индейской горой грязно было, — заметил какой-то солдат.

— Да, вот там-то ему пуще хуже стало; подумали мы с Аношенкой, — старый фирверкин был, — что ж в самом деле, живому ему не быть, а богом просит — оставим, мол, его здесь. Так и порешили. Древо росла там ветлеватая такая. Взяли мы сухариков моченых ему положили, — у Жданова были, — прислонили его к древу к этому, надели на него рубаху чистую, простились как следует, да так и оставили.

— И важный солдат был?

— Ничего солдат был, — заметил Жданов.

— И что с ним сталось, бог его знает, — продолжал Антонов. — Много там всякого нашего брата осталось.

— В Даргах-то? — сказал пехотный, вставая и расковыривая трубку и снова зажмурившись и покачивая головой, — уж было там всего.

И он отошел от нас.

— А что, много еще у нас в батарее солдат, которые в Дарго были? — спросил я.

— Да что? вот Жданов, я, Пацан, что в отпуску теперь, да еще человек шесть есть. Больше не будет.

— А что, Пацан-то наш загулял в отпуску? — сказал Чикин, спуская ноги и укладываясь головой на бревно. — Почитай, год скоро, что его нет.

— А что, ты ходил в годовой? — спросил я у Жданова.

— Нет, не ходил, — отвечал он неохотно.

— Ведь хорошо итти, — сказал Антонов, — от богатого дома, али когда сам в силах работать, так и итти лестно, и тебе дома рады будут.

— А то что итти, когда от двух братьев! — продолжал Жданов, — самим только бы прокормиться, а не нашего брата солдата кормить. Подмога плохая, как уж двадцать пять лет прослужил. Да и живы ли, кто е знает.

— А разве ты не писал? — спросил я.

— Как не писать! Два письма послал, да все в ответ не присылают. Али померли, али так не посылают, что, значит, сами в бедности живут: так где тут!

— А давно ты писал?

— Пришедши с Даргов, писал последнее письмо.

— Да ты «березушку» спел бы, — сказал Жданов Антонову, который в это время, облокотясь на колени, мурлыкал какую-то песню.

Антонов запел «березушку».

— Эта что ни на есть самая любимая песня дяденьки Жданова, — сказал мне шепотом Чикин, дернув меня за шинель, — другой раз, как заиграет ее Филипп Антоныч, так он ажно плачет.

Жданов сидел сначала совершенно неподвижно, с глазами, устремленными на тлевшие уголья, и лицо его, освещенное красноватым светом, казалось чрезвычайно мрачным; потом скулы его под ушами стали двигаться все быстрее и быстрее, и наконец он встал и, разостлав шинель, лег в тени сзади костра. Или он ворочался и кряхтел, укладываясь спать, или же смерть Веленчука и эта печальная погода так настроили меня, но мне действительно показалось, что он плачет.

Низ пня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая, освещал фигуру Антонова, с его седыми усами, красной рожей и орденами на накинутой шинели, чьи-нибудь сапоги, голову или спину. Сверху сыпалась та же печальная мгла, в воздухе слышался тот же запах сырости и дыма, вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров, и слышны были среди общей тишины звуки заунывной песни Антонова; а когда она замолкала на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря — храпения, бряцания ружей часовых и тихого говора вторили ей.

— Вторая смена! Макатюк и Жданов! — крикнул Максимов.

Антонов перестал петь, Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрел к орудиям.

15 июня 1855 г.



ИЗ КАВКАЗСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Разжалованный



ы стояли в отряде. — Дела уже кончались, дорубали просеку и с каждым днем ожидали из штаба приказа об отступлении в крепость. Наш дивизион батарейных орудий стоял на скате крутого горного хребта, оканчивающегося быстрой горной речкой Мечиком, и должен был обстреливать расстилавшуюся впереди равнину. На живописной равнине этой, вне выстрела, изредка, особенно перед вечером, там и сям показывались невраждебные группы конных горцев, выезжавших из любопытства посмотреть на русский лагерь. Вечер был ясный, тихий и свежий, как обыкновенно декабрьские вечера на Кавказе, солнце спускалось за крутым отрогом гор налево и бросало розовые лучи на палатки, рассыпанные по горе, на движущиеся группы солдат и на наши два орудия, тяжело, как будто вытянув шеи, неподвижно стоявшие в двух шагах от нас на земляной батарее. Пехотный пикет, расположенный на бугре налево, отчетливо обозначался на прозрачном свете заката, с своими козлами ружей, фигурой часового, группой солдат и дымом разложенного костра. Направо и налево, по полугоре, на черной притоптанной земле белели палатки, а за палатками чернели голые стволы чинарного леса, в котором беспрестанно стучали топорами, трещали костры и с грохотом падали подрубленные деревья. Голубоватый дым трубой подымался со всех сторон в светло-синее морозное небо. Мимо палаток и низами около ручья тянулись с топотом и фырканьем казаки, драгуны и артиллеристы, возвращавшиеся с водопоя. Начинало подмораживать, все зву-

ки были слышны особенно явственно, — и далеко вперед по равнине было видно в чистом, редком воздухе. Неприятельские кучки, уже не возбуждая любопытства солдат, тихо разъезжали по светло-желтому жнивью кукурузных полей, кой-где из-за деревьев виднелись высокие столбы кладбищ и дымящиеся аулы.

Наша палатка стояла недалеко от орудий, на сухом и высоком месте, с которого вид был особенно обширен. Подле палатки, около самой батареи, на расчищенной площадке была устроена нами игра в городки или чушки. Услужливые солдатики тут же приделали для нас плетеные лавочки и столик. По причине всех этих удобств артиллерийские офицеры, наши товарищи, и несколько пехотных любили по вечерам собираться в нашей батарее и называли это место клубом.

Вечер был славный, лучшие игроки собрались, и мы играли в городки. Я, прапорщик Д. и поручик О. проиграли сряду две партии и к общему удовольствию и смеху зрителей, — офицеров, солдат и денщиков, глядевших на нас из своих палаток, — провезли два раза на своих спинах выигравшую партию от одного кона до другого. Особенно забавно было положение огромного, толстого штабс-капитана Ш., который, задыхаясь и добродушно улыбаясь, с волочащимися по земле ногами проехал на маленьком и тщедушном поручике О. Но становилось уже поздно, денщики вынесли нам, на всех шесть человек, три стакана чая без блюдечек, и мы, окончив игру, подошли к плетеным лавочкам. Около них стоял незнакомый нам небольшой человечек с кривыми ногами, в нагольном тулупе и в папахе с длинною висящей белой шерстью. Как только мы подошли близко к нему, он нерешительно несколько раз снял и надел шапку и несколько раз как будто собирался подойти к нам и снова останавливался. Но решив, должно быть, что уже больше нельзя оставаться незамеченным, незнакомый человек этот снял шапку и, обходя нас кругом, подошел к штабс-капитану Ш.

— А, Гуськантини! Ну что, батенька? — сказал ему Ш., добродушно улыбаясь еще под влиянием своей поездки.

Гуськантини, как его назвал Ш., тотчас же надел шапку и сделал вид, что он засовывает руки в карманы полушубка, но с той стороны, с которой он стоял ко

мне, кармана на полушубке не было, и маленькая красная рука его осталась в неловком положении. Мне хотелось решить, кто такой был этот человек (юнкер или разжалованный?), и я, не замечая того, что мой взгляд (т. е. взгляд незнакомого офицера) смущал его, вглядывался пристально в его одежду и наружность. Ему казалось лет тридцать. Маленькие, серые, круглые глаза его как-то заспанно и вместе с тем беспокойно выглядывали из-за грязного, белого курпея папахи, висевшего ему на лицо. Толстый, неправильный нос среди ввалившихся щек изобличал болезненную, неестественную худобу. Губы, весьма мало закрытые редкими, мягкими, белесоватыми усами, беспрестанно находились в беспокойном состоянии, как будто пытались принять то то, то другое выражение. Но все эти выражения были как-то недоконченны; на лице его оставалось постоянно одно преобладающее выражение испуга и торопливости. Худую, жилистую шею его обвязывал шерстяной зеленый шарф, скрывающийся под полушубком. Полушубок был затертый, короткий, с нашитой собакой на воротнике и на фальшивых карманах. Панталоны были клетчатые, пепельного цвета, и сапоги с короткими нечернеными солдатскими голенищами.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — сказал я ему, когда он снова, робко взглянув на меня, снял было шапку.

Он поклонился мне с благодарным выражением, надел шапку и, достав из кармана грязный ситцевый кисет на шнурочках, стал делать папироску.

Я сам недавно был юнкером, старым юнкером, неспособным уже быть добродушно-услужливым младшим товарищем, и юнкером без состояния, поэтому, хорошо зная всю моральную тяжесть этого положения для немолодого и самолюбивого человека, я сочувствовал всем людям, находящимся в таком положении, и старался объяснить себе их характер и степень и направление умственных способностей, для того чтобы по этому судить о степени их моральных страданий. Этот юнкер или разжалованный, по своему беспокойному взгляду и тому умышленному беспрестанному изменению выражения лица, которое я заметил в нем, казался мне человеком очень неглупым и крайне самолюбивым и поэтому очень жалким.

Штабс-капитан Ш. предложил нам сыграть еще

партию в городки, с тем чтобы проигравшая партия, кроме перевозу, заплатила за несколько бутылок красного вина, рому, сахару, корицы и гвоздики для глинтвейна, который в эту зиму, по случаю холода, был в большой моде в нашем отряде. Гуськантини, как его опять назвал Ш., тоже пригласили в партию, но, перед тем как начинать игру, он, видимо борясь между удовольствием, которое ему доставило это приглашение, и каким-то страхом, отвел в сторону штабс-капитана Ш. и стал что-то нашептывать ему. Добродушный штабс-капитан ударил его своей пухлой, большой ладонью по животу и громко отвечал: «Ничего, батенька, я вам поверю».

Когда игра кончилась, и та партия, в которой был незнакомый нижний чин, выиграла, и ему пришлось ехать верхом на одном из наших офицеров, прапорщике Д., — прапорщик покраснел, отошел к диванчикам и предложил нижнему чину папирос в виде выкупа. Пока заказали глинтвейн и в денщицкой палатке слышалось хлопотливое хозяйничанье Никиты, посылавшего вестового за корицей и гвоздикой, и спина его натягивала то там, то сям грязные полы палатки, мы все семь человек уселись около лавочек и, попеременно попивая чай из трех стаканов и посматривая вперед на начинавшую одеваться сумерками равнину, разговаривали и смеялись о разных обстоятельствах игры. Незнакомый человек в полушубке не принимал участия в разговоре, упорно отказывался от чая, который я несколько раз предлагал ему, и, сидя на земле по-татарски, одну за другою делал из мелкого табаку папироски и выкуривал их, как видно было, не столько для своего удовольствия, сколько для того, чтобы дать себе вид чем-нибудь занятого человека. Когда заговорили о том, что на завтра ожидают отступления и, может быть, дела, он приподнялся на колени и, обращаясь к одному штабс-капитану Ш., сказал, что он был теперь дома у адъютанта и сам писал приказ о выступлении на завтра. Мы все молчали в то время, как он говорил, и, несмотря на то, что он видимо робел, заставили его повторить это крайне для нас интересное известие. Он повторил сказанное, прибавив, однако, что он *был и сидел* у адъютанта, с которым *он живет вместе,* в то время как принесли приказание.

— Смотрите, коли вы не лжете, батенька, так мне

надо в своей роте идти приказать кой-что к завтраму, — сказал штабс-капитан Ш.

— Нет... отчего же?.. как же можно, я наверно... — заговорил нижний чин, но вдруг замолчал и, видимо решившись обидеться, ненатурально нахмурил брови и, шепча что-то себе под нос, снова начал делать папироску. Но высыпанного мельчайшего табаку уже было недостаточно в его ситцевом кисете, и он попросил Ш. *одолжить* ему *папиросочку.* Мы довольно долго продолжали между собою ту однообразную военную болтовню, которую знает каждый, кто бывал в походах, жаловались все одними и теми же выражениями на скуку и продолжительность похода, одним и тем же манером рассуждали о начальстве, все так же, как много раз прежде, хвалили одного товарища, жалели другого, удивлялись, как много выиграл тот, как много проиграл этот, и т. д., и т. д.

— Вот, батенька, адъютант-то наш прорвался так прорвался, — сказал штабс-капитан Ш., — в штабе вечно в выигрыше был, с кем ни сядет, бывало, загребет, а теперь уж второй месяц все проигрывает. Не задался ему нынешний отряд. Я думаю, монетов 1000 спустил, да и вещей монетов на 500: ковер, что у Мухина выиграл, пистолеты Никитинские, часы золотые, от Сады, что ему Воронцов подарил, все ухнуло.

— Поделом ему, — сказал поручик О., — а то уж он очень всех обдувал: — с ним играть нельзя было.

— Всех обдувал, а теперь весь в трубу вылетел, — и штабс-капитан Ш. добродушно рассмеялся. — Вот Гуськов у него живет — он и его чуть не проиграл, право. Так, батенька? — обратился он к Гуськову.

Гуськов засмеялся. У него был жалкий болезненный смех, совершенно изменявший выражение его лица. При этом изменении мне показалось, что я прежде знал и видал этого человека, притом и настоящая фамилия его, Гуськов, была мне знакома, но как и когда я его знал и видел, — я решительно не мог припомнить.

— Да, — сказал Гуськов, беспрестанно поднимая руки к усам и, не дотронувшись до них, опуская их снова. — Павлу Дмитриевичу очень в этот отряд не повезло, такая veine de malheur[1], — добавил он старательным,

[1] полоса неудачи (*фр.*).

но чистым французским выговором, причем мне снова показалось, что я уже видал, и даже часто видал, его где-то. — Я хорошо знаю Павла Дмитриевича, он мне все доверяет, — продолжал он, — мы с ним еще старые знакомые, т. е. он меня любит, — прибавил он, видимо испугавшись слишком смелого утверждения, что он старый знакомый адъютанта. — Павел Дмитриевич отлично играет, но теперь удивительно, что с ним сделалось, он совсем как потерянный, — la chance a tourné[1], — добавил он, обращаясь преимущественно ко мне.

Мы сначала с снисходительным вниманием слушали Гуськова, но как только он сказал еще эту французскую фразу, мы все невольно отвернулись от него.

— Я с ним тысячу раз играл, и ведь согласитесь, что это странно, — сказал поручик О. с особенным ударением на этом слове, — удивительно *странно:* я ни разу у него не выиграл ни абаза. Отчего же я у других выигрываю?

— Павел Дмитриевич отлично играет, я его давно знаю, — сказал я. Действительно, я знал адъютанта уже несколько лет, не раз видал его в игре, большой по средствам офицеров, и восхищался его красивой, немного мрачной и всегда невозмутимо спокойной физиономией, его медлительным малороссийским выговором, его красивыми вещами и лошадьми, его неторопливой хохлацкой молодцеватостью и особенно его умением сдержанно, отчетливо и приятно вести игру. Не раз, каюсь в том, глядя на его полные и белые руки с бриллиантовым перстнем на указательном пальце, которые мне били одну карту за другою, я злился на этот перстень, на белые руки, на всю особу адъютанта, и мне приходили на его счет дурные мысли; но обсуживая потом хладнокровно, я убеждался, что он просто игрок умнее всех тех, с которыми ему приходится играть. Тем более, что, слушая его общие рассуждения об игре, о том, как следует не отгибаться, поднявшись с маленького куша, как следует бастовать в известных случаях, как первое правило играть на *чистые* и т. д., и т. д., было ясно, что он всегда в выигрыше только оттого, что умнее и характернее всех нас. Теперь же оказалось, что этот воздержный, характерный игрок проигрался впух в отряде

[1] счастье отвернулось *(фр.).*

не только деньгами, но и вещами, что означает последнюю степень проигрыша для офицера.

— Ему чертовски всегда везет со мной, — продолжал поручик О. — Я уж дал себе слово больше не играть с ним.

— Экой вы чудак, батенька, — сказал Ш., подмигивая на меня всей головой и обращаясь к О., — проиграли ему монетов триста, ведь проиграли!

— Больше, — сердито сказал поручик.

— А теперь хватились за ум, да поздно, батенька: всем давно известно, что он наш полковой шулер, — сказал Ш., едва удерживаясь от смеха и очень довольный своей выдумкой. — Вот Гуськов налицо, он ему и карты подготовливает. От этого-то у них и дружба, батенька мой... — И штабс-капитан Ш. так добродушно, колебаясь всем телом, расхохотался, что расплескал стакан глинтвейна, который держал в руке в это время.

На желтом исхудалом лице Гуськова показалась как будто краска, он несколько раз открывал рот, поднимал руки к усам и снова опускал их к месту, где должны были быть карманы, приподнимался и опускался и наконец не своим голосом сказал Ш.:

— Это не шутка, Николай Иванович; вы говорите такие вещи и при людях, которые меня не знают и видят в нагольном полушубке... потому что... — Голос у него оборвался, и снова маленькие красные ручки с грязными ногтями заходили от полушубка к лицу, то поправляя усы, волосы, нос, то прочищая глаз или почесывая без всякой надобности щеку.

— Да что и говорить, всем известно, батенька, — продолжал Ш., искренно довольный своей шуткой и вовсе не замечая волнения Гуськова. Гуськов еще прошептал что-то и, уперев локоть правой руки на коленку левой ноги, в самом неестественном положении, глядя на Ш., стал делать вид, как будто он презрительно улыбается.

«Нет, — решительно подумал я, глядя на эту улыбку, — я не только видел его, но говорил с ним где-то».

— Мы с вами где-то встречались, — сказал я ему, когда под влиянием общего молчания начал утихать смех Ш. Переменчивое лицо Гуськова вдруг просветлело, и его глаза в первый раз с искренно-веселым выражением устремились на меня.

— Как же, я вас сейчас узнал, — заговорил он по-французски. — В сорок восьмом году я вас довольно часто имел удовольствие видеть в Москве, у моей сестры Ивашиной.

Я извинился, что не узнал его сразу в этом костюме и в этой новой одежде. Он встал, подошел ко мне и своей влажной рукой нерешительно, слабо пожал мою руку и сел подле меня. Вместо того, чтобы смотреть на меня, которого он будто бы был так рад видеть, он с выражением какого-то неприятного хвастовства оглянулся на офицеров. Оттого ли, что я узнал в нем человека, которого несколько лет тому назад видал во фраке в гостиной, или оттого, что при этом воспоминании он вдруг поднялся в своем собственном мнении, мне показалось, что его лицо и даже движения совершенно изменились: они выражали теперь бойкий ум, детское самодовольство от сознания этого ума и какую-то презрительную небрежность, так что, признаюсь, несмотря на жалкое положение, в котором он находился, мой старый знакомый уже внушал мне не сострадание, а какое-то несколько неприязненное чувство.

Я живо вспомнил нашу первую встречу. В сорок восьмом году я часто в бытность мою в Москве езжал к Ивашину, с которым мы росли вместе и были старые приятели. Его жена была приятная хозяйка дома, любезная женщина, что называется, но она мне никогда не нравилась... В ту зиму, когда я ее знал, она часто говорила с худо-скрываемой гордостью про своего брата, который недавно кончил курс и будто бы был одним из самых образованных и любимых молодых людей в лучшем петербургском свете. Зная по слухам отца Гуськовых, который был очень богат и занимал значительное место, и зная направление сестры, я встретился с молодым Гуськовым с предубеждением. Раз, вечером приехав к Ивашину, я застал у него невысокого, весьма приятного на вид молодого человека в черном фраке, в белом жилете и галстухе, с которым хозяин забыл познакомить меня. Молодой человек, по-видимому, собиравшийся ехать на бал, с шляпой в руке стоял перед Ивашиным и горячо, но учтиво спорил с ним про общего нашего знакомого, отличившегося в то время в венгерской кампании. Он говорил, что этот знакомый был вовсе не герой и человек, рожденный для войны, как

его называли, а только умный и образованный человек. Помню, я принял участие в споре против Гуськова и увлекся в крайность, доказывая даже, что ум и образование всегда в обратном отношении к храбрости, и помню, как Гуськов приятно и умно доказывал мне, что храбрость есть необходимое следствие ума и известной степени развития, с чем я, считая себя умным и образованным человеком, не мог втайне не согласиться! Помню, что в конце нашего разговора Ивашина познакомила меня с своим братом, и он, снисходительно улыбаясь, подал мне свою маленькую руку, на которую еще не совсем успел натянуть лайковую перчатку, и так же слабо и нерешительно, как и теперь, пожал мою руку. Хотя я и был предубежден против него, я не мог тогда не отдать справедливости Гуськову и не согласиться с его сестрою, что он был действительно умный и приятный молодой человек, который должен был иметь успех в свете. Он был необыкновенно опрятен, изящно одет, свеж, имел самоуверенно-скромные приемы и вид чрезвычайно моложавый, почти детский, за который вы невольно извиняли ему выражение самодовольства и желание умерить степень своего превосходства перед вами, которое постоянно носили на себе его умное лицо и в особенности улыбка. Говорили, что он в эту зиму имел большой успех у московских барынь. Видав его у сестры, я только по выражению счастия и довольства, которое постоянно носила на себе его молодая наружность, и по его иногда нескромным рассказам мог заключить, в какой степени это было справедливо. Мы встречались с ним раз шесть и говорили довольно много, или, скорее, много говорил он, а я слушал. Он говорил большею частию по-французски, весьма хорошим языком, очень складно, фигурно и умел мягко, учтиво перебивать других в разговоре. Вообще он обращался со всеми и со мною довольно свысока, а я, как это всегда со мной бывает в отношении людей, которые твердо уверены, что со мной следует обращаться свысока, и которых я мало знаю, чувствовал, что он совершенно прав в этом отношении.

Теперь, когда он подсел ко мне и сам подал мне руку, я живо узнал в нем прежнее высокомерное выражение, и мне показалось, что он не совсем честно пользуется выгодой своего положения нижнего чина перед офицером, так небрежно расспрашивая меня о том, что

я делал все это время и как попал сюда. Несмотря на то, что я всякий раз отвечал по-русски, он заговаривал на французском языке, на котором уже заметно выражался не так свободно, как прежде. Про себя он мне мельком сказал, что после своей несчастной, глупой истории (в чем состояла эта история, я не знал, и он не сказал мне) он три месяца сидел под арестом, потом был послан на Кавказ в N. полк, — теперь уже три года служит солдатом в этом полку.

— Вы не поверите, — сказал он мне по-французски, — сколько я должен был выстрадать в этих полках от общества офицеров; еще счастье мое, что я прежде знал адъютанта, про которого мы сейчас говорили: он хороший человек, право,— заметил он снисходительно,— я у него живу, и для меня это все-таки маленькое облегчение. Oui, mon cher, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas [1], — добавил он и вдруг замялся, покраснел и встал с места, заметив, что к нам подходил тот самый адъютант, про которого мы говорили.

— Такая отрада встретить такого человека, как вы, — сказал мне шепотом Гуськов, отходя от меня, — мне бы много, много хотелось переговорить с вами.

Я сказал, что я очень рад этому, но в сущности, признаюсь, Гуськов внушал мне несимпатическое, тяжелое сострадание.

Я предчувствовал, что с глазу на глаз мне будет неловко с ним, но мне хотелось узнать от него многое и в особенности, почему, когда отец его был так богат, он был в бедности, как это было заметно по его одежде и приемам.

Адъютант поздоровался со всеми нами, исключая Гуськова, и подсел со мной рядом на место, которое занимал разжалованный. Всегда спокойный и медлительный, характерный игрок и денежный человек, Павел Дмитриевич был теперь совершенно другим, как я его знал в цветущие времена его игры; он как будто торопился куда-то, беспрестанно оглядывал всех, и не прошло пяти минут, как он, всегда отказывавшийся от игры, предложил поручику О. составить банчик. Поручик О. отказался под предлогом занятий по службе, собствен-

[1] Да, дорогой мой, дни следуют один за другим, но не повторяются *(фр.)*.

но же потому, что, зная, как мало вещей н денег оставалось у Павла Дмнтрневнча, он считал неблагоразумным рнсковать свон трнста рублей против ста рублей, а может и меньше, которые он мог выиграть.

— А что, Павел Дмитриевич, — сказал поручик, вндмо желая нзбавиться от повторения просьбы, — правда говорят — завтра выступление?

— Не знаю, — заметил Павел Дмитриевич, — только велено приготовиться, а право, лучше бы сыграли, я бы вам заложил моего кабардннца.

— Нет, уж нынче...

— Серого, уж куда ни шло, а то, ежели хотите, деньгами. Что ж?

— Да я что ж... Я бы готов, вы не думайте, — заговорил поручик О., отвечая на свое собственное сомнение, — а то завтра, может, набег илн движение, выспаться надо.

Адъютант встал н, заложив руки в карманы, стал ходить по площадке. Лнцо его прнняло обычное выражение холодности и некоторой гордости, которое я любнл в нем.

— Не хотнте лн стаканчик глинтвейну? — сказал я ему.

— Можно-с, — и он направился ко мне, но Гуськов торопливо взял стакан у меня из рук и понес его адъютанту, стараясь притом не глядеть на него. Но, не обратив вниманья на веревку, натягивающую палатку, Гуськов спотыкнулся на нее и, выпустнв нз рук стакан, упал на руки.

— Эка филя! — сказал адъютант, протянувший уже руку к стакану. Все расхохотались, не нсключая Гуськова, потнравшего рукой свою худую коленку, которую он никак не мог зашнбить прн падении.

— Вот как медведь пустыннику услужил, — продолжал адъютант. — Так-то он мне каждый день услуживает, все колышки на палатках пооборвал, — все спотыкается.

Гуськов, не слушая его, извинялся перед намн и взглядывал на меня с чуть заметной грустной улыбкой, которою он как будто говорил, что я однн могу понимать его. Он был жалок, но адъютант, его покровитель, казался почему-то озлобленным на своего сожнтеля и ннкак не хотел оставнть его в покое.

— Как же, ловкий мальчик! куда ни поверните.

— Да кто ж не спотыкается на эти колышки, Павел Дмитриевич, — сказал Гуськов, — вы сами третьего дня спотыкнулись.

— Я, батюшка, не нижний чин, с меня ловкости не спрашивается.

— Он может ноги волочить, — подхватил штабс-капитан Ш., — а нижний чин должен подпрыгивать...

— Странные шутки, — сказал Гуськов почти шепотом и опустив глаза. Адъютант был, видимо, неравнодушен к своему сожителю, он с алчностью вслушивался в его каждое слово.

— Придется опять в секрет послать, — сказал он, обращаясь к Ш. и подмигивая на разжалованного.

— Что ж, опять слезы будут, — сказал Ш., смеясь. Гуськов не глядел уже на меня, а делал вид, что достает табак из кисета, в котором давно уже ничего не было.

— Сбирайтесь в секрет, батенька, — сквозь смех проговорил Ш., — нынче лазутчики донесли, нападение на лагерь ночью будет, так надо надежных ребят назначать. — Гуськов нерешительно улыбался, как будто собираясь сказать что-то, и несколько раз поднимал умоляющий взгляд на Ш.

— Что ж, ведь я ходил, и пойду еще, коли пошлют, — пролепетал он.

— Да и пошлют.

— Ну, и пойду. Что ж такое?

— Да, как на Аргуне, убежали из секрета и ружье бросили, — сказал адъютант и, отвернувшись от него, начал нам рассказывать приказания на завтрашний день.

Действительно, в ночь ожидали со стороны неприятеля стрельбу по лагерю, а на завтра какое-то движение. Потолковав еще о разных общих предметах, адъютант как будто нечаянно, вдруг вспомнив, предложил поручику О. прометать ему маленькую. Поручик О. совершенно неожиданно согласился, и они вместе с Ш. и прапорщиком пошли в палатку адъютанта, у которого был складной зеленый стол и карты. Капитан, командир нашего дивизиона, пошел спать в палатку, другие господа разошлись тоже, и мы остались одни с Гуськовым. Я не ошибался, мне действительно было с ним неловко с глазу на глаз. Я невольно встал и стал ходить

взад и вперед по батарее. Гуськов молча пошел со мной рядом, торопливо и беспокойно поворачиваясь, чтобы не отставать и не опережать меня.

— Я вам не мешаю? — сказал он кротким, печальным голосом. Сколько я мог рассмотреть в темноте его лицо, оно мне показалось глубоко задумчивым и грустным.

— Нисколько, — отвечал я; но так как он не начинал говорить, и я не знал, что сказать ему, мы довольно долго ходили молча.

Сумерки уже совершенно заменились темнотою ночи, над черным профилем гор зажглась яркая вечерняя зарница, над головами на светло-синем морозном небе мерцали мелкие звезды, со всех сторон краснело во мраке пламя дымящихся костров, вблизи серели палатки, и мрачно чернела насыпь нашей батареи. От ближайшего костра, около которого, греясь, тихо разговаривали наши денщики, изредка блестела на батарее медь наших тяжелых орудий, и показывалась фигура часового в шинели внакидку, мерно двигавшегося вдоль насыпи.

— Вы не можете себе представить, какая отрада для меня говорить с таким человеком, как вы, — сказал мне Гуськов, хотя он еще ни о чем не говорил со мной, — это может понять только тот, кто побывал в моем положении.

Я не знал, что отвечать ему, и мы снова молчали, несмотря на то, что ему, видимо, хотелось высказаться, а мне выслушать его.

— За что вы были... за что вы пострадали? — спросил я его наконец, не придумав ничего лучше, чтоб начать разговор.

— Разве вы не слышали про эту несчастную историю с Метениным?

— Да, дуэль, кажется; слышал мельком, — отвечал я, — ведь я уже давно на Кавказе.

— Нет, не дуэль, но эта глупая и ужасная история! Я вам все расскажу, коли вы не знаете. Это было в тот самый год, когда мы с вами встречались у сестры, я жил тогда в Петербурге. Надо вам сказать, я имел тогда то, что называется une position dans le monde[1], и довольно выгодную, ежели не блестящую. Mon père me don-

[1] положение в свете *(фр.)*.

nait 10 000 par an[1]. В сорок девятом году мне обещали место при посольстве в Турине, дядя мой по матери мог и всегда был готов очень много для меня сделать. Дело прошлое теперь, j'étais reçu dans la meilleure société de Pétersbourg, je pouvais prétendre[2] на лучшую партию. Учился я, как все мы учились в школе, так что особенного образования у меня не было; правда, я читал много после, mais j'avais surtout, знаете, ce jargon du monde[3], и, как бы то ни было, меня находили почему-то одним из первых молодых людей Петербурга. Что меня еще больше возвысило в общем мнении—c'est cette liaison avec m-me D.[4], про которую много говорили в Петербурге, но я был ужасно молод в то время и мало ценил все эти выгоды. Просто я был молод и глуп, чего мне еще нужно было? В то время в Петербурге этот Метенин имел репутацию... — И Гуськов продолжал в этом роде рассказывать мне историю своего несчастия, которую, как вовсе неинтересную, я пропущу здесь. — Два месяца я сидел под арестом, — продолжал он, — совершенно один и чего не передумал я в это время. Но знаете, когда все это кончилось, как будто уж окончательно была разорвана связь с прошедшим, мне стало легче. Mon père, vous en avez entendu parler[5] наверно, он человек с характером железным и с твердыми убеждениями, il m'a déshérité[6] и прекратил все сношения со мной. По его убеждениям так надо было сделать, и я нисколько не обвиняю его: il a été consequent[7]. Зато и я не сделал шагу для того, чтобы он изменил своему намерению. Сестра была за границей, m-me D. одна писала ко мне, когда позволили, и предлагала помощь, но вы понимаете, что я отказался. Так что у меня не было тех мелочей, которые облегчают немного в этом положении, знаете: ни книг, ни белья, ни пищи, ничего. Я много, много передумал в это время, на все стал смотреть другими глазами; например, этот шум, толки света обо мне в Петербурге не занимали меня, не льстили нисколько, все это мне казалось смешно. Я чувствовал,

[1] Отец давал мне десять тысяч ежегодно *(фр.)*.
[2] я был принят в лучшем обществе Петербурга, я мог рассчитывать *(фр.)*.
[3] но особенно я владел этим светским жаргоном *(фр.)*.
[4] так это связь с госпожой Д. *(фр.)*.
[5] Мой отец, вы слышали о нем *(фр.)*.
[6] он лишил меня права на наследство *(фр.)*.
[7] он был последователен *(фр.)*.

что сам был виноват, неосторожен, молод, я испортил свою карьеру и только думал о том, как снова поправить ее. И я чувствовал в себе на это силы и энергию. Из-под ареста, как я вам говорил, меня отослали сюда, на Кавказ, в N. полк.

— Я думал, — продолжал он, воодушевляясь более и более, — что здесь, на Кавказе — la vie de camp [1], люди простые, честные, с которыми я буду в сношениях, война, опасности, все это придется к моему настроению духа как нельзя лучше, что я начну новую жизнь. On me verra au feu [2] — полюбят меня, будут уважать меня не за одно имя, — крест, унтер-офицер, снимут штраф, и я опять вернусь et, vous savez, avec ce prestige du malheur! Но quel désenchantement [3]. Вы не можете себе представить, как я ошибся!.. Вы знаете общество офицеров нашего полка? — Он помолчал довольно долго, ожидая, как мне показалось, что я скажу ему, что знаю, как нехорошо общество здешних офицеров; но я ничего не отвечал ему. Мне было противно, что он, потому верно, что я знал по-французски, предполагал, что я должен был быть возмущен против общества офицеров, которое я, напротив, пробыв долго на Кавказе, успел оценить вполне и уважал в тысячу раз больше, чем то общество, из которого вышел господин Гуськов. Я хотел ему сказать это, но его положение связывало меня.

— В N. полку общество офицеров в тысячу раз хуже здешнего, — продолжал он. — J'espère que c'est beaucoup dire [4], т. е. вы не можете себе представить, что это такое! Уже не говорю о юнкерах и солдатах. Это ужас что такое! Меня приняли сначала хорошо, это совершенная правда, но потом, когда увидали, что я не могу не презирать их, знаете, в этих незаметных мелких отношениях, увидали, что я человек совершенно другой, стоящий гораздо выше их, они озлобились на меня и стали отплачивать мне разными мелкими унижениями. Ce que j'ai eu à souffrir, vous ne vous faites pas une idée [5]. Потом эти невольные отношения с юнкерами, а

[1] лагерная жизнь *(фр.)*.
[2] Меня увидят под огнем *(фр.)*.
[3] и, знаете, с этим обаянием несчастья! Но какое разочарование *(фр.)*.
[4] Надеюсь, что этим достаточно сказано *(фр.)*.
[5] Вы не можете себе представить, сколько я перестрадал *(фр.)*.

главное avec les petits moyens que j'avais, je manquais de tout[1], у меня было только то, что сестра мне присылала. Вот вам доказательство, сколько я выстрадал, что я с моим характером, avec ma fierté, j'ai écrit à mon père[2], умолял его прислать мне хоть что-нибудь. Я понимаю, что прожить пять лет такой жизнью — можно сделаться таким же, как наш разжалованный Дромов, который пьет с солдатами и ко всем офицерам пишет записочки, прося *ссудить* его тремя рублями, и подписывает tout à vous[3] Дромов. Надобно было иметь такой характер, который я имел, чтобы совершенно не погрязнуть в этом ужасном положении. — Он долго молча ходил подле меня. — Avez-vous un papiros?[4] — сказал он мне. — Да, так на чем я остановился? Да. Я не мог этого выдержать, не физически, потому что хотя и плохо, холодно и голодно было, я жил как солдат, но все-таки и офицеры имели какое-то уважение ко мне. Какой-то prestige[5] оставался на мне и для них. Они не посылали меня в караулы, на ученье. Я бы этого не вынес. Но морально страдал я ужасно. И главное, не видел выхода из этого положения. Я писал дяде, умолял его перевести меня в здешний полк, который по крайней мере бывает в делах, и думал, что здесь Павел Дмитриевич, qui ets le fils de l'intendant de mon pére[6], все-таки он мог быть мне полезен. Дядя сделал это для меня, меня перевели. После того полка этот показался для меня собранием камергеров. Потом Павел Дмитриевич тут, он знал, кто я такой, и меня приняли прекрасно. По просьбе дяди... Гуськов, vous savez...[7] но я заметил, что с этими людьми, без образования и развития,— они не могут уважать человека и оказывать ему признаки уважения, ежели на нем нет этого ореола богатства, знатности; я замечал, как понемногу, когда увидали, что я беден, их отношения со мной становились небрежнее, небрежнее и, наконец, сделались почти презрительные. Это ужасно! но это совершенная правда.

---

[1] при тех маленьких средствах, которые у меня были, я нуждался во всем *(фр.)*.

[2] с моей гордостью, я написал отцу *(фр.)*.

[3] весь ваш *(фр.)*

[4] Есть у вас папироса? *(фр.)*

[5] авторитет *(фр.)*.

[6] сын управляющего моего отца *(фр.)*.

[7] вы знаете... *(фр.)*

— Здесь я был в делах, дрался, on m'a vu au feu[1], — продолжал он, — но когда это кончится? Я думаю, никогда! а силы мои и энергия уже начинают истощаться. Потом я воображал la guerre, la vie de camp[2], но все это не так, как я вижу — в полушубке, немытые, в солдатских сапогах вы идете в секрет и целую ночь лежите в овраге с каким-нибудь Антоновым, за пьянство отданным в солдаты, и всякую минуту вас из-за куста могут застрелить, вас или Антонова, все равно. Тут уж не храбрость — это ужасно. C'est affreux, ça tue[3].

— Что ж, вы можете теперь за поход получить унтер-офицера, а на будущий год и прапорщика, — сказал я.

— Да, могу, мне обещали, но еще два года, и то едва ли. А что такое эти два года, ежели бы знал кто-нибудь. Вы представьте себе эту жизнь с этим Павлом Дмитриевичем: карты, грубые шутки, кутеж, вы хотите сказать что-нибудь, что у вас накипело на душе, вас не понимают или над вами еще смеются, с вами говорят не для того, чтобы сообщить вам мысль, а так, чтоб, ежели можно, еще из вас сделать шута. Да и все это так пошло, грубо, гадко, и всегда вы чувствуете, что вы нижний чин, это вам всегда дают чувствовать. От этого вы не поймете, какое наслаждение поговорить à coeur ouvert[4] с таким человеком, как вы.

Я никак не понимал, какой это я был человек, и поэтому не знал, что отвечать ему...

— Закусывать будете? — сказал мне в это время Никита, незаметно подобравшийся ко мне в темноте и, как я заметил, недовольный присутствием гостя. — Только вареники да битой говядины немного осталось.

— А капитан уж закусывал?

— Они спят давно, — угрюмо отвечал Никита. На мое приказание принести нам сюда закусить и водочки он недовольно проворчал что-то и потащился к своей палатке. Поворчав еще там, он однако принес нам погребец; на погребце поставил свечку, обвязав ее наперед бумагой от ветру, кастрюльку, горчицу в банке, жестяную рюмку с ручкой и бутылку с полынной настойкой.

---

[1] меня видели под огнем *(фр.)*.
[2] войну, лагерную жизнь *(фр.)*.
[3] Это ужасно, это убийственно *(фр.)*.
[4] по душе *(фр.)*.

Устроив все это, Никита постоял еще несколько времени около нас и посмотрел, как я и Гуськов выпили водки, что ему, видимо, было очень неприятно. При матовом освещении свечи сквозь бумагу и среди окружающей темноты виднелись только тюленевая кожа погребца, ужин, стоявший на ней, лицо, полушубок Гуськова и его маленькие красные ручки, которыми он принялся выкладывать вареники из кастрюльки. Кругом все было черно и, только вглядевшись, можно было различить черную батарею, такую же черную фигуру часового, видневшуюся через бруствер, по сторонам огни костров и наверху красноватые звезды. Гуськов печально и стыдливо чуть заметно улыбался, как будто ему неловко было глядеть мне в глаза после своего признания. Он выпил еще рюмку водки и ел жадно, выскребая кастрюльку.

— Да, для вас все-таки облегчение, — сказал я ему, чтобы сказать что-нибудь, — ваше знакомство с адъютантом: он, я слышал, очень хороший человек.

— Да, — отвечал разжалованный, — он добрый человек, но он не может быть другим, не может быть человеком, с его образованьем и нельзя требовать. — Он вдруг как будто покраснел. — Вы заметили его грубые шутки нынче о секрете, — и Гуськов, несмотря на то, что я несколько раз старался замять разговор, стал оправдываться передо мной и доказывать, что он не убежал из секрета и что он не трус, как это хотели дать заметить адъютант и Ш.

— Как я говорил вам, — продолжал он, обтирая руки о полушубок, — такие люди не могут быть деликатны с человеком — солдатом и у которого мало денег; это свыше их сил. И вот последнее время, как я пять месяцев уж почему-то ничего не получаю от сестры, я заметил, как они переменились ко мне. Этот полушубок, который я купил у солдата и который не греет, потому что весь вытерт (при этом он показал мне голую полу), не внушает ему сострадания или уважения к несчастью, а презрение, которое он не в состоянии скрывать. Какая бы ни была моя нужда, как теперь, что мне есть нечего, кроме солдатской каши, и носить нечего, — продолжал он потупившись, наливая себе еще рюмку водки, — он не догадается предложить мне денег взаймы, зная наверно, что я отдам ему, а ждет, чтобы я в моем положении обратился к нему. А вы понимаете, каково это мне

и с ним. Вам бы, например, я прямо сказал — vous êtes au-dessus de cela; mon cher, je n'ai pas le sou[1]. И знаете, — сказал он, вдруг отчаянно взглядывая мне в глаза, — вам я прямо говорю, я теперь в ужасном положении: pouvez vous me prêter dix roubles argent?[2] Сестра должна мне прислать по следующей почте et mon père...[3]

— Ах, я очень рад, — сказал я, тогда как, напротив, мне было больно и досадно, особенно потому, что, накануне проигравшись в карты, у меня у самого оставалось только рублей пять с чем-то у Никиты. — Сейчас, — сказал я, вставая, — я пойду возьму в палатке.

— Нет, после, ne vous dérangez pas[4].

Однако, не слушая его, я пролез в застегнутую палатку, где стояла моя постель и спал капитан. — Алексей Иваныч, дайте мне пожалуйста десять рублей до рационов, — сказал я капитану, расталкивая его.

— Что, опять продулись? а еще вчера хотели не играть больше, — спросонков проговорил капитан.

— Нет, я не играл, а нужно, дайте пожалуйста.

— Макатюк! — закричал капитан своему денщику, — достань шкатулку с деньгами и подай сюда.

— Тише, тише, — заговорил я, слушая за палаткой мерные шаги Гуськова.

— Что? отчего тише?

— Это этот разжалованный просил у меня взаймы. Он тут!

— Вот знал бы, так не дал, — заметил капитан, — я про него слыхал — первый пакостник мальчишка! — Однако капитан дал-таки мне деньги, велел спрятать шкатулку, хорошенько запахнуть палатку и, снова повторив: — Вот коли бы знал на что, так не дал бы, — завернулся с головой под одеяло. — Теперь за вами тридцать два, помните, — прокричал он мне.

Когда я вышел из палатки, Гуськов ходил около диванчиков, и маленькия фигура его с кривыми ногами и в уродливой папахе с длинными белыми волосами выказывалась и скрывалась во мраке, когда он проходил мимо свечки. Он сделал вид, как будто не замечает

[1] вы выше этого; дорогой мой, у меня нет ни гроша *(фр.)*.
[2] можете вы одолжить мне десять рублей серебром? *(фр.)*
[3] и мой отец... *(фр.)*
[4] не беспокойтесь *(фр.)*.

меня. Я передал ему деньги. Он сказал: merci и, скомкав, положил бумажку в карман панталон.

— Теперь у Павла Дмитриевича, я думаю, игра во всем разгаре, — вслед за этим начал он.

— Да, я думаю.

— Он странно играет, всегда аребур и не отгибается; когда везет, это хорошо, но зато, когда уже не пойдет, можно ужасно проиграться. Он и доказал это. В этот отряд, ежели считать с вещами, он больше полуторы тысячи проиграл. А как играл воздержно прежде, так что этот ваш офицер как будто сомневался в его честности.

— Да это он так... Никита, не осталось ли у нас чихиря? — сказал я, очень облегченный разговорчивостью Гуськова. Никита поворчал еще, но принес нам чихиря и снова с злобой посмотрел, как Гуськов выпил свой стакан. В обращении Гуськова заметна стала прежняя развязность. Мне хотелось, чтобы он ушел поскорее, и казалось, что он этого не делает только потому, что ему совестно было уйти тотчас после того, как он получил деньги. Я молчал.

— Как это вы с средствами, без всякой надобности, решились de gaieté de coeur[1] идти служить на Кавказ? вот чего я не понимаю, — сказал он мне.

Я постарался оправдаться в таком странном для него поступке.

— Я воображаю, и для вас как тяжело общество этих офицеров, людей без понятия об образовании. Вы не можете с ними понимать друг друга. Ведь кроме карт, вина и разговоров о наградах и походах, вы десять лет проживете, ничего не увидите и не услышите.

Мне было неприятно, что он хотел, чтобы я непременно разделял его положение, и я совершенно искренно уверял его, что я очень любил и карты, и вино, и разговоры о походах, и что лучше тех товарищей, которые у меня были, я не желал иметь. Но он не хотел верить мне.

— Ну, вы это так говорите, — продолжал он, — а отсутствие женщин, то есть я разумею femmes comme il faut[2], разве это не ужасное лишение? Я не знаю, что

[1] с легким сердцем *(фр.)*.
[2] порядочных женщин *(фр.)*.

бы я дал теперь, чтоб только на минутку перенестись в гостиную и хоть сквозь щелочку посмотреть на милую женщину.

Он помолчал немного и выпил еще стакан чихиря.

— Ах, боже мой, боже мой! Может, случится еще нам когда-нибудь встретиться в Петербурге, у людей, быть и жить с людьми, с женщинами. — Он вылил последнее вино, оставшееся в бутылке, и, выпив его, сказал: — Ах, pardon, может быть, вы хотели еще, я ужасно рассеян. Однако я, кажется, слишком много выпил et je n'ai pas la tête forte[1]. Было время, когда я жил на Морской au rez de chaussée[2], у меня была чудная квартирка, мебель, знаете, я умел это устроить изящно, хотя не слишком дорого, правда: mon père дал мне фарфоры, цветы, серебра чудесного. Le matin je sortais, визиты, à cinq heures régulièrement[3] я ехал обедать к ней, часто она была одна. Il faut avouer que c'était une femme ravissante![4] Вы ее не знали? нисколько?

— Нет.

— Знаете, эта женственность была у нее в высшей степени, нежность и потом что за любовь! Господи! я не умел ценить тогда этого счастия. Или после театра мы возвращались вдвоем и ужинали. Никогда с ней скучно не было, toujours gaie, toujours aimante[5]. Да, я и не предчувствовал, какое это было редкое счастье. Et j'ai beaucoup à me reprocher перед нею. Je l'ai fait souffrir et souvent[6]. Я был жесток. Ах, какое чудное было время! Вам скучно?

— Нет, нисколько.

— Так я вам расскажу наши вечера. Бывало, я вхожу — эта лестница, каждый горшок цветов я знал — ручка двери, все это так мило, знакомо, потом передняя, ее комната... Нет, уже это никогда, никогда не возвратится! Она и теперь пишет мне, я вам, пожалуй, покажу ее письма. Но я уж не тот, я погиб, я уже не стою ее...

---

[1] и у меня слабая голова (*фр.*).

[2] в нижнем этаже (*фр.*).

[3] Утром я выезжал <...> ровно в пять часов (*фр.*).

[4] Надо признаться, что это была очаровательная женщина! (*фр.*).

[5] всегда веселая, всегда любящая (*фр.*).

[6] Я за многое упрекаю себя <...>. Я ее заставлял страдать, и часто (*фр.*).

Да, я окончательно погиб! Je suis cassé[1]. Нет во мне ни энергии, ни гордости, ничего. Даже благородства нет... Да, я погиб! И никто никогда не поймет моих страданий. Всем все равно. Я пропащий человек! никогда уж мне не подняться, потому что я морально упал... в грязь... упал... — В эту минуту в его словах слышно было искреннее, глубокое отчаяние: он не смотрел на меня и сидел неподвижно.

— Зачем так отчаиваться? — сказал я.

— Оттого, что я мерзок, эта жизнь уничтожила меня, все, что во мне было, все убито. Я терплю уж не с гордостью, а с подлостью, dignité dans le malheur[2] уже нет. Меня унижают ежеминутно, я все терплю, сам лезу на униженья. Эта грязь a déteint sur moi[3], я сам стал груб, я забыл, что знал, я по-французски уж не могу говорить, я чувствую, что я подл и низок. Драться я не могу в этой обстановке, решительно не могу, я бы, может быть, был герой: дайте мне полк, золотые эполеты, трубачей, а идти рядом с каким-то диким Антоном Бондаренко и т. д. и думать, что между мной и им нет никакой разницы, что меня убьют или его убьют — все равно, эта мысль убивает меня. Вы понимаете ли, как ужасно думать, что какой-нибудь оборванец убьет меня, человека, который думает, чувствует, и что все равно бы было рядом со мной убить Антонова, существо, ничем не отличающееся от животного, и что легко может случиться, что убьют именно меня, а не Антонова, как всегда бывает une fatalité[4] для всего высокого и хорошего. Я знаю, что они зовут меня трусом; пускай я трус, я точно трус и не могу быть другим. Мало того, что я трус, я по-ихнему нищий и презренный человек. Вот я у вас сейчас выпросил денег, и вы имеете право презирать меня. Нет, возьмите назад ваши деньги, — и он протянул мне скомканную бумажку. — Я хочу, чтоб вы меня уважали. — Он закрыл лицо руками и заплакал; я решительно не знал, что говорить и делать.

— Успокойтесь, — говорил я ему, — вы слишком чувствительны, не принимайте все к сердцу, не анализируйте, смотрите на вещи проще. Вы сами говорите, что

---

[1] Я разбит *(фр.)*.
[2] достоинства в несчастье *(фр.)*.
[3] отпечаталась на мне *(фр.)*.
[4] рок *(фр.)*.

у вас есть характер. Возьмите на себя, вам недолго уже осталось терпеть, — говорил я ему, но очень нескладно, потому что был взволнован и чувством сострадания, и чувством раскаяния в том, что я позволил себе мысленно осуждать человека, истинно и глубоко несчастливого.

— Да, — начал он, — ежели бы я слышал хоть раз с тех пор, как я в этом аду, хоть одно слово участия, совета, дружбы — человеческое слово, такое, какое я от вас слышу. Может быть, я бы мог спокойно переносить все, может, я даже взял бы на себя и мог быть даже солдатом, но теперь это ужасно... Когда я рассуждаю здраво, я желаю смерти, да и зачем мне любить опозоренную жизнь и себя, который погиб для всего хорошего в мире? А при малейшей опасности я вдруг невольно начинаю обожать эту подлую жизнь и беречь ее, как что-то драгоценное, и не могу, je ne puis pas[1], преодолеть себя. То есть я могу, — продолжал он опять после минутного молчания, — но мне это стоит слишком большого труда, громадного труда, коли я один. С другими в обыкновенных условиях, как вы идете в дело, я храбр, j'ai fait mes preuves[2], потому что я самолюбив и горд: это мой порок, и при других... Знаете, позвольте мне ночевать у вас, а то у нас целую ночь игра будет, мне где-нибудь, на земле.

Пока Никита устраивал постель, мы встали и стали снова ходить в темноте по батарее. Действительно, у Гуськова голова была, должно быть, очень слаба, потому что с двух рюмок водки и двух стаканов вина он покачивался. Когда мы встали и отошли от свечки, я заметил, что он, стараясь, чтобы я не видал этого, сунул снова в карман десятирублевую бумажку, которую во все время предшествовавшего разговора держал в ладони. Он продолжал говорить, что он чувствует, что может еще подняться, ежели бы был у него человек, как я, который бы принимал в нем участие.

Мы уже хотели идти в палатку ложиться спать, как вдруг над нами просвистело ядро и недалеко ударилось в землю. Так странно было, — этот тихий спящий лагерь, наш разговор, и вдруг ядро неприятельское, которое, бог знает откуда, влетело в середину наших пала-

---

[1] я не могу *(фр.)*.
[2] я доказал *(фр.)*.

ток, — так странно, что я долго не мог дать себе отчета, что это такое. Наш солдатик Андреев, ходивший на часах по батарее, подвинулся ко мне.

— Вишь подкрался! Вот тут огонь видать было, — сказал он.

— Надо капитана разбудить, — сказал я и взглянул на Гуськова.

Он стоял, пригнувшись совсем к земле, и заикался, желая выговорить что-то. «Это... а то... неприя... это пре... смешно». Больше он не сказал ничего, и я не видал, как и куда он исчез мгновенно.

В капитанской палатке зажглась свеча, послышался его всегдашний пробудный кашель, и он сам скоро вышел оттуда, требуя пальник, чтобы закурить свою маленькую трубочку.

— Что это, батюшка, — сказал он, улыбаясь, — не хотят мне нынче спать давать: то вы с своим разжалованным, то Шамиль; что же мы будем делать: отвечать или нет? Ничего не было об этом в приказании?

— Ничего. Вот он еще, — сказал я, — и из двух.

Действительно, во мраке, справа впереди, загорелось два огня, как два глаза, и скоро над нами пролетело одно ядро и одна, должно быть наша, пустая граната, производившая громкий и пронзительный свист. Из соседних палаток повылезали солдатики, слышно было их покрякиванье и потягиванье и говор.

— Вишь, в очко свистит, как соловей, — заметил артиллерист.

— Позовите Никиту, — сказал капитан с своей всегдашней доброй усмешкой. — Никита! ты не прячься, а горных соловьев послушай.

— Что ж, ваше высокоблагородие, — говорил Никита, стоя подле капитана, — я их видал, соловьев-то, я не боюсь, а вот гость-то, что тут был, наш чихирь пил, как услышал, так живо стречка дал мимо нашей палатки, шаром прокатился, как зверь какой изогнулся!

— Однако надо съездить к начальнику артиллерии, — сказал мне капитан серьезным начальническим тоном, — спросить, стрелять ли на огонь или нет; оно толку не будет, но все-таки можно. Потрудитесь, съездите и спросите. Велите лошадь оседлать, скорей будет, хоть моего Полкана возьмите.

Через пять минут мне подали лошадь, и я отправился к начальнику артиллерии.

— Смотрите, отзыв *дышло,* — шепнул мне пунктуальный капитан, — а то в цепи не пропустят.

До начальника артиллерии было с полверсты, вся дорога шла между палаток. Как только я отъехал от нашего костра, сделалось так черно, что я не видал даже ушей лошади, а только огни костров, казавшиеся мне то очень близко, то очень далеко, мерещились у меня в глазах. Отъехав немного по милости лошади, которой я пустил поводья, я стал различать белые четвероугольные палатки, потом и черные колеи дороги; через полчаса, спросив раза три дорогу, раза два зацепив за колышки палаток, за что получал всякий раз ругательства из палаток, и раза два остановленный часовыми, я приехал к начальнику артиллерии. Покуда я ехал, я слышал еще два выстрела по нашему лагерю, но снаряды не долетали до того места, где стоял штаб. Начальник артиллерии не приказал отвечать на выстрелы, тем более, что неприятель приостановился, и я отправился домой, взяв лошадь в повод и пробираясь пешком между пехотными палатками. Не раз я уменьшал шаг, проходя мимо солдатской палатки, в которой светился огонь, и прислушивался или к сказке, которую рассказывал балагур, или к книжке, которую читал грамотей и слушало целое отделение, битком набившись в палатке и около нее, прерывая чтеца изредка разными замечаниями, или просто к толкам о походе, о родине, о начальниках.

Проходя около одной из палаток третьего батальона, я услыхал громкий голос Гуськова, который говорил очень весело и бойко. Ему отвечали молодые, тоже веселые, господские, не солдатские голоса. Это, очевидно, была юнкерская или фельдфебельская палатка. Я остановился.

— Я его давно знаю, — говорил Гуськов. — Когда я жил в Петербурге, он ко мне ходил часто, и я бывал у него, он очень в хорошем свете жил.

— Про кого ты говоришь? — спросил пьяный голос.

— Про князя, — сказал Гуськов. — Мы ведь родня с ним, а главное — старые приятели. Оно, знаете, господа, хорошо этакого знакомого иметь. Он ведь богат страшно. Ему сто целковых пустяки. Вот я взял у него немного денег, пока мне сестра пришлет.

— Ну, посылай же.

— Сейчас. Савельич, голубчик! — заговорил голос

Гуськова, подвигаясь к дверям палатки, — вот тебе десять монетов, поди к маркитанту, возьми две бутылки кахетинского и еще чего? Господа? Говорите! — И Гуськов, шатаясь, с спутанными волосами, без шапки вышел из палатки. Отворотив полы полушубка и засунув руки в карманы своих сереньких панталон, он остановился в двери. Хотя он был в свету, а я в темноте, я дрожал от страха, чтобы он не увидал меня, и, стараясь не делать шума, пошел дальше.

— Кто тут? — закричал на меня Гуськов совершенно пьяным голосом. Видно, на холоде разобрало его. — Какой тут черт с лошадью шляется?

Я не отвечал и молча выбрался на дорогу.

15 ноября 1856 г.



КАЗАКИ

Кавказская повесть 1852 года

I



се затихло в Москве. Редко, редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы.

А у господ еще вечер.

В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противозаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и сжавшись, точно прячется за угол дома.

«И чего переливают из пустого в порожнее? — думает лакей, с осунувшимся лицом, сидя в передней. — И все на мое дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в

довольно толстых и сильных, но с отчищенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жестами; но видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается.

— Теперь можно все сказать! — говорит отъезжающий. — Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты по крайней мере понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней, — обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него.

— Да, виноват, — отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде.

— Я знаю, отчего ты это говоришь, — продолжает отъезжающий. — Быть любимым по-твоему такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.

— Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно, — подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза.

— Но отчего ж не любить и самому! — говорит отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля. — Отчего не любить? Не любится... Нет, любимым быть — несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, боже мой! — Он махнул рукой. — Ведь если бы это все делалось разумно, а то навыворот, както не по-нашему, а по-своему все это делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь; не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать?

— Ну, да теперь кончено! — сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. — Одно только: ты еще не любил, и не знаешь, что такое любить.

Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.

— Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить! Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.

— В которой ты опять напутаешь, — сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов; но отъезжающий не слыхал его.

— Мне и грустно, и рад я, что еду, — продолжал он. — Отчего грустно, я не знаю.

И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.

— Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет! — сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. — С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.

Дмитрий Андреевич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валеных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его, — жизни трудов, лишений, деятельности.

— И в самом деле, прощай! — сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.

Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел.

— Нет, все-таки скажу... Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю... Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал... да?

— Да, — отвечал приятель, еще кротче улыбаясь.

— И может быть...

— Пожалуйте, свечи тушить приказано, — сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и сооб-

ражавший, почему это господа всегда говорят все одно и то же. — Счет за кем записать прикажете? За вами-с? — прибавил он, обращаясь к высокому, вперед зная, к кому обратиться.

— За мной, — сказал высокий. — Сколько?

— Двадцать шесть рублей.

Высокий задумался на мгновенье, но ничего не сказал и положил счет в карман.

А у двух разговаривающих шло свое.

— Прощай, ты отличный малый! — сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами.

Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.

— Ах, да! — сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому. — Счет Шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне.

— Хорошо, хорошо, — сказал высокий, надевая перчатки. — Как я тебе завидую! — прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.

Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! Поедем», — и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует; голос его дрожал.

Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе бог...» Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.

Они помолчали. Еще раз сказал кто-то: «Прощай». Кто-то сказал: «Пошел!» И ямщик тронул.

— Елизар, подавай! — крикнул один из провожавших.

Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу.

— Славный малый этот Оленин, — сказал один из провожавших. — Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?

— Буду.

И провожавшие разъехались.

Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнулся, и ямская взъерошенная тройка потащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то невиданных им домов. Оленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом бы-

ло темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожалений и приятных давивших слез...

II

«Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо!» — твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? Кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен; иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: «Славные, люблю!» — и раз даже сказал: «Как хватит! Отлично!» И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: «Уж не пьян ли я?» Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но не одно вино производило это действие на Оленина. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно, высказанные ему перед отъездом. Вспоминались пожатия рук, взгляды, молчания, звук голоса, сказавшего: *прощай, Митя!* когда он уже сидел в санях. Вспоминалась своя собственная решительная откровенность. И все это для него имело трогательное значение. Перед отъездом не только друзья, родные, не только равнодушные, но несимпатичные, недоброжелательные люди, все как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить как перед исповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа», — думал он. И ему казалось, что он любит своих друзей и еще любит кого-то. И ему было жалко себя. Но не любовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой, и не любовь к женщине (он никогда еще не любил) привела его в это состояние. Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что́ только было хорошего в его душе (а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем), заставляла его плакать и бормотать несвязные слова.

Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший еще

себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что́ называется «молодой человек» в московском обществе.

В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких — ни физических, ни моральных — оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, а всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор, но чувствовал невольно удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергий и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чуять приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнию, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке, — на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, или на практическую деятельность, — не силу ума, сердца, образования, а тот не повторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет, и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишенные этого порыва, которые, сразу входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им и, сам не зная этого, был счастлив им. Он любил до сих пор только себя одного и не

мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то, — что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить *хорошенько,* но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наверное будет одно счастие.

Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там уже строит зáмки будущего. Так случилось и с Олениным.

Выехав за город и оглядев снежные поля, он порадовался тому, что он один среди этих полей, завернулся в шубу, опустился на дно саней, успокоился и задремал. Прощанье с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошенно возникать в его воображении.

Ему вспомнился этот провожавший его приятель и его отношения к девушке, о которой они говорили. Девушка эта была богата. «Каким образом он мог любить ее, несмотря на то, что она меня любила?» — думал он, и нехорошие подозрения пришли ему в голову. «Много есть нечестности в людях, как подумаешь. А отчего ж я еще не любил в самом деле?» — представился ему вопрос. «Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод?» И он стал вспоминать свои увлечения. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которою он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы за работой и низ красивого тонкого лица, и вспомнились ему эти разговоры, тянувшиеся как «жив-жив курилка», и общую неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Какой-то голос все говорил: *не то, не то,* и точно вышло не то. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивою Д. «Как я был влюблен в эту ночь, как был счастлив! И как мне больно и досадно было, когда я на другой

день утром проснулся и почувствовал, что я свободен! Что же она, любовь, не приходит? не вяжет меня по рукам и по ногам?» — думал он. «Нет, нет любви! Соседка барыня, говорившая одинаково мне и Дубровину, и предводителю, что любит звезды, была также *не то*». И вот ему вспоминается его хозяйственная деятельность в деревне, и опять не на чем с радостию остановиться в этих воспоминаниях. «Долго они будут говорить о моем отъезде?» — приходит ему в голову. Но кто это они, он не знает, и вслед за этим приходит ему мысль, заставляющая его морщиться и произносить неясные звуки: это воспоминание о мосье Капеле и шестистах семидесяти восьми рублях, которые он остался должен портному, и он вспоминает слова, которыми он упрашивал портного подождать еще год, и выражение недоумения и покорности судьбе, появившееся на лице портного. «Ах, боже мой, боже мой!» — повторяет он, щурясь и стараясь отогнать несносную мысль. «Однако она меня несмотря на то любила», — думает он о девушке, про которую шла речь при прощаньи. «Да, коли я бы на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву». И представляется ему последний вечер игры с г. Васильевым в клубе, куда он поехал прямо от нее, и вспоминаются униженные просьбы играть еще и его холодные отказы. «Год экономии, и все это будет заплачено, и черт их возьми...» Но несмотря на эту уверенность, он снова начинает считать оставшиеся долги, их сроки и предполагаемое время уплаты. «А ведь я еще остался должен Морелю, кроме Шевалье», — вспоминалось ему; и представляется вся ночь, в которой он ему задолжал столько. Это была попойка с цыганами, которую затеяли приезжие из Петербурга: Сашка Б***, флигель-адъютант, и князь Д***, и этот важный старик... «И почему они так довольны собой, эти господа? — подумал он, — и на каком основании составляют они особый кружок, в котором, по их мнению, другим очень лестно участвовать. Неужели за то, что они флигель-адъютанты? Ведь это ужасно, какими глупыми и подлыми они считают других! Я показал им, напротив, что нисколько не желаю сближаться с ними. Однако, я думаю, Андрей управляющий очень был бы озадачен, что я на *ты* с таким господином, как Сашка Б***, полковником и флигель-адъютантом... Да и никто не выпил больше меня в этот вечер; я выучил цыган

новой песне, и все слушали. Хоть и много глупостей я делал, а все-таки я очень, очень хороший молодой человек», — думает он.

Утро застало Оленина на третьей станции. Он напился чаю, переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы и уселся между ними благоразумно, прямо и аккуратно, зная, где что́ у него находится, — где деньги и сколько их, где вид и подорожная и шоссейная расписка, — и все это ему показалось так практично устроено, что стало весело, и дальняя дорога представилась в виде продолжительной прогулки.

В продолжение утра и середины дня он весь был погружен в арифметические расчеты: сколько он проехал верст, сколько остается до первой станции, сколько до первого города, до обеда, до чая, до Ставрополя и какую часть всей дороги составляет проеханное. При этом он рассчитывал тоже: сколько у него денег, сколько останется, сколько нужно для уплаты всех долгов и какую часть всего дохода будет он проживать в месяц. К вечеру, напившись чаю, он рассчитывал, что до Ставрополя оставалось $^{7}/_{11}$ всей дороги, долгов оставалось всего на семь месяцев экономии и на $^{1}/_{8}$ всего состояния, — и успокоившись, он укутался, спустился в сани и снова задремал. Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Амалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно; но слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего. То с необычайною храбростию и удивляющею всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Как только представляются подробности, то в подробностях этих участвуют старые московские лица. Сашка Б*** тут вместе с русскими или с горцами воюет против него. Даже, неизвестно как, портной мосье Капель принимает участие в торжестве победителя. Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешенок и опасностей, эти ошибки не могут повторяться. Уж раз исповедался в них перед самим собою, и кончено. Есть еще одна, самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это

мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки-рабыни, с стройным станом, длинною косой и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединенная хижина и у порога *она,* дожидающаяся его в то время, как он, усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудятся ее поцелуи, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но она необразована, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усвоивает себе все необходимые знания. Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. «Notre Dame de Paris»[1], например, должно ей понравиться. Она может и говорить по-французски. В гостиной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высшего общества. Она может петь, просто, сильно и страстно. «Ах, какой вздор!» — говорит он сам себе. А тут приехали на какую-то станцию и надо перелезать из саней в сани и давать на водку. Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил, и ему представляются опять черкешенки, слава, возвращение в Россию, флигель-адъютантство, прелестная жена. «Но ведь любви нет, — говорит он сам себе. — Почести — вздор. А шестьсот семьдесят восемь рублей?.. А завоеванный край, давший мне больше богатства, чем мне нужно на всю жизнь? Впрочем, нехорошо будет одному воспользоваться этим богатством. Нужно раздать его. Кому только? Шестьсот семьдесят восемь рублей Капелю, а там видно будет...» И уже совсем смутные видения застилают мысль, и только голос Ванюши и чувство прекращенного движения нарушают здоровый, молодой сон, и, сам не помня, перелезает он в другие сани на новой станции и едет далее.

На другое утро то же самое, — те же станции, те же чаи, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты и дремоты по вечерам, и усталый, здоровый, молодой сон в продолжение ночи.

III

Чем дальше уезжал Оленин от центра России, тем дальше казались от него все его воспоминания, и чем

[1] «Собор Парижской богоматери» *(фр.).*

ближе подъезжал к Кавказу, тем отраднее становилось ему на душе. «Уехать совсем и никогда не приезжать назад, не показываться в общество», — приходило ему иногда в голову. «А эти люди, которых я здесь вижу, — *не люди;* никто из них меня не знает и никто никогда не может быть в Москве в том обществе, где я был, и узнать о моем прошедшем. И никто из того общества не узнает, что я делал, живя между этими людьми». И совершенно новое для него чувство свободы от всего прошедшего охватывало его между этими грубыми существами, которых он встречал по дороге и которых не признавал людьми наравне с своими московскими знакомыми. Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чувствовал себя. Ставрополь, чрез который он должен был проезжать, огорчил его. Вывески, даже французские вывески, дамы в коляске, извозчики, стоявшие на площади, бульвар и господин в шинели и шляпе, проходивший по бульвару и оглядевший проезжих, — больно подействовали на него. «Может быть, эти люди знают кого-нибудь из моих знакомых», — и ему опять вспомнились клуб, портной, карты, свет... От Ставрополя зато все уже пошло удовлетворительно: дико и, сверх того, красиво и воинственно. И Оленину все становилось веселее и веселее. Все казаки, ямщики, смотрителя казались ему простыми существами, с которыми ему можно было просто шутить, беседовать, не соображая, кто к какому разряду принадлежит. Все принадлежали к роду человеческому, который был весь бессознательно мил Оленину, и все дружелюбно относились к нему.

Еще в Земле Войска Донского переменили сани на телегу; а за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна, — неожиданная, веселая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станиц и вечером говорили, что опасно. Ванюша стал потрушивать, и ружье заряженное лежало на перекладной. Оленин стал еще веселее. На одной станции смотритель рассказал недавно случившееся страшное убийство на дороге. Стали встречаться вооруженные люди. «Вот оно где начинается!» — говорил себе Оленин и все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Один раз, перед вечером, ногаец-ямщик плетью указал из-за туч на горы. Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно и облака до половины

застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и, как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и *любовь* к женщине, в которые он не верил, — и он перестал дожидаться гор. Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидал — шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту — чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же.

— Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика.

— А горы, — отвечал равнодушно ногаец.

— И я тоже давно на них смотрю, — сказал Ванюша, — вот хорошо-то! Дóма не поверят.

На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и *почувствовал* горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. «Теперь началось», — как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами, а горы... За Тереком виден дым в ауле,

а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке, а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые, а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье и сила, и молодость, а горы...

IV

Вся часть Терской линии, по которой расположены гребенские станицы, около восьмидесяти верст длины, носит на себе одинаковый характер и по местности, и по населению. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно, постоянно нанося сероватый песок на низкий, заросший камышом правый берег и подмывая обрывистый, хотя и не высокий левый берег с его корнями столетних дубов, гниющих чинар и молодого подроста. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы; вдоль по левому берегу, в полуверсте от воды, на расстоянии семи и восьми верст одна от другой, расположены станицы. В старину бо́льшая часть этих станиц были на самом берегу; но Терек, каждый год отклоняясь к северу от гор, подмыл их, и теперь видны только густо-заросшие старые городища, сады, груши, лычи и раины, переплетенные ежевичником и одичавшим виноградником. Никто уже не живет там, и только видны по песку следы оленей, бирюков[1], зайцев и фазанов, полюбивших эти места. От станицы до станицы идет дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки; между кордонами, на вышках, находятся часовые. Только узкая, саженей в триста, полоса лесистой плодородной земли составляет владения казаков. На север от них начинаются песчаные буруны Ногайской или Моздокской степи, идущей далеко на север и сливающейся бог знает где с Трухменскими, Астраханскими и Киргиз-Кайсацкими степями. На юг за Тереком — Большая Чечня, Кочкалыковский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет и наконец снежные горы, которые только видны, но в которых никто никогда еще не был. На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинствен-

[1] волков.

ное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там, во всей прежней чистоте, русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец-казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски. Несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака; на все же остальное смотрит с презрением. Казак бо́льшую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила, и тогда он *гуляет*. Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество.

На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния; девке только позволяет гулять, бабу же заставляет с молодости и до глубокой старости работать для себя, и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь и физически и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения больше чем на Западе влияние и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни и привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем больший вес и силу в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или праздно говорить с своею бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он смутно чувствует, что все, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда, и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своею холопкой, лишить его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской, тяжелый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большею частию и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешмет и чувяки; но платки завязывают по-русски. Щегольство, чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляют привычку и необходимость их жизни. В отношениях к мужчинам женщины, и особенно девки, пользуются совершенною свободой. Станица Новомлинская считалась корнем гребенского казачества. В ней, более чем в других, сохранились нравы старых гребенцов, и женщины этой станицы исстари славились своею красотой по всему Кавказу. Средства жизни казаков составляют виноградные и фруктовые сады, бахчи с арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посевы кукурузы и проса и военная добыча.

Новомлинская станица стоит в трех верстах от Терека, отделяясь от него густым лесом. С одной стороны дороги, проходящей через станицу, — река, с другой — зеленеют виноградные, фруктовые сады и виднеются песчаные буруны (наносные пески) Ногайской степи. Станица обнесена земляным валом и колючим терновником. Выезжают из станицы и въезжают в нее высокими на столбах воротами с небольшою крытою камышом крышкой, около которых стоит на деревянном лафете пушка, уродливая, сто лет не стрелявшая, когда-то отбитая казаками. Казак в форме, в шашке и ружье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у ворот; иногда делает, иногда не делает фрунт проходящему офицеру. Под крышкой ворот на белой дощечке черною краской написано: домов 266, мужеского пола душ 897, женского пола 1012. Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршин и более, опрятно покрыты камышом, с высокими князьками. Все — ежели не новы, то прямы, чисты, с разнообразными высокими крылечками и не прилеплены друг к другу, а просторно и живописно расположены широкими улицами и переулками. Перед светлыми, большими окнами многих домов, за огородками, поднимаются выше хат темно-зеленые раины, нежные светло-лиственные акации с белыми душистыми цветами, и тут же нагло блестящие желтые подсолнухи и вьющиеся лозы травянок и винограда. На широкой площади виднеются три лавочки с красным товаром, семечком, стручками и пряниками, и за высокой оградой, из-за ряда старых раин, виднеется, длиннее и выше всех других, дом полкового командира со створчатыми окнами. Народа, особенно летом, всегда мало виднеется в будни по улицам станицы. Казаки на службе: на кордонах и в походе; старики на охоте, рыбной ловле или с бабами на работе в садах и огородах. Только совсем старые, малые и больные остаются дома.

V

Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по доро-

гам, везде было пусто. Ежели редко-редко где покажутся верховые, то уже казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только зверь и птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с веселым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится пусто, как и во всей окрестности; но станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах, с хворостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и буйволицы разбредаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышен их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии, верхом, выпросившийся с кордона, подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки и слышатся улыбающиеся, ласковые речи. Там скуластый оборванный работник-ногаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу на чистом широком дворе есаула, и скидает ярмо с мотающих головами быков и перекликается по-татарски с хозяином. Около лужи, занимающей почти всю улицу и мимо которой столько лет проходят люди, с трудом лепясь по заборам, пробирается босая казачка с вязанкой дров за спиной, высоко поднимая рубаху над белыми ногами, и возвращающийся казак-охотник шутя кричит: «Выше подними, срамница», — и целится в нее, и казачка опускает рубаху и роняет дрова. Старик казак с засученными штанами и раскрытою седою грудью, возвращаясь с рыбной ловли, несет через плечо в *сапетке*[1] еще бьющихся серебристых шамаек и, чтоб ближе пройти, лезет через проломанный забор соседа и отдирает от забора зацепившийся зипун. Там баба тащит сухой сук, и слышатся удары топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. Изо всех

[1] наметке.

труб поднимается душистый дым кизяка. На каждом дворе слышится усиленная хлопотия, предшествующая тишине ночи.

Бабука Улитка, жена хоруижего и школьного учителя, так же как и другие, вышла к воротам своего двора и ожидает скотину, которую по улице гонит ее девка Марьянка. Она не успела еще отворить плетня, как громадная буйволица, провожаемая комарами, мыча проламывается сквозь ворота; за ней медленно идут сытые коровы, большими глазами признавая хозяйку и хвостом мерно хлеща себя по бокам. Стройная красавица Марьянка проходит в ворота и, бросая хворостину, закидывает плетень и со всех резвых ног бросается разбивать и загонять на дворе скотину. «Разуйся, чертова девка, — кричит мать, — чувяки-то[1] все истоптала»... Марьяна нисколько ие оскорбляется названием чертовой девкн и принимает эти слова за ласку и весело продолжает свое дело. Лицо Марьяны закрыто обвязанным платком; на ней розовая рубаха и зеленый бешмет. Она скрывается под навесом двора вслед за жирною крупною скотииой, и только слышится из клети ее голос, нежно уговаривающий буйволицу: «Не постоит! Эка ты! Ну тебя, ну матушка!..» Вскоре приходит девка с старухой из закуты в *избушку*[2], и обе несут два большие горшка молока — подой нынешнего дня. Из глиняной трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко переделывается в каймак; девка разжигает огонь, а старуха выходит к воротам. Сумерки охватили уже станицу. По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма кизяка. У ворот и по улицам везде перебегают казачки, несущие в руках зажженные тряпки. На дворе слышно пыхтенье и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни редко когда заслышится мужской пьяный голос.

Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина, с противоположного двора, подходит к бабуке Улитке просить огня; в руке у нее тряпка.

— Что, бабука, убрались? — говорит она.

— Девка топит. Аль огоньку надо? — говорит бабука Улитка, гордая тем, что может услужить.

[1] Чувяки — обувь.

[2] Избушкой у казаков иазывается иизенький холодиый срубец, где кипятится и сберегается молочный скоп.

Обе казачки идут в хату; грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют редкость на Кавказе. Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать.

— Что твой-то, мать, в школе? — спрашивает пришедшая.

— Все ребят учит, мать. Писал, к празднику будет,— говорит хорунжиха.

— Человек умный ведь; в пользу все.

— Известно, в пользу.

— А мой Лукаша на кордоне, а домой не пускают,— говорит пришедшая, несмотря на то, что хорунжиха давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу, которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, хорунжевой дочери.

— На кордоне и стоит?

— Стоит, мать. С праздника не бывал. Намедни с Фомушкиным рубахи послала. Говорит: ничего, начальство одобряет. У них, баит, опять абреков ищут. Лукаша, говорит, весел, ничего.

— Ну и слава богу,— говорит хорунжиха.— Урван — одно слово.

Лукашка прозван *Урваном* за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, *урвал*. И хорунжиха помянула про это, чтобы с своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери.

— Благодарю бога, мать, сын хороший; молодец, все одобряют, — говорит Лукашкина мать. — Только бы женить его, и померла бы спокойно.

— Что ж, девок мало ли по станице? — отвечает хитрая хорунжиха, корявыми руками старательно надевая крышку на коробочку со спичками.

— Много, мать, много, — замечает Лукашкина мать и качает головой. — Твоя девка, Марьянушка-то, твоя вот девка, так по полку поискать.

Хорунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому, что она — хорунжиха и богачка, а Лукашка — сын простого казака, сирота. Во-вторых, потому, что не хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же потому, что приличие того требует.

— Что ж, Марьянушка подрастет, также девка будет, — говорит она сдержанно и скромно.

— Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придем, — говорит Лукашкина мать. — Илье Васильевичу кланяться придем.

— Что Иляс! — гордо говорит хорунжиха: — со мной говорить надо. На все свое время.

Лукашкина мать по строгому лицу хорунжихи видит, что дальше говорить неудобно, зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит: — Не оставь, мать, попомни эти слова. Пойду, топить надо, — прибавляет она.

Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажженную тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей.

«Краля девка, работница девка, — думает она, глядя на красавицу. — Куда ей расти! Замуж пора, да в хороший дом, замуж за Лукашку».

У бабуки же Улитки своя забота, и она как сидела на пороге, так и остается, и о чем-то трудно думает, до тех пор пока девка не позвала ее.

VI

Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашка-*Урван,* про которого говорили старухи в станице, перед вечером, стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста. Нижне-Протоцкий пост — на самом берегу Терека. Облокотившись на перильцы вышки, он щурясь поглядывал то на даль за Тереком, то вниз на товарищей казаков и изредка заговаривал с ними. Солнце уже приближалось к снеговому хребту, белевшему над курчавыми облаками. Облака, волнуясь у его подошвы, принимали более и более темные тени. В воздухе разливалась вечерняя прозрачность. Из заросшего дикого леса тянуло свежестью, но около поста еще было жарко. Голоса разговаривавших казаков звучнее раздавались и стояли в воздухе. Коричневый быстрый Терек отчетливей отделялся от неподвижных берегов всею своею подвигающеюся массой. Он начинал сбывать, и кое-где мокрый песок бурел на берегах и на отмелях. Прямо против кордона, на том берегу, все было пусто; только низкие бесконечные и пустынные камыши тянулись до самых гор. Немного в стороне виднелись на низ-

ком берегу глиняные дома, плоские крыши и воронкообразные трубы чеченского аула. Зоркие глаза казака, стоявшего на вышке, следили в вечернем дыму мирного аула за движущимися фигурами издалека видневшихся чеченок в синих и красных одеждах.

Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения *абреков*[1] с татарской стороны, особенно в мае месяце, когда лес по Тереку так густ, что пешему трудно пролезть чрез него, а река так мелка, что кое-где можно переезжать ее в брод, и несмотря на то, что дня два тому назад *прибегал*[2] от полкового командира казак с *цыдулкой*[3], в которой значилось, что, по полученным чрез лазутчиков сведениям, партия в восемь человек намерена переправиться через Терек, и потому предписывается наблюдать особую осторожность, — на кордоне не соблюдалось особенной осторожности. Казаки, как дома, без оседланных лошадей, без оружия, занимались кто рыбною ловлей, кто пьянством, кто охотой. Только лошадь дежурного оседланная ходила в треноге по тернам около леса, и только часовой казак был в черкеске, ружье и шашке. Урядник, высокий худощавый казак, с чрезвычайно длинною спиной и маленькими ногами и руками, в одном расстегнутом бешмете сидел на завалине избы и с выражением начальнической лени и скуки, закрыв глаза, перевалировал голову с руки на руку. Пожилой казак с широкою, седоватою, черною бородой, в одной подпоясанной черным ремнем рубахе, лежал у самой воды и лениво смотрел на однообразный, бурливший и заворачивающий Терек. Другие, также измученные жаром, полураздетые, кто полоскал белье в Тереке, кто вязал уздечку, кто лежал на земле, мурлыкая песню, на горячем песке берега. Один из казаков с худым и черно-загорелым лицом, видимо мертвецки пьяный, лежал навзничь у одной из стен избы, часа два тому назад бывшей в тени, но на которую теперь прямо падали жгучие косые лучи.

Лукашка, стоявший на вышке, был высокий, красивый малый, лет двадцати, очень похожий на мать. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости,

[1] Абреком называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека.

[2] Прибегал — значит на казачьем наречье — приезжал верхом.

[3] Цидулой называется циркуляр, рассылаемый по постам.

выражали большую физическую и нравственную силу. Несмотря на то, что он недавно был *собран* в строевые, по широкому выражению его лица и спокойной уверенности позы видно было, что он уже успел принять свойственную казакам и вообще людям, постоянно носящим оружие, воинственную и несколько гордую осанку, что он казак и знает себе цену не ниже настоящей. Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад по-чеченски, ноговицы спущены ниже колен. Одежа его была небогатая, но она сидела на нем с тою особою казацкою щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборвано, небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Лукашка имел этот вид джигита. Заложив руки за шашку и щуря глаза, он все вглядывался в дальний аул. Порознь черты лица его были нехороши, но, взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы: «Молодец малый!»

— Баб-то, баб-то в ауле что высыпало! — сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и не обращаясь ни к кому в особенности.

Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил:

— За водой, должно, идут.

— Из ружья бы пугнуть, — сказал Лукашка, посмеиваясь, — то-то бы переполошились!

— Не донесет.

— Вона! Мое через перенесет. Вот дай срок, их праздник будет, пойду к Гирей-хану в гости, бузу[1] пить, — сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров.

Шорох в чаще обратил внимание казаков. Пестрый лягавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбегал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа охотника, дяди Ерошки, и вслед за ней разглядел в чаще подвигавшуюся фигуру самого охотника.

Дядя Ерошка был огромного роста казак, с седою

---

[1] Татарское пиво из пшена.

как лунь широкою бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким: так соразмерны были все его сильные члены. На нем был оборванный подоткнутый зипун, на ногах обвязанные веревочками по онучам оленьи *поршни*[1] и растрепанная белая шапчонка. За спиной он нес чрез одно плечо *кобылку*[2] и мешок с курочкой и копчиком для приманки ястреба; чрез другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку; на спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтоб отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножнами, испачканными старою кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился.

— Гей, Лям! — крикнул он на собаку таким заливистым басом, что далеко в лесу отозвалось эхо, и, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков *флинтой,* приподнял шапку.

— Здорово дневали, добрые люди! Гей! — обратился он к казакам тем же сильным и веселым голосом, без всякого усилия, но так громко, как будто кричал комунибудь на другую сторону реки.

— Здорово, дядя! Здорово! — весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков.

— Что́ видали? Сказывай! — прокричал дядя Ерошка, отирая рукавом черкески пот с красного широкого лица.

— Слышь, дядя! Какой ястреб во́-тут на чинаре живет! Как вечер, так и вьется, — сказал Назарка, подмигивая глазом и подергивая плечом и ногою.

— Ну, ты! — недоверчиво сказал старик.

— Право, дядя, ты *посиди*[3], — подтвердил Назарка, посмеиваясь.

Казаки засмеялись.

Шутник не видал никакого ястреба; но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерошку всякий раз, как он приходил к ним.

— Э, дурак, только брехать! — проговорил Лукашка с вышки на Назарку.

---

[1] Обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченная.

[2] Орудие для того, чтоб подкрадываться под фазанов.

[3] Посидеть — значит караулить зверя.

Назарка тотчас же замолк.

— Надо *посидеть. Посижу,*— отозвался старик к великому удовольствию всех казаков.— А свиней видали?

— Легко ли! Свиней смотреть! — сказал урядник, очень довольный случаю развлечься, переваливаясь и обеими руками почесывая свою длинную спину. — Тут абреков ловить, а не свиней надо. Ты ничего не слыхал, дядя, а? — прибавил он, без причины щурясь и открывая белые сплошные зубы.

— Абреков-то? — проговорил старик;— не, не слыхал. А что чихирь есть? Дай испить, добрый человек. Измаялся, право. Я тебе, вот дай срок, свежинки принесу, право, принесу. Поднеси, — прибавил он.

— Ты что ж *посидеть,* что ли, хочешь? — спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот.

— Хотел ночку *посидеть,* — отвечал дядя Ерошка: — може к празднику и даст бог, *замордую* что; тогда и тебе дам, право!

— Дядя! Ау! Дядя! — резко крикнул сверху Лука, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку. — Ты к верхнему протоку сходи, там табун важный ходит. Я не вру. Пра! Намеднись наш казак одного стрелил. Правду говорю, — прибавил он, поправляя за спиной винтовку и таким голосом, что видно было, что он не смеется.

— Э, Лукашка-Урван здесь! — сказал старик, взглядывая кверху. — Кое место стрелил?

— А ты и не видал! Маленький видно, — сказал Лукашка. — У самой у канавы, дядя, — прибавил он серьезно, встряхивая головой. — Шли мы так-то по канаве, как он затрещит, а у меня ружье в чехле было. Иляска как *лопнет...*[1] Да я тебе покажу, дядя, кое место, — недалече. Вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Мосев! — прибавил он решительно и почти повелительно уряднику: — пора сменять! — и, подобрав ружье, не дожидаясь приказания, стал сходить с вышки.

— Сходи! — сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг себя. — Твои часы, что ли, Гурка? Иди! И то ловок стал Лукашка твой, — прибавил урядник, обращаясь к старику. — Все как ты ходит, дома не посидит; намедни убил одного.

---

[1] Лопнет — выстрелит на казачьем языке.

VII

Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. Казаки кончили свои занятия около кордона и собрались к ужину в избу. Только старик, все еще ожидая ястреба и подергивая привязанного за ногу копчика, оставался под чинарой. Ястреб сидел на дереве, но не спускался на курочку. Лукашка неторопливо улаживал в самой чаще тернов, на фазаньей тропке, петли для ловли фазанов и пел одну песню за другою. Несмотря на высокий рост и большие руки, видно было, что всякая работа, крупная и мелкая, спорилась в руках Лукашки.

— Гей, Лука! — послышался ему недалеко из чащи пронзительно-звучный голос Назарки.— Казаки ужинать пошли.

Назарка с живым фазаном под мышкой, продираясь через терны, вылез на тропинку.

— О! — сказал Лукашка замолкая, — где петуха-то взял? Должно мой пружок...[1]

Назарка был одних лет с Лукашкой и тоже с весны только поступил в строевые.

Он был малый некрасивый, худенький, мозглявый, с визгливым голосом, который так и звенел в ушах. Они были соседи и товарищи с Лукою. Лукашка сидел по-татарски на траве и улаживал петли.

— Не знаю чей. Должно твой.

— За ямой, что ль, у чинары? Мой и есть, вчера постановил.

Лукашка встал и посмотрел пойманного фазана. Погладив рукой по темно-сизой голове, которую петух испуганно вытягивал, закатывая глаза, он взял его в руки.

— Нынче пилав сделаем; ты поди зарежь да ощипи.

— Что ж, сами съедим, или уряднику отдать?

— Будет с него.

— Боюсь я их резать, — сказал Назарка.

— Давай сюда.

Лукашка достал ножичек из-под кинжала и быстро дернул им. Петух встрепенулся, но не успел расправить крылья, как уже окровавленная голова загнулась и забилась.

— Вот так-то делай! — проговорил Лукашка, бросая петуха. — Жирный пилав будет.

[1] Силки, которые ставят для ловли фазанов.

Назарка вздрогнул, глядя на петуха.

— А слышь, Лука, опять нас в *секрет* пошлет черт-то, — прибавил он, поднимая фазана и под чертом разумея урядника. — Фомушкина за чихирем услал, его черед был. Котору ночь ходим! Только на нас и выезжает.

Лукашка посвистывая пошел по кордону.

— Захвати бечевку-то! — крикнул он.

Назарка повиновался.

— Я ему нынче скажу, право, скажу, — продолжал Назарка. — Скажем: не пойдем, измучились, да и все тут. Скажи, право, он тебя послушает. А то что это!

— Вó нашел о чем толковать! — сказал Лукашка, видимо думая о другом, — дряни-то! Добро бы из станицы на ночь выгонял, обидно бы было. Там погуляешь, а тут что? Что на кордоне, что в секрете, все одно. Эка ты!..

— А в станицу придешь?

— На праздник пойду.

— Сказывал Гурка, твоя Дунайка с Фомушкиным гуляет, — вдруг сказал Назарка.

— А черт с ней! — отвечал Лукашка, оскаливая сплошные белые зубы, но не смеясь. — Разве я другой не найду.

— Как сказывал Гурка-то: пришел, говорит, он к ней, а мужа нет. Фомушкин сидит, пирог ест. Он посидел, да и пошел; под окном, слышит, она и говорит: «Ушел черт-то. Что, родной, пирожка не ешь? А спать, говорит, домой не ходи». А он и говорит из-под окна: «Славно».

— Врешь!

— Право, ей-богу.

Лукашка помолчал.

— А другого нашла, черт с ней: девок мало ли. Она мне и то постыла.

— Вот ты черт какой! — сказал Назарка. — Ты бы к Марьянке хорунжиной подъехал. Что она ни с кем не гуляет?

Лукашка нахмурился.

— Что Марьянка! Все одно! — сказал он.

— Да вот сунься-ка...

— А ты что думаешь? Да мало ли их по станице?

И Лукашка опять засвистал и пошел к кордону, обрывая листья с сучьев. Проходя по кустам, он вдруг

остановился, заметив гладкое деревцо, вынул из-под кинжала ножик и вырезал.

— То-то шомпол будет, — сказал он, свистя в воздухе прутом.

Казаки сидели за ужином в мазаных сенях кордона, на земляном полу, вокруг низкого татарского столика, когда речь зашла о череде в *секрет*.

— Кому ж нынче идти? — крикнул один из казаков, обращаясь к уряднику в отворенную дверь хаты.

— Да кому идти? — отозвался урядник. — Дядя Бурлак ходил, Фомушкин ходил, — сказал он не совсем уверенно. — Идите вы, что ли? Ты да Назар, — обратился он к Луке, — да Ергушов пойдет; авось проспался.

— Ты-то не просыпаешься, так ему как же! — сказал Назарка вполголоса.

Казаки засмеялись.

Ергушов был тот самый казак, который пьяный спал у избы. Он только что, протирая глаза, ввалился в сени.

Лукашка в это время, встав, справлял ружье.

— Да скорей идите; поужинайте и идите, — сказал урядник. И, не ожидая выражения согласия, урядник затворил дверь, видимо мало надеясь на послушание казаков. — Кабы не приказано было, я бы не послал, а то, гляди, сотник набежит. И то, говорят, восемь человек абреков переправилось.

— Что ж, идти надо, — говорил Ергушов, — порядок! Нельзя, время такое. Я говорю, идти надо.

Лукашка между тем, держа обеими руками передо ртом большой кусок фазана и поглядывая то на урядника, то на Назарку, казалось, был совершенно равнодушен к тому, что́ происходило, и смеялся над обоими. Казаки еще не успели убраться в секрет, когда дядя Ерошка, до ночи напрасно просидевший под чинарой, вошел в темные сени.

— Ну, ребята, — загудел в низких сенях его бас, покрывавший все голоса, — вот и я с вами пойду. Вы на чеченцев, а я на свиней *сидеть* буду.

VIII

Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с кордона, в бурках и с ружьями за плечами, прошли вдоль по Тереку на место, назначенное для секрета. Назарка вовсе не хотел идти, но Лука крикнул на

него, и они живо собрались. Пройдя молча несколько шагов, казаки свернули с канавы и по чуть заметной тропинке в камышах подошли к Тереку. У берега лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш вокруг бревна был свежо примят.

— Здесь что ль *сидеть?* — сказал Назарка.

— А то чего ж? — сказал Лукашка. — Садись здесь, а я живо приду, только дяде укажу.

— Самое тут хорошее место: нас не видать, а нам видно, — сказал Ергушов, — тут и сидеть; самое первое место.

Назарка с Ергушовым, разостлав бурки, расположились за бревном, а Лукашка пошел дальше с дядей Ерошкой.

— Вот тут недалече, дядя, — сказал Лукашка, неслышно ступая вперед старика, — я укажу, где прошли. Я, брат, один знаю.

— Укажь; ты молодец, Урван, — так же шепотом отвечал старик.

Пройдя несколько шагов, Лукашка остановился, нагнулся над лужицей и свистнул. — Вот где пить прошли, видишь, что ль? — чуть слышно сказал он, указывая на свежий след.

— Спаси тебя Христос, — отвечал старик, — *карга* за канавой в *котлубани*[1] будет, — прибавил он. — Я посижу, а ты ступай.

Лукашка вскинул выше бурку и один пошел назад по берегу, быстро поглядывая то налево на стену камышей, то на Терек, бурливший подле под берегом. «Ведь тоже караулит или ползет где-нибудь», — подумал он про чеченца. Вдруг сильный шорох и плесканье в воде заставили его вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под берега, отдуваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновенье от глянцевитой поверхности воды, скрылась в камышах. Лука быстро выхватил ружье, приложился, но не успел выстрелить; кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостановился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошел к товарищам.

---

[1] Котлубанью называется яма, иногда просто лужа, в которой мажется кабан, натирая себе «калган», толстую хрящеватую шкуру.

Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке.

— Как сидеть весело, право, место хорошее,— сказал он. — Проводил?

— Указал, — отвечал Лукашка, расстилая бурку. — А сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул. Должно, тот самый! Ты небось слышал, как затрещал?

— Слышал, как затрещал зверь, я сейчас узнал, что зверь. Так и думаю: Лукашка зверя спугнул, — сказал Ергушов, завертываясь в бурку. — Я теперь засну,— прибавил он, — ты разбуди после петухов; потому, порядок надо. Я засну, поспим; а там ты заснешь, я посижу... Так-то.

— Я и спать, спасибо, не хочу, — ответил Лукашка.

Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды; другая и бо́льшая часть неба, от гор, была заволочена одною большою тучей. Черная туча, сливаясь с горами, без ветра, медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся Терек и даль; сзади и с боков его окружала стена камышей. Камыши изредка, как будто без причины, начинали колебаться и шуршать друг о друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями дерев на светлом краю неба. У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше глянцевитая движущаяся масса коричневой воды однообразно рябила около отмелей и берега. Еще дальше, — и вода, и берег, и туча, все сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги. Только изредка зарница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного отлогого берега. Равномерные ночные звуки, шуршанье камышин, храпенье казаков, жужжанье комаров и теченье воды прерывались изредка то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому, заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самою головой казаков она поворотила к лесу и, подлетая к де-

реву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух не спавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились и он неторопливо ощупывал винтовку.

Прошла бóльшая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку на шомпол. В голове его бродили мысли о том, как там в горах живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут переправиться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не было видно. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделявшийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и идти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его *душенька,* как называют казаки любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра: серебристый туман забелел над водой, и молодые орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями. Наконец вскрик первого петуха донесся далеко из станицы, вслед затем другой протяжный петушиный крик, на который отозвались другие голоса.

«Пора будить», — подумал Лукашка, кончив шомпол и почувствовав, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги; но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне Терека, и он еще раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега, на Терек и на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем карчи. Ему показалось, что он движется, а Терек с карчами неподвижен; но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая черная карча с суком особенно обратила его внимание. Как-то странно, не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта карча по самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по течению, а перебивала Терек на отмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Карча подплыла к

мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под карчи. «Вот как абрека один убью!» — подумал он, схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, положил на них ружье, неслышно, придержав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться, все всматриваясь. «Будить не стану», — думал он. Однако сердце застучало у него в груди так сильно, что он остановился и прислушался. Карча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду, к нашему берегу. «Не пропустить бы!» — подумал он, и вот, при слабом свете месяца ему мелькнула татарская голова впереди карчи. Он навел ружьем прямо на голову. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул через. «Он и есть, абрек», — подумал он радостно и, вдруг порывисто вскочив на колени, снова повел ружьем, высмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и, по казачьей, с детства усвоенной привычке, проговорив: «Отцу и сыну», пожал шишечку спуска. Блеснувшая молния на мгновенье осветила камыши и воду. Резкий, отрывистый звук выстрела разнесся по реке и где-то далеко перешел в грохот. Карча уже поплыла не поперек реки, а вниз по теченью, крутясь и колыхаясь.

— Держи, я говорю! — закричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана.

— Молчи, черт! — стиснув зубы, прошептал на него Лука. — Абреки!

— Кого стрелил? — спрашивал Назарка. — Кого стрелил, Лукашка?

Лукашка ничего не отвечал. Он заряжал ружье и следил за уплывающею карчой. Неподалеку остановилась она на отмели, и из-за нее показалось что-то большое, покачиваясь на воде.

— Чего стрелил? Что не сказываешь? — повторили казаки.

— Абреки! — сказывают тебе, — повторил Лука.

— Будет брехать-то! Али так вышло ружье-то?

— Абрека убил! Вот что стрелил! — проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги. — Человек плыл... — сказал он, указывая на отмель. — Я его убил. Глянь-ка сюда.

— Будет врать-то, — повторял Ергушов, протирая глаза.

— Чего будет? Вот гляди! Гляди сюда, — сказал Лукашка, схватывая его за плеча и пригибая к себе с такою силой, что Ергушов охнул.

Ергушов посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменил тон.

— Эна! Я тебе говорю, другие, будут, верно тебе говорю, — сказал он тихо и стал осматривать ружье. — Это передовой плыл; либо уж здесь, либо недалече на той стороне; я тебе верно говорю.

Лукашка распоясался и стал скидывать черкеску.

— Куда ты, дурак? — крикнул Ергушов. — Сунься только, ни за что пропадешь, я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдет. Дай натруску порошку подсыпать. У тебя есть? Назар! ты ступай живо на кордон, да не по берегу ходи; убьют, верно говорю.

— Так я один и пошел! Ступай сам, — сказал сердито Назарка.

Лукашка, сняв черкеску, подошел к берегу.

— Не лазяй, говорят, — проговорил Ергушов, подсыпая порох на полку ружья. — Вишь не шелохнется, уж я вижу. До утра недалече, дай с кордона прибегут. Ступай, Назар. Эка робеешь! Не робей, я говорю.

— Лука, а Лука! — говорит Назарка, — да ты скажи, как убил.

Лука раздумал тотчас же лезть в воду.

— Ступайте на кордон живо, а я посижу. Да казакам велите в разъезд послать. Коли на этой стороне... ловить надо!

— Я говорю, уйдут, — сказал Ергушов, поднимаясь, — ловить надо, верно.

И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломясь через терны и пролезая на лесную дорожку.

— Ну, смотри, Лука, не шелохнись, — проговорил Ергушов, — а то тоже здесь срежут тебя. Ты, смотри, не зевай, я говорю.

— Иди, знаю, — проговорил Лука и, осмотрев ружье, сел опять за чурбан.

Лукашка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слыхать ли казаков; но до кордона было далеко, а его мучило нетерпенье; он так и думал, что вот уйдут те абреки, которые шли с убитым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на абреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг

себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидать еще человека, и, приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило.

IX

Уже начинало светать. Все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмели, было теперь ясно видно. Вдруг невдалеке от казака затрещал камыш, послышались шаги и зашевелились махалки камыша. Казак взвел на второй взвод и проговорил: «Отцу и сыну». Вслед за щелканьем курка шаги затихли.

— Гей, казаки! Дядю не убей,— послышался спокойный бас, и, раздвигая камыши, дядя Ерошка вплоть подошел к нему.

— Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу! — сказал Лукашка.

— Что стрелил? — спросил старик.

Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшую казака. Как будто вдруг светлей и видней стало.

— Ты вот ничего не видал, дядя, а я убил зверя,— сказал Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно.

Старик, уже не спуская с глаз, смотрел на ясно теперь белевшуюся спину, около которой рябил Терек.

— С карчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как... Глянь-ко сюда! Во! В портках синих, ружье никак... Видишь, что ль? — говорил Лука.

— Чего не видать! — с сердцем сказал старик, и что-то серьезное и строгое выразилось в лице старика.— Джигита убил,— сказал он как будто с сожалением.

— Сидел так-то я, гляжу, что чернеет с той стороны? Я еще там его высмотрел, точно человек подошел и упал. Что за диво! А карча, здоровая карча плывет, да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под нее голова показывает. Что за чудо? Повел я, из камыша-то мне и не видно; привстал, а он услыхал, верно, бестия, да на отмель и выполз, оглядывает. Врешь, думаю, не уйдешь. Только выполз, оглядывает. (Ох, глотку завалило чем-то!) Я ружье изготовил, не шелохнусь, выжидаю. Постоял, постоял, опять и поплыл, да как наплыл на месяц-то, так аж спина видна.

«Отцу и сыну и святому духу». Глядь из-за дыма, а он и барахтается. Застонал али почудилось мне. Ну, слава тебе, господи, думаю, убил! А как на отмель вынесло, все наружу стало, хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лег. Чисто, все видать. Вишь, не шелохнется, должно издох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли!

— Так и поймал! — сказал старик — Далече, брат, теперь... — И он опять печально покачал головою. В это время пешие и конные казаки с громким говором и треском сучьев послышались по берегу. — Ведут каюк, что ли? — крикнул Лука. — Молодец, Лука! тащи на берег! — кричал один из казаков.

Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи.

— Погоди, каюк Назарка ведет, — кричал урядник.

— Дурак! Живой, может! Притворился! Кинжал возьми, — прокричал другой казак.

— Толкуй! — крикнул Лука, скидывая портки. Он живо разделся, перекрестился, и, подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, обмакнулся и, вразмашку кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперек течения, стал перебивать Терек к отмели. Толпа казаков звонко, в несколько голосов, говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два. — Как есть мертвый! — прокричал оттуда резкий голос Луки.

Чеченец был убит в голову. На нем были синие портки, рубаха, черкеска, ружье и кинжал, привязанные на спину. Сверх всего был привязан большой сук, который и обманул сначала Лукашку.

— Вот так сазан попался! — сказал один из собравшихся кружком казаков, в то время как вытащенное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег.

— Да и желтый же какой! — сказал другой.

— Где искать поехали наши? Они небось все на той стороне. Кабы не передовой был, так не так бы плыл. Одному зачем плыть? — сказал третий.

— То-то ловкий должно, вперед всех выискался. Самый видно джигит! — насмешливо сказал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно вздрагивая. — Борода крашена, подстрижена.

— И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от нее, — сказал кто-то.

— Слышь, Лукашка! — сказал урядник, державший в руках кинжал и ружье, снятые с убитого. — Ты кинжал себе возьми и зипун возьми, а за ружье, приди, я тебе три *монета* дам. Вишь, оно и с свищем, — прибавил он, пуская дух в дуло, — так мне на память лестно.

Лукашка ничего не ответил: ему видимо досадно было это попрошайничество; но он знал, что этого не миновать.

— Вишь, черт какой! — сказал он, хмурясь и бросая наземь чеченский зипун, — хошь бы зипун хороший был, а то байгуш.

— Годится за дровами ходить, — сказал другой казак.

— Мосев! я домой схожу, — сказал Лукашка, видимо уж забыв свою досаду и желая употребить в пользу подарок начальнику.

— Иди, что ж!

— Оттащи его за кордон, ребята, — обратился урядник к казакам, все осматривая ружье. — Да шалашик от солнца над ним сделать надо. Може из гор выкупать будут.

— Еще не жарко, — сказал кто-то.

— А чакалка изорвет? Это разве хорошо? — заметил один из казаков.

— Караул поставим, а то выкупать придут: нехорошо, коли порвет.

— Ну, Лукашка, как хочешь; ведро ребятам поставишь, — прибавил урядник весело.

— Уж как водится, — подхватили казаки. — Вишь, счастье бог дал, ничего не видамши, абрека убил.

— Покупай кинжал и зипун. Давай денег больше. И портки продам. Бог с тобой, — говорил Лука. — Мне не налезут; поджарый черт был.

Один казак купил зипун за *монет*. За кинжал дал другой два ведра.

— Пей, ребята, ведро ставлю, — сказал Лука, — сам из станицы привезу.

— А портки девкам на платки изрежь, — сказал Назарка. Казаки загрохотали.

— Будет вам смеяться, — повторил урядник, — оттащи тело-то. Что пакость такую у избы положили...

— Что стали? Тащи его сюда, ребята! — повелительно крикнул Лукашка казакам, которые неохотно брались за тело, и казаки исполнили его приказание, точно он был начальник. Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые, безжизненно вздрогнув, опустились, и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого.

— Вишь, заметку какую сделал! В самые мозги, — проговорил он, — не пропадет, хозяева узнают.

Никто ничего не ответил, и снова тихий ангел пролетел над казаками.

Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Терек бурлил неподалеку в проснувшемся лесу; встречая утро, со всех сторон перекликались фазаны. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо, вдоль ребер. Синеватая свеже-выбритая круглая голова с запекшеюся раной сбоку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклянно-открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх, казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная, тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены красным. Лукашка все еще не одевался. Он был мокр, шея его была краснее, и глаза его блестели больше обыкновенного; широкие скулы вздрагивали; от белого, здорового тела шел чуть заметный пар на утреннем свежем воздухе.

— Тоже человек был! — проговорил он, видимо любуясь мертвецом.

— Да, попался бы ему, спуска бы не дал, — отозвался один из казаков.

Тихий ангел отлетел. Казаки зашевелились, заговорили. Двое пошли рубить кусты для шалаша. Другие побрели к кордону. Лука с Назаркой побежали собираться в станицу.

Спустя полчаса через густой лес, отделявший Терек

от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой, не переставая разговаривать.

— Ты ей не сказывай, смотри, что я прислал; а поди посмотри, муж дома, что ли? — говорил Лука резким голосом.

— А я к Ямке зайду. Погуляем, что ль? — спрашивал покорный Назар.

— Уж когда же гулять-то, что не ныне, — отвечал Лука.

Придя в станицу, казаки выпили и завалились спать до вечера.

X

На третий день после описанного события две роты кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Фурштаты забивали колья для коновязи. Квартирьеры, как домашние люди, сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам. Тут были зеленые ящики, выстроенные во фрунт. Тут были артельные повозки и лошади. Тут были котлы, в которых варилась каша. Тут были и капитан, и поручик, и Онисим Михайлович, фельдфебель. И находилось все это в той самой станице, где, слышно было, приказано стоять ротам; следовательно, роты были дома. Зачем стоять тут? Кто такие это казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них? Раскольники они или нет? До этого нет дела. Распущенные от расчета, изнуренные и запыленные солдаты, шумно и беспорядочно, как усаживающийся рой, рассыпаются по площадям и улицам; решительно не замечая нерасположения казаков, по двое, по трое, с веселым говором и позвякивая ружьями, входят в хаты, развешивают амуницию, разбирают мешочки и пошучивают с бабами. К любимому солдатскому месту, к каше, собирается большая группа, и с трубочками в зубах солдатики, поглядывая то на дым, незаметно подымающийся в жаркое небо и сгущающийся в вышине, как белое облако, то на огонь костра, как расплавленное стекло дрожащий в чистом воздухе, острят и потешаются над казаками и казачками за то, что они живут совсем не так, как русские. По всем дворам виднеются солдаты, и

слышен их хохот, слышны ожесточенные и пронзительные крики казачек, защищающих свои дома, не дающих воды и посуды. Мальчишки и девчонки, прижимаясь к матерям и друг к другу, с испуганным удивлением следят за всеми движениями невиданных еще ими армейских и на почтительном расстоянии бегают за ними. Старые казаки выходят из хат, садятся на завалинках и мрачно и молчаливо смотрят на хлопотню солдат, как будто махнув рукой на все и не понимая, что из этого может выйти.

Оленину, который уже три месяца как был зачислен юнкером в кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице, у хорунжего Ильи Васильевича, то есть у бабуки Улиты.

— Что это будет такое, Дмитрий Андреевич? — говорил запыхавшийся Ванюша Оленину, который верхом, в черкеске, на купленном в Грозной кабардинце весело после пятичасового перехода въезжал на двор отведенной квартиры.

— А что, Иван Васильич? — спросил он, подбадривая лошадь и весело глядя на вспотевшего, со спутанными волосами и расстроенным лицом, Ванюшу, который приехал с обозом и разбирал вещи.

Оленин на вид казался совсем другим человеком. Вместо бритых скул, у него были молодые усы и бородка. Вместо истасканного ночною жизнью желтоватого лица, — на щеках, на лбу, за ушами был красный, здоровый загар. Вместо чистого, нового черного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкеска и оружие. Вместо свежих крахмальных воротничков — красный ворот канаусового бешмета, который стягивал загорелую шею. Он был одет по-черкесски, но плохо; всякий узнал бы в нем русского, а не джигита. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством.

— Вам вот смешно, — сказал Ванюша, — а вы подите-ка сами поговорите с этим народом: не дают тебе хода, да и шабаш. Слова, так и того не добьешься. — Ванюша сердито бросил к порогу железное ведро. — Не русские какие-то.

— Да ты бы станичного начальника спросил.

— Да ведь я их местоположения не знаю, — обиженно отвечал Ванюша.

— Кто ж тебя так обижает? — спросил Оленин, оглядываясь кругом.

— Черт их знает! Тьфу! Хозяина настоящего нету, на какую-то *кригу*[1], говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что упаси господи, — отвечал Ванюша, хватаясь за голову. — Как тут жить будет, я уж не знаю. Хуже татар, ей-богу. Даром что тоже христиане считаются. На что татарин, и тот благороднeй. «На кригу пошел»! Какую кригу выдумали, неизвестно! — заключил Ванюша и отвернулся.

— Что, не так, как у нас на дворне? — сказал Оленин, подтрунивая и не слезая с лошади.

— Лошадь-то пожалуйте, — сказал Ванюша, видимо озадаченный новым для него порядком, но покоряясь своей судьбе.

— Так татарин благородней? а, Ванюша? — повторил Оленин, слезая с лошади и хлопая по седлу.

— Да, вот вы смейтесь тут! Вам смешно, — проговорил Ванюша сердитым голосом.

— Постой, не сердись, Иван Васильич, — отвечал Оленин, продолжая улыбаться. — Дай вот я пойду к хозяевам, посмотри, все улажу. Еще как заживем славно! Ты не волнуйся только.

Ванюша не отвечал, а только, прищурив глаза, презрительно посмотрел вслед барину и покачал головой. Ванюша смотрел на Оленина только как на барина. Оленин смотрел на Ванюшу только как на слугу. И они оба очень удивились бы, ежели бы кто-нибудь сказал им, что они друзья. А они были друзья, сами того не зная. Ванюша был взят в дом одиннадцатилетним мальчиком, когда и Оленину было столько же. Когда Оленину было пятнадцать лет, он одно время занимался обучением Ванюши и выучил его читать по-французски, чем Ванюша премного гордился. И теперь Ванюша, в минуты хорошего расположения духа, отпускал французские слова и при этом всегда глупо смеялся.

Оленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Марьянка в одной розовой рубахе, как обыкновенно дома ходят казачки, испуганно отскочила от двери и, прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом татарской рубахи. Отворив дальше дверь, Оленин увидал в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные

[1] Кригой называется место у берега, огороженное плетнем для ловли рыбы.

и девственные формы, обозначившиеся под тонкою ситцевою рубахой, и прекрасные черные глаза, с детским ужасом и диким любопытством устремленные на него. «Вот она! — подумал Оленин. — Да еще много таких будет», — вслед за тем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь в хату. Старая бабука Улитка, также в одной рубахе, согнувшись, задом к нему, выметала пол.

— Здравствуй, матушка! Вот я о квартире пришел... — начал он.

Казачка, не разгибаясь, обернула к нему строгое, но еще красивое лицо.

— Что пришел? Насмеяться хочешь? А? Я те насмеюсь! Черная на тебя немочь! — закричала она, искоса глядя на пришедшего из-под насупленных бровей.

Оленин сначала думал, что изнуренное храброе кавказское воинство, которого он был членом, будет принято везде, особенно казаками, товарищами по войне, с радостью, и потому такой прием озадачил его. Не смущаясь, однако, он хотел объяснить, что он намерен платить за квартиру, но старуха не дала договорить ему.

— Чего пришел? Каку надо болячку? Скобленое твое рыло! Вот дай срок, хозяин придет, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли, не видали! Табачищем дом загадит, да деньгами платить хочет. Эку болячку не видали! Расстрели тебе в животы сердце!.. — пронзительно кричала она, перебивая Оленина.

«Видно, Ванюша прав! — подумал Оленин. — Татарин благороднее», — и, провожаемый бранью бабуки Улитки, вышел из хаты. В то время как он выходил, Марьяна, как была в одной розовой рубахе, но уже до самых глаз повязанная белым платком, неожиданно шмыгнула мимо его из сеней. Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты.

Твердая, молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения красавицы еще сильнее поразили теперь Оленина. «Должно быть, она», — подумал он. И еще менее думая о квартире и все оглядываясь на Марьянку, он подошел к Ванюше.

— Вишь, и девка такая же дикая! — сказал Ванюша,

еще возившийся у повозки, но несколько развеселившийся, — ровно кобылка табунная. *Лафам!* [1] — прибавил он громким и торжественным голосом и захохотал.

XI

К вечеру хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требованиям Ванюши.

На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за три *монета* в месяц отдали холодную хату. Оленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закурив папироску, сел у окна, выходившего на улицу. Жар свалил. Косая тень хаты с вырезным князьком стлалась через пыльную улицу, загибаясь даже на низу другого дома. Камышовая крутая крыша противоположного дома блестела в лучах спускающегося солнца. Воздух свежел. В станице было тихо. Солдаты разместились и попритихли. Стадо еще не прогоняли, и народ еще не возвращался с работ.

Квартира Оленина была почти на краю станицы. Изредка где-то далеко за Тереком, в тех местах, из которых пришел Оленин, раздавались глухие выстрелы, — в Чечне или на Кумыцкой плоскости. Оленину было очень хорошо после трехмесячной бивачной жизни. На умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле — непривычную после похода чистоту, во всех отдохнувших членах — спокойствие и силу. В душе у него тоже было свежо и ясно. Он вспоминал поход, миновавшую опасность. Вспоминал, что в опасности он вел себя хорошо, что он не хуже других, и принят в товарищество храбрых кавказцев. Московские воспоминания уж были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок. Он мог здесь, как новый человек между новыми людьми, заслужить новое хорошее о себе мнение. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая то в окно на мальчишек, гонявших кубари в тени около дома, то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он приятно устроится в этой новой для него станичной жизни. Посматри-

[1] Женщина! (от *фр.* la femme).

вал он еще на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам примешивалось строгое чувство величавой природы. Жизнь его началась не так, как он ожидал, уезжая из Москвы, но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чуялись во всем, что он думал и чувствовал.

— Сучку поцеловал! кувшин облизал! дядя Ерошка сучку поцеловал! — закричали вдруг казачата, гонявшие кубари под окном, обращаясь к проулку. — Сучку поцеловал! Кинжал пропил! — кричали мальчишки, теснясь и отступая.

Крики эти обращались к дяде Ерошке, который с ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты.

— Мой грех, ребята! мой грех! — приговаривал он, бойко размахивая руками и поглядывая в окна хат по обе стороны улицы. — Сучку пропил, мой грех! — повторил он, видимо сердясь, но притворяясь, что ему все равно.

Оленина удивило обращение мальчишек с старым охотником, а еще более поразило выразительное умное лицо и сила сложения человека, которого называли дядей Ерошкой.

— Дедушка! казак! — обратился он к нему. — Подойди-ка сюда.

Старик взглянул в окно и остановился.

— Здравствуй, добрый человек, — сказал он, приподнимая над коротко обстриженною головой свою шапочку.

— Здравствуй, добрый человек, — отвечал Оленин.— Что это тебе мальчишки кричат?

Дядя Ерошка подошел к окну.

— А дразнят меня, старика. Это ничего. Я люблю. Пускай радуются над дядей, — сказал он с теми твердыми и певучими интонациями, с которыми говорят старые и почтенные люди. — Ты начальник армейских, что ли?

— Нет, я юнкер. А где это фазанов убил? — спросил Оленин.

— В лесу три курочки замордовал, — отвечал старик, поворачивая к окну свою широкую спину, на которой заткнутые головками за поясом, пятная кровью черкеску, висели три фазанки. — Али ты не видывал? — спросил он. — Коли хочешь, возьми себе парочку. На! — И он подал в окно двух фазанов. — А что, ты охотник? — спросил он.

— Охотник. Я в походе сам убил четырех.

— Четырех? Много! — насмешливо сказал старик. — А пьяница ты? Чихирь пьешь?

— Отчего ж? и выпить люблю.

— Э, да ты я вижу молодец! Мы с тобой кунаки будем, — сказал дядя Ерошка.

— Заходи,— сказал Оленин.— Вот и чихирю выпьем.

— И то зайти,— сказал старик. — Фазанов-то возьми.

По лицу старика видно было, что юнкер понравился ему, и он сейчас понял, что у юнкера можно даром выпить и потому можно подарить ему пару фазанов.

Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека, несмотря на то, что красно-коричневое лицо его с совершенно белою окладистою бородой было все изрыто старческими, могучими, трудовыми морщинами. Мышцы ног, рук и плеч были так полны и бочковаты, как бывают только у молодого человека. На голове его из-под коротких волос видны были глубокие зажившие шрамы. Жилистая, толстая шея была, как у быка, покрыта клетчатыми складками. Корявые руки были сбиты и исцарапаны. Он легко и ловко перешагнул через порог, освободился от ружья, поставил его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил сложенные в хате пожитки и вывернутыми ногами в поршнях, не топая, вышел на средину комнаты. С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови.

Дядя Ерошка поклонился образам, расправил бороду и, подойдя к Оленину, подал ему свою черную толстую руку.

— *Кошкильды!* — сказал он. — Это по-татарски значит: здравия желаем, мир вам, по-ихнему.

— *Кошкильды!* Я знаю, — отвечал Оленин, подавая ему руку.

— Э, не знаешь, не знаешь порядков! Дурак! — сказал дядя Ерошка, укоризненно качая головой. — Коли тебе *кошкильды* говорят, ты скажи: *алла рази бо сун,* спаси бог. Так-то, отец мой, а не *кошкильды.* Я тебя всему научу. Так-то был у нас Илья Мосеич, ваш, русский, так мы с ним кунаки были. Молодец был. Пьяница, вор, охотник, уж какой охотник! Я его всему научил.

— Чему ж ты меня научишь? — спросил Оленин, все более и более заинтересовываясь стариком.

— На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев покажу, душеньку хочешь, и ту доставлю. Вот я какой человек!.. Я шутник!.. — И старик засмеялся. — Я сяду, отец мой, я устал. Карга? — прибавил он вопросительно.

— А карга что значит? — спросил Оленин.

— А это значит: *хорошо,* по-грузински. А я так говорю, поговорка моя, слово любимое: карга; карга, так и говорю, значит *шутю.* Да что, отец мой, чихирю-то вели поднесть. Солдат драбант есть у тебя? Есть? Иван! — закричал старик. — Ведь у вас что ни солдат, то Иван. Твой Иван, что ли?

— И то, Иван. Ванюша! возьми пожалуйста у хозяев чихиря и принеси сюда.

— Все одно, что Ванюша, что Иван. Отчего у вас, у солдат, все Иваны? Иван! — повторил старик. — Ты спроси, батюшка, из начатой бочки. У них первый чихирь в станице. Да больше тридцати копеек за осьмуху, смотри, не давай, а то она, ведьма, рада... Наш народ анафемский, глупый народ, — продолжал дядя Ерошка доверчивым тоном, когда Ванюшка вышел, — они вас не за людей считают. Ты для них хуже татарина. Мирские, мол, русские. А по-моему хоть ты и солдат, а все человек, тоже душу в себе имеешь. Так ли я сужу? Илья Мосеич солдат был, а какой золото человек был! Так ли, отец мой? За то-то меня наши и не любят; а мне все равно. Я человек веселый, я всех люблю, я, Ерошка! Так-то, отец мой!

И старик ласково потрепал по плечу молодого человека.

XII

Ванюша, между тем, успевший уладить свое хозяйство и даже обрившийся у ротного цырюльника и выпустивший панталоны из сапог в знак того, что рота стоит на просторных квартирах, находился в самом хорошем расположении духа. Он внимательно, но недоброжелательно посмотрел на Ерошку, как на дикого невиданного зверя, покачал головой на запачканный им пол и, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам.

— Здравствуйте, любезненькие, — сказал он, решив-

шись быть особенно кротким. — Барин велел чихирю купить; налейте, добряшки.

Старуха ничего не ответила. Девка, стоя перед маленьким татарским зеркальцем, убирала платком голову; она молча оглянулась на Ванюшу.

— Я деньги заплачу, почтенные, — сказал Ванюша, потряхивая в кармане медными. — Вы будьте добрые, и мы добрые будем, так-то лучше, — прибавил он.

— Много ли? — отрывисто спросила старуха.

— Осьмушку.

— Поди, родная, нацеди им, — сказала бабука Улита, обращаясь к дочери. — Из начатой налей, желанная.

Девка взяла ключи и графин и вместе с Ванюшей вышла из хаты.

— Скажи, пожалуйста, кто это такая женщина? — спросил Оленин, указывая на Марьянку, которая в это время проходила мимо окна.

Старик подмигнул и толкнул локтем молодого человека.

— Постой, — проговорил он и высунулся в окно. — Кхм! Кхм! — закашлял и замычал он. — Марьянушка! А, нянюка Марьянка! Полюби меня, душенька! Я шутник, — прибавил он шепотом, обращаясь к Оленину.

Девка, не оборачивая головы, ровно и сильно размахивая руками, шла мимо окна тою особенною щеголеватою, молодецкою походкой, которою ходят казачки. Она только медленно повела на старика своими черными, отененными глазами.

— Полюби меня, будешь счастливая! — закричал Ерошка и, подмигивая, вопросительно взглянул на Оленина. — Я молодец, я шутник, — прибавил он. — Королева девка? А?

— Красавица, — сказал Оленин. — Позови ее сюда.

— Ни-ни! — проговорил старик. — Эту сватают за Лукашку. Лука — казак молодец, джигит, намеднись абрека убил. Я тебе лучше найду. Такую добуду, что вся в шелку да в серебре ходить будет. Уже сказал, — сделаю; красавицу достану.

— Старик, а что говоришь! — сказал Оленин. — Ведь это грех?

— Грех? Где грех? — решительно отвечал старик. — На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спа́сенье. Бог тебя сделал, бог и девку сде-

лал. Всё он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее любить да на нее радоваться. Так-то я сужу, добрый человек.

Пройдя через двор и войдя в темную, прохладную клеть, заставленную бочками, Марьяна с привычною молитвой подошла к бочке и опустила в нее ливер. Ванюша, стоя в дверях, улыбался, глядя на нее. Ему ужасно смешно казалось, что на ней одна рубаха, обтянута сзади и поддернута спереди, и еще смешнее то, что на шее висели полтинники. Он думал, что это не по-русски и что у них в дворне то-то смеху было бы, кабы такую девку увидали. «*Ла филь ком се тре бье*[1], для разнообразия, — думал он, — скажу теперь барину».

— Что зазастил-то, черт! — вдруг крикнула девка. — Подал бы графин-то.

Нацедив полный графин холодным красным вином, Марьяна подала его Ванюше.

— Мамуке деньги отдай, — сказала она, отталкивая руку Ванюши с деньгами.

Ванюша усмехнулся.

— Отчего вы такие сердитые, миленькие? — сказал он добродушно, переминаясь, в то время как девка закрывала бочку.

Она засмеялась.

— А вы разве добрые?

— Мы с господином очень добрые, — убедительно отвечал Ванюша. — Мы такие добрые, что где ни жили, везде нам хозяева наши благодарны оставались. Потому благородный человек.

Девка приостановилась, слушая.

— А что, он женатый, твой пан-то? — спросила она.

— Нет! Наш барин молодой и не женатый. Потому господа благородные никогда молоды жениться не могут, — поучительно возразил Ванюша.

— Легко ли! Какой буйвол разъелся, а жениться молод! Он у вас у всех начальник? — спросила она.

— Господин мой юнкер, значит, еще не офицер. А звание-то имеет себе больше генерала — большого лица. Потому что не только наш полковник, а сам царь его знает, — гордо объяснил Ванюша. — Мы не такие, как другая армейская голь, а наш папенька сам сенатор; тысячу, больше душ мужиков себе имел и нам по

[1] Эта девушка очень хороша (*искаж. фр.*).

тысяче присылают. Потому нас всегда и любят. А то, пожалуй, и капитан, да денег нет. Что проку-то?..

— Иди, запру, — прервала девка.

Ванюша принес вино и объявил Оленину, что *ла филь се тре жули*[1], — и тотчас же с глупым хохотом ушел.

XIII

Между тем на площади пробили зорю. Народ возвратился с работ. В воротах замычало стадо, толпясь в пыльном золотистом облаке. И девки, и бабы засуетились по улицам и дворам, убирая скотину. Солнце скрылось совсем за далеким снежным хребтом. Одна голубоватая тень разостлалась по земле и небу. Над потемневшими садами чуть заметно зажглись звезды, и звуки понемногу затихали в станице. Убрав скотину, казачки выходили на углы улиц и, пощелкивая семя, усаживались на завалинках. К одному из таких кружков, подоив двух коров и буйволицу, присоединилась и Марьянка.

Кружок состоял из нескольких баб и девок с одним старым казаком.

Речь шла об убитом абреке. Казак рассказывал, бабы расспрашивали.

— А награда, я чай, большая ему будет? — говорила казачка.

— А то как же? Бают, крест вышлют.

— Мосев и то хотел его обидеть. Ружье отнял, да начальство в Кизляре узнало.

— То-то подлая душа, Мосев-то.

— Сказывали, пришел Лукашка-то, — сказала одна девка.

— У Ямки (Ямка была холостая распутная казачка, державшая шинок) с Назаркой гуляют. Сказывают, полведра выпили.

— Эко Урвану счастье! — сказал кто-то. — Прямо, что Урван! Да что! малый хорош. Куда ловок. Справедливый малый. Такой же отец был, батяка Кирьяк; в отца весь. Как его убили, вся станица по нем выла... Вон они идут никак, — продолжала говорившая, указывая на казаков, подвигавшихся к ним по улице — Ергушов-то поспел с ними! Вишь, пьяница!

Лукашка с Назаркой и Ергушовым, выпив полведра, шли к девкам. Они все трое, в особенности старый ка-

[1] девушка очень красивая (*искаж. фр.*).

зак, были краснее обыкновенного. Ергушов пошатывался и все, громко смеясь, толкал под бока Назарку.

— Что, скурехи, песен не играете? — крикнул он на девок. — Я говорю, играйте на наше гулянье.

— Здорово дневали? Здорово дневали? — послышались приветствия.

— Что играть? разве праздник? — сказала баба. — Ты надулся и играй.

Ергушов захохотал и толкнул Назарку.

— Играй ты, что ль! И я заиграю, я ловок, я говорю.

— Что, красавицы, заснули? — сказал Назарка. — Мы с кордона *помолить*[1] пришли. Вот Лукашку *помолили*.

Лукашка, подойдя к кружку, медленно приподнял папаху и остановился против девок. Широкие скулы и шея были у него красны. Он стоял и говорил тихо, степенно; но в этой медленности и степенности движений было больше оживленности и силы, чем в болтовне и суетне Назарки. Он напоминал разыгравшегося жеребца, который, взвив хвост и фыркнув, остановился как вкопанный всеми ногами. Лукашка тихо стоял перед девками; глаза его смеялись; он говорил мало, поглядывая то на пьяных товарищей, то на девок. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и снова стал против нее, слегка отставив ногу, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Марьяна в ответ на его поклон медленно нагнула голову, уселась на завалинке и достала из-за пазухи семя. Лукашка, не спуская глаз, смотрел на Марьяну и, щелкая семя, поплевывал. Все затихли, когда подошла Марьяна.

— Что же? надолго пришли? — спросила казачка, прерывая молчанье.

— До утра, — степенно отвечал Лукашка.

— Да что ж, дай бог тебе интерес хороший, — сказал казак, — я рад, сейчас говорил.

— И я говорю, — подхватил пьяный Ергушов, смеясь. — Гостей-то что! — прибавил он, указывая на проходившего солдата. — Водка хороша солдатская, люблю!

— Трех дьяволов к нам пригнали, — сказала одна из

[1] Помолить на казачьем языке значит за вином поздравить кого-нибудь или пожелать счастья вообще; употребляется в смысле выпить.

казачек. — Уж дедука в станичное ходил; да ничего, бают, сделать нельзя.

— Ага! Аль горе узнала? — сказал Ергушов.

— Табачищем закурили небось? — спросила другая казачка. — Да кури на дворе сколько хошь, а в хату не пустим. Хошь станичный приходи, не *пустю*. Обокрадут еще. Вишь, он небось, чертов сын, к себе не поставил, станичный-то.

— Не любишь! — опять сказал Ергушов.

— А то бают еще, девкам постелю стлать велено для солдатов и чихирем с медом поить, — сказал Назарка, отставляя ногу как Лукашка и так же, как он, сбивая на затылок папаху.

Ергушов разразился хохотом и, ухватив, обнял девку, которая ближе сидела к нему.

— Верно, говорю.

— Ну, смола, — запищала девка; — бабе скажу!

— Говори! — закричал он. — И впрямь Назарка правду баит; цыдула была, ведь он грамотный. Верно. — И он принялся обнимать другую девку по порядку.

— Что пристал, сволочь? — смеясь запищала румяная круглолицая Устенька, замахиваясь на него.

Казак посторонился и чуть не упал.

— Вишь, говорят, у девок силы нету: убила было совсем.

— Ну, смола, черт тебя принес с кордону! — проговорила Устенька и, отвернувшись от него, снова фыркнула со смеху. — Проспал было абрека-то? Вот он бы тебя срезал, и лучше б было.

— Завыла бы небось! — засмеялся Назарка.

— Так тебе и завою!

— Вишь, ей и горя нет. Завыла бы? Назарка, а? — говорил Ергушов.

Лукашка все время молча глядел на Марьянку. Взгляд его видимо смущал девку.

— А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили? — сказал он, подвигаясь к ней.

Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, как будто что-то особенное, независимое от разговора, происходило в это время между им и девкой.

— Да, им хорошо, как две хаты есть, — вмешалась за Марьяну старуха, — а вот к Фомушкиным тоже ихнего начальника отвели, так, бают, весь угол добром за-

городил, а с своею семьей деваться некуда. Слыхано ли дело, целую орду в станицу пригнали! Что будешь делать, — сказала она. — И кайу черную немочь они тут работать будут!

— Сказывают, мост на Тереку строить будут, — сказала одна девка.

— А мне сказывали, — промолвил Назарка, подходя к Устеньке, — яму рыть будут, девок сажать за то, что ребят молодых не любят. — И опять он сделал любимое коленце, вслед за которым все захохотали, а Ергушов тотчас же стал обнимать старую казачку, пропустив Марьянку, следовавшую по порядку.

— Что ж Марьянку не обнимаешь? Всех бы по порядку, — сказал Назарка.

— Не, моя старая слаще, — кричал казак, целуя отбивавшуюся старуху.

— Задушит, — кричала она смеясь.

Мерный топот шагов на конце улицы прервал хохот. Три солдата в шинелях, с ружьями на плечо шли в ногу на смену к ротному ящику. Ефрейтор, старый кавалер, сердито глянув на казаков, провел солдат так, что Лукашка с Назаркой, стоявшие на самой дороге, должны были посторонниться. Назарка отступил, но Лукашка, только прищурившись, оборотил голову и широкую спину и не тронулся с места.

— Люди стоят, обойди, — проговорил он, только искоса и презрительно кивнув на солдат.

Солдаты молча прошли мимо, мерно отбивая шаг по пыльной дороге.

Марьяна засмеялась и за ней все девки.

— Эки нарядные ребята! — сказал Назарка. — Ровно уставщики длиннополые, — и он промаршировал по дороге, передразнивая их.

Все опять разразились хохотом.

Лукашка медленно подошел к Марьяне.

— А начальник у вас где стоит? — спросил он.

Марьяна подумала.

— В новую хату пустили, — сказала она.

— Что он старый или молодой? — спросил Лукашка, подсаживаясь к девке.

— А я разве спрашивала, — отвечала девка. — За чихирем ему ходила, видела, с дядей Ерошкой в окне сидит, рыжий какой-то. А добра целую арбу полну привезли.

И она опустила глаза.

— Уж как я рад, что пришлось с кордона выпроситься! — сказал Лукашка, ближе подвигаясь на завалинке к девке и все глядя ей в глаза.

— Что ж, надолго пришел? — спросила Марьяна, слегка улыбаясь.

— До утра. Дай семечек, — прибавил он, протягивая руку.

Марьяна совсем улыбнулась и открыла ворот рубахи.

— Все не бери, — сказала она.

— Право, все о тебе скучился, ей-богу, — сказал сдержанно спокойным шепотом Лука, доставая семечки из-за пазухи девки, и еще ближе пригнувшись к ней, стал шепотом говорить что-то, смеясь глазами.

— Не приду, сказано, — вдруг громко сказала Марьяна, отклоняясь от него.

— Право... Что я тебе сказать хотел, — прошептал Лукашка, — ей-богу! Приходи, Машенька.

Марьянка отрицательно покачала головой, но улыбалась.

— Нянюка Марьянка! А, нянюка! Мамука ужинать зовет, — прокричал, подбегая к казачкам, маленький брат Марьяны.

— Сейчас приду, — отвечала девка, — ты иди, батюшка, иди один; сейчас приду.

Лукашка встал и приподнял папаху.

— Видно, и мне домой пойти, дело-то лучше будет, — сказал он, притворяясь небрежным, но едва сдерживая улыбку, и скрылся за углом дома.

Между тем ночь уже совсем опустилась над станицей. Яркие звезды высыпали на темном небе. По улицам было темно и пусто. Назарка остался с казачками на завалинке, и слышался их хохот, а Лукашка, отойдя тихим шагом от девок, как кошка пригнулся и вдруг неслышно побежал, придерживая мотавшийся кинжал, не домой, а по направлению к дому хорунжего. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкеску и сел наземь в тени забора. «Ишь хорунжиха! — думал он про Марьяну, — и не пошутит, черт! Дай срок».

Шаги приближавшейся женщины развлекли его. Он стал прислушиваться и засмеялся сам с собою. Марьяна, опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо на него, постукивая хворостиной по кольям забо-

ра. Лукашка приподнялся. Марьяна вздрогнула и приостановилась.

— Вишь, черт проклятый! Напугал меня. Не пошел же домой, — сказала она и громко засмеялась.

Лукашка обнял одною рукой девку, а другою взял ее за лицо.

— Что я тебе сказать хотел... ей-богу!.. — Голос его дрожал и прерывался.

— Каки разговоры нашел по ночам, — отвечала Марьяна. — Мамука ждет, а ты к своей душеньке поди.

И, освободившись от его руки, она отбежала несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и оборотилась к казаку, который бежал с ней рядом, продолжая уговаривать ее подождать на часок.

— Ну, что сказать хотел, полуночник? — И она опять засмеялась.

— Ты не смейся надо мной, Марьяна! Ей-богу! Что ж, что у меня душенька есть? А черт ее возьми! Только слово скажи, уж так любить буду — что хошь, то и сделаю. Вон они! (И он погремел деньгами в кармане.) Теперь заживем. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя радости никакой, Марьянушка!

Девка ничего не отвечала, стояла перед ним и быстрыми движениями пальцев на мелкие куски ломала хворостинку.

Лукашка вдруг стиснул кулаки и зубы.

— Да и что все ждать да ждать! Я ли тебя не люблю, матушка? что хочешь надо мной делай, — вдруг сказал он, злобно хмурясь, и схватил ее за обе руки.

Марьяна не изменила спокойного выражения лица и голоса.

— Ты не куражься, Лукашка, а слушай ты мои слова, — отвечала она, не вырывая рук, но отдаляя от себя казака. — Известно, я девка, а ты меня слушай. Воля не моя, а коли ты меня любишь, я тебе вот что скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься, — сказала Марьяна, не отворачивая лица.

— Что замуж пойдешь? Замуж — не наша власть. Ты сама полюби, Марьянушка, — говорил Лукашка, вдруг из мрачного и рьяного сделавшись опять кротким, покорным и нежным, улыбаясь и близко глядя в ее глаза.

Марьяна прижалась к нему и крепко поцеловала его в губы.

— Братец! — прошептала она, порывисто прижимая его к себе. Потом вдруг, вырвавшись, побежала и, не оборачиваясь, повернула в ворота своего дома.

Несмотря на просьбы казака подождать еще минутку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась.

— Иди! Увидят! — проговорила она. — Вон и то, кажись, постоялец наш, черт, по двору ходит.

«Хорунжиха! — думал себе Лукашка, — замуж пойдет! Замуж само собой, а ты полюби меня».

Он застал Назарку у Ямки и, с ним вместе погуляв, пошел к Дуняшке и, несмотря на ее неверность, ночевал у нее.

XIV

Действительно, Оленин ходил по двору в то время, как Марьяна прошла в ворота, и слышал, как она сказала: «Постоялец-то, черт, ходит». Весь этот вечер провел он с дядей Ерошкой на крыльце своей новой квартиры. Он велел вынести стол, самовар, вино, зажженную свечу и за стаканом чая и сигарой слушал рассказы старика, усевшегося у его ног на приступочке. Несмотря на то, что воздух был тих, свеча плыла и огонь метался в разные стороны, освещая то столбик крылечка, то стол и посуду, то белую, стриженую голову старика. Ночные бабочки вились и, сыпля пыль с крылышек, бились по столу и в стаканах, то влетали в огонь свечи, то исчезали в черном воздухе, вне освещенного круга. Оленин выпил с Ерошкой вдвоем пять бутылок чихиря. Ерошка всякий раз, наливая стаканы, подносил один Оленину, здороваясь с ним, и говорил без устали. Он рассказывал про старое житье казаков, про своего батюшку *Широкого,* который один на спине приносил кабанью тушу в десять пуд и выпивал в один присест два ведра чихирю. Рассказал про свое времечко и своего *няню*[1] Гирчика, с которым он из-за Тереку во время чумы бурки переправлял. Рассказал про охоту, на которой он в одно утро двух оленей убил. Рассказал про свою *душеньку,* которая за ним по ночам на кордон бегала. И все это так красноречиво и живописно рассказывалось, что Оленин не замечал, как проходило время.

---

[1] **Няней** называется в прямом смысле всегда старшая сестра, а в переносном смысле «няней» называется друг.

— Так-то, отец ты мой, — говорил он, — не застал ты меня в мое золотое времечко, я бы тебе все показал. Нынче Ерошка кувшин облизал, а то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь, у кого шашка гурда [1], к кому выпить пойти, с кем погулять? Кого в горы послать, Ахмет-хана убить? Все Ерошка. Кого девки любят? Все Ерошка отвечал. Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал, песенник... на все руки был. Нынче уж и казаков таких нету. Глядеть скверно. От земли вот (Ерошка указал на аршин от земли), сапоги дурацкие наденет, все на них смотрит, только и радости. Или пьян надуется; да и напьется не как человек, а так что-то. А я кто был? Я был Ерошка-вор; меня, мало по станицам, — в горах-то знали. Кунаки-князья приезжали. Я, бывало, со всеми кунак: татарин — татарин, армяшка — армяшка; солдат — солдат, офицер — офицер. Мне все равно, только бы пьяница был. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщенья: с солдатом не пей, с татарином не ешь.

— Кто это говорит? — спросил Оленин.

— А уставщики наши. А муллу или кадия татарского послушай. Он говорит: «Вы неверные, гяуры, зачем свинью едите?» Значит, всякий свой закон держит. А по-моему, все одно. Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь, — прибавил он, помолчав.

— Что фальшь? — спросил Оленин.

— Да что уставщики говорят. У нас, отец мой, в Червленой, войсковой старшина — кунак мне был. Молодец был, как и я, такой же. Убили его в Чечнях. Так он говорил, что это все уставщики из своей головы выдумывают. Сдохнешь, говорит, трава вырастет на могилке, вот и все. — Старик засмеялся. — Отчаянный был.

— А сколько тебе лет? — спросил Оленин.

— А бог е знает! Годов семьдесят есть. Как у вас царица была, я уже не махонький был. Вот ты и считай, много ли будет. Годов семьдесят будет?

— Будет. А ты еще молодец.

[1] Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру — Гурда.

— Что же, благодарю бога, я здоров, всем здоров; только баба ведьма испортила...

— Как?

— Да так испортила...

— Так, как умрешь, трава вырастет? — повторил Оленин.

Ерошка видимо не хотел ясно выразить свою мысль. Он помолчал немного.

— А ты как думал? Пей! — закричал он, улыбаясь и поднося вино.

XV

— Так о чем бишь я говорил? — продолжал он, припоминая. — Так вот я какой человек! Я охотник. Против меня другого охотника по полку нету. Я тебе всякого зверя, всяку птицу найду и укажу; и что и где — все знаю. У меня и собаки есть, и два ружья есть, и сети, и кобылка, и ястреб, — все есть, благодарю бога. Коли ты настоящий охотник, не хвастаешь, я тебе все покажу. Я какой человек? След найду, — уж я его знаю, зверя, и знаю, где ему лечь и куда пить или валяться придет. Лопазик[1] сделаю, и сижу ночь, караулю. Что дома-то сидеть! Только нагрешишь, пьян надуешься. Еще бабы тут придут, тары да бары; мальчишки кричат; угоришь еще. То ли дело на зорьке выйдешь, местечко выберешь, камыш прижмешь, сядешь и сидишь, добрый молодец, дожидаешься. Все-то ты знаешь, что в лесу делается. На небо взглянешь, — звездочки ходят, рассматриваешь по ним, гляди, времени много ли. Кругом поглядишь, — лес шелыхается, все ждешь, вот-вот затрещит, придет кабан мазаться. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи ли в станице откликнутся или гуси. Гуси — так до полночи, значит. И все это я знаю. А то как ружье где далече ударит, мысли придут. Подумаешь: кто это стрелил? Казак, так же как я, зверя выждал, и попал ли он его или так только испортил, и пойдет сердечный по камышу кровь мазать, так, даром. Не люблю! ох, не люблю! Зачем зверя испортил? Дурак! Дурак! Или думаешь себе: «Может, абрек какого казачонка глупого убил». Все это в голове у тебя

[1] Лопазик — называется место для сиденья на столбах или деревьях.

ходит. А то раз, сидел я на воде, смотрю, зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой черт: взял за ножки, да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить. Все сидишь, думаешь. Да как заслышишь, по чаще табунок ломится, так и застучит в тебе что. Матушки, подойдите! Обнюхают, думаешь себе; сидишь, не дрогнешься, а сердце: дун! дун! дун! так тебя и подкидывает. Нынче весной так-то подошел табун важный, зачернелся. «Отцу и сыну...» — уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих на поросят: «Беда, мол, детки: человек сидит», — и затрещали все прочь по кустам. Так так бы, кажется, зубом съел ее.

— Как же это свинья поросятам сказала, что человек сидит? — спросил Оленин.

— А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умней человека, даром что свинья называется. Он все знает. Хоть то в пример возьми: человек по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь; значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все она не хуже тебя; такая же тварь божия. Эх-ма! Глуп человек, глуп, глуп человек! — повторил несколько раз старик и, опустив голову, задумался.

Оленин тоже задумался и, спустившись с крыльца, заложив руки за спину, молча стал ходить по двору.

Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

— Дура, дура! — заговорил он. — Куда летишь? Дура! Дура! — Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.

— Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много, — приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. — Сама себя губишь, а я тебя жалею.

Он долго сидел болтая и попивая из бутылки. А Оленин ходил взад и вперед по двору. Вдруг шепот за во-

ротами поразил его. Невольно притаив дыхание, он расслышал женский смех, мужской голос и звук поцелуя. Нарочно шурша по траве ногами, он отошел на другую сторону двора. Но через несколько времени плетень затрещал. Казак в темной черкеске и белом *курпее* на шапке (это был Лука), прошел вдоль забора, а высокая женщина в белом платке прошла мимо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого дела», — казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до крыльца хозяйской хаты, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг чувство тоски одиночества, каких-то неясных желаний и надежд и какой-то к кому-то зависти охватило душу молодого человека.

Последние огни потухли в хатах. Последние звуки затихли в станице. И плетни, и белевшая на дворах скотина, и крыши домов, и стройные раины — все, казалось, спало здоровым, тихим, трудовым сном. Только звенящие непрерывные звуки лягушек долетали из сырой дали до напряженного слуха. На востоке звезды становились реже и, казалось, расплывались в усиливавшемся свете. Над головой они высыпа́ли все глубже и чаще. Старик, облокотив голову на руку, задремал. Петух вскрикнул на противоположном дворе. А Оленин все ходил и ходил, о чем-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его слуха. Он подошел к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались веселою песнею, и изо всех резкою силой выдавался один молодой голос.

— Это знаешь, кто поет? — сказал старик, очнувшись. — Это Лукашка-джигит. Он чеченца убил; то-то и радуется. И чему радуется? Дурак, дурак!

— А ты убивал людей? — спросил Оленин.

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина.

— Черт! — закричал он на него. — Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено! Прощай, отец мой, и сыт и пьян, — сказал он вставая. — Завтра на охоту приходить?

— Приходи.

— Смотри, раньше вставать, а проспишь — штраф.

— Небось, раньше тебя встану, — отвечал Оленин.

Старик пошел. Песня замолкла. Послышались шаги и веселый говор. Немного погодя раздалась опять песня,

но дальше, и громкий голос Ерошки присоединился к прежним голосам. «Что за люди, что за жизнь!» — подумал Оленин, вздохнул и один вернулся в свою хату.

XVI

Дядя Ерошка был заштатный и одинокий казак; жена его лет двадцать тому назад, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля; детей у него не было. Он не хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев, и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел. Бóльшая часть его жизни проходила на охоте в лесу, где он питался по суткам одним куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. Зато в станице он гулял с утра до вечера. Вернувшись от Оленина, он заснул часа на два и, еще до света проснувшись, лежал на своей кровати и обсуживал человека, которого он вчера узнал. *Простота* Оленина очень понравилась ему (простота в том смысле, что ему не жалели вина). И сам Оленин понравился ему. Он удивлялся, почему русские все *просты* и богаты и отчего они ничего не знают, а все ученые. Он обдумывал сам с собою и эти вопросы, и то, чего бы выпросить себе у Оленина. Хата дяди Ерошки была довольно большая и не старая, но заметно было в ней отсутствие женщины. Вопреки обычной заботливости казаков о чистоте, горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе были брошены окровавленный зипун, половина сдобной лепешки и рядом с ней ощипанная и разорванная галка для прикармливания ястреба. На лавках, разбросанные, лежали поршни, ружье, кинжал, мешочек, мокрое платье и тряпки. В углу, в кадушке с грязною вонючею водой размокали другие поршни; тут же стояла винтовка и кобылка. На полу была брошена сеть, несколько убитых фазанов, а около стола гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу курочка. В нетопленной печке стоял черепочек, наполненный какою-то молочною жидкостью. На печке визжал копчик, старавшийся сорваться с веревки, и линялый ястреб смирно сидел на краю, искоса поглядывая на курочку и изредка справа налево перегибая голову. Сам

дядя Ерошка лежал навзничь на коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в одной рубашке, и, задрав сильные ноги на печку, колупал толстым пальцем струпы на руках, исцарапанных ястребом, которого он вынашивал без перчатки. Во всей комнате и особенно около самого старика воздух был пропитан тем сильным, не неприятным, смешанным запахом, который сопутствовал старику.

— *Уйде-ма,* дядя? (то есть дома, дядя?) — послышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал за голос соседа Лукашки.

— *Уйде, уйде, уйде!* Дома, заходи! — закричал старик. — Сосед Марка, Лука Марка, что к дяде пришел? Аль на кордон?

Ястреб встрепенулся от крика хозяина и захлопал крыльями, порываясь на своей привязи.

Старик любил Лукашку, и лишь одного его исключал из презрения ко всему молодому поколению казаков. Кроме того, Лукашка и его мать, как соседи, нередко давали старику вина, каймачку и т. п. из хозяйственных произведений, которых не было у Ерошки. Дядя Ерошка, всю жизнь свою увлекавшийся, всегда практически объяснял свои побуждения: «Что ж? люди достаточные, — говорил он сам себе. — Я им свежинки дам, курочку, а и они дядю не забывают: пирожка и лепешки принесут другой раз».

— Здорово, Марка! Я тебе рад, — весело прокричал старик и быстрым движением скинул босые ноги с кровати, вскочил, сделал шага два по скрипучему полу, посмотрел на свои вывернутые ноги, и вдруг ему смешно стало на свои ноги: он усмехнулся, топнул раз босою пяткой, еще раз, и сделал *выходку.* — Ловко, что ль! — спросил он, блестя маленькими глазками. — Лукашка чуть усмехнулся. — Что, аль на кордон? — сказал старик.

— Тебе чихирю принес, дядя, что на кордоне обещал.

— Спаси тебя Христос, — проговорил старик, поднял валявшиеся на полу чамбары и бешмет, надел их, затянул ремнем, полил воды из черепка на руки, отер их о старые чамбары, кусочком гребешка расправил бороду и стал перед Лукашкой. — Готов! — сказал он.

Лукашка достал чапуру, отер, налил вина и, сев на скамейку, поднес дяде.

— Будь здоров! Отцу и сыну! — сказал старик, с

торжественностию принимая вино. — Чтобы тебе получить, что желаешь, чтобы тебе молодцом быть, крест выслужить!

Лукашка тоже с молитвою отпил вина и поставил его на стол. Старик встал, принес сушеную рыбу, положил на порог, разбил ее палкой, чтоб она была мягче, и, положив ее своими заскорузлыми руками на свою единственную синюю тарелку, подал на стол.

— У меня все есть, и закуска есть, благодарю бога, — сказал он гордо. — Ну, что Мосев? — спросил старик.

Лукашка рассказал, как урядник отнял у него ружье, видимо желая знать мнение старика.

— За ружьем не стой, — сказал старик, — ружья не дашь, награды не будет.

— Да что, дядя! Какая награда, говорят, малолетку?[1] А ружье важное, крымское! восемьдесят монетов стоит.

— Э, брось! Так-то я заспорил с сотником: коня у меня просил. Дай, говорит, коня, в хорунжии представлю. Я не дал, так и не вышло.

— Да что, дядя! Вот коня купить надо, а бают, за рекой меньше пятидесяти монетов не возьмешь. Матушка вина еще не продала.

— Эх! мы не тужили, — сказал старик, — когда дядя Ерошка в твои года был, он уж табуны у ногайцев воровал да за Терек перегонял. Бывало, важного коня за штоф водки али за бурку отдаешь.

— Что же дешево отдавали? — сказал Лукашка.

— Дурак, дурак, Марка! — презрительно сказал старик. — Нельзя, на то воруешь, чтобы не скупым быть. А вы, я чай, и не видали, как коней-то гоняют. Что молчишь?

— Да что говорить, дядя? — сказал Лукашка. — Не такие мы, видно, люди.

— Дурак, дурак, Марка! Не такие люди! — отвечал старик, передразнивая молодого казака. — Не тот я был казак в твои годы.

— Да что же? — спросил Лукашка.

Старик презрительно покачал головой.

— Дядя Ерошка *прост* был, ничего не жалел. Зато у меня вся Чечня кунаки были. Приедет ко мне какой

[1] Малолетками называются казаки, не начавшие еще действительной конной службы.

кунак, водкой пьяного напою, ублажу, с собой спать положу, а к нему поеду, подарок, *пешкеш,* свезу. Так-то люди делают, а не то что как теперь: только и забавы у ребят, что семя грызут да шелуху плюют,— презрительно заключил старик, представляя в лицах, как грызут семя и плюют шелуху нынешние казаки.

— Это я знаю,— сказал Лукашка.— Это так!

— Хочешь быть молодцом, так будь джигит, а не мужик. А то и мужик лошадь купит, денежки отвалит и лошадь возьмет.

Они помолчали.

— Да ведь и так скучно, дядя, в станице или на кордоне; а разгуляться поехать некуда. Все народ робкий. Вот хоть бы Назар. Намедни в ауле были; так Гирей-хан в Ногаи звал за конями, никто не поехал; а одному как же?

— А дядя что? Ты думаешь, я засох! Нет, я не засох. Давай коня, сейчас в Ногаи поеду.

— Что пустое говорить?— сказал Лука.— Ты скажи, как с Гирей-ханом быть? Говорит, только проведи коня до Терека, а там хоть косяк целый давай, место найду. Ведь тоже гололобый, верить мудрено.

— Гирей-хану верить можно, его весь род — люди хорошие; его отец верный кунак был. Только слушай дядю, я тебя худу не научу: вели ему клятву взять, тогда верно будет; а поедешь с ним, все пистолет наготове держи. Пуще всего, как лошадей делить станешь. Раз меня так-то убил было один чеченец: я с него просил по десяти монетов за лошадь. Верить — верь, а без ружья спать не ложись.

Лукашка внимательно слушал старика.

— А что, дядя? Сказывали, у тебя разрыв-трава есть,— молвил он, помолчав.

— Разрыва нет, а тебя научу, так и быть: малый хорош, старика не забываешь. Научить, что ль?

— Научи, дядя.

— Черепаху знаешь? Ведь она черт, черепаха-то.

— Как не знать!

— Найди ты ее гнездо и оплети плетешок кругом, чтоб ей пройти нельзя. Вот она придет, покружит и сейчас назад; найдет разрыв-траву, принесет, плетень разорит. Вот ты и поспевай на другое утро, и смотри: где разломано, тут и разрыв-трава лежит. Бери и неси куда хочешь. Не будет тебе ни замка, ни закладки.

— Да ты пытал, что ль, дядя?

— Пытать не пытал, а сказывали хорошие люди. У меня только и заговора было, что прочту «здравствуитя», как на коня садиться. Никто не убил.

— Какая такая «здравствуитя», дядя?

— А ты не знаешь? Эх, народ! То-то, дядю спроси. Ну слухай, говори за мной:

Здравствуитя живучи в Сиони.
Се царь твой.
Мы сядем на кони.
Сафоние вопие,
Захарие глаголе.
Отче Мандрыче
Человеко-веко-любче.

— Веко-веко-любче, — повторил старик. — Знаешь? Ну, скажи!

Лукашка засмеялся.

— Да что, дядя, разве от этого тебя не убили? Може так.

— Умны стали вы. Ты все выучи да скажи. От того худа не будет. Ну, пропел «Мандрыче», да и прав — и старик сам засмеялся. — А ты в Ногаи, Лука, не езди, вот что!

— А что?

— Не то время, не тот вы народ, дермо казаки вы стали. Да и русских вон что нагнали! Засудят. Право, брось. Куда вам! Вот мы с Гирчиком, бывало...

И старик начал было рассказывать свои бесконечные истории. Но Лукашка глянул в окно.

— Вовсе светло, дядя, — перебил он его. — Пора, заходи когда.

— Спаси Христос, а я к армейскому пойду: пообещал на охоту свести; человек хорош, кажись.

XVII

От Ерошки Лукашка зашел домой. Когда он вернулся, сырой росистый туман поднялся от земли и окутал станицу. Не видная скотина начинала шевелиться с разных концов. Чаще и напряженнее перекликались петухи. В воздухе становилось прозрачно, и народ начинал подниматься. Подойдя вплоть, Лукашка рассмотрел мокрый от тумана забор своего двора, крылечко хаты и отворенную клеть. На дворе слышался в тумане звук

топора по дровам. Лукашка прошел в хату. Мать его встала и, стоя перед печью, бросала в нее дрова. На кровати еще спала сестра-девочка.

— Что, Лукашка, нагулялся? — сказала мать тихо.— Где был ночь-то?

— В станице был, — неохотно отвечал сын, доставая винтовку из чехла и осматривая ее.

Мать покачала головой.

Подсыпав пороху на полку, Лукашка достал мешочек, вынул несколько пустых хозырей и стал насыпать заряды, тщательно затыкая их пулькой, завернутою в тряпочке. Повыдергав зубом заткнутые хозыри и осмотрев их, он положил мешок.

— А что, матушка, я тебе говорил торбы починить: починила, что ль? — сказал он.

— Как же! Немая чинила что-то вечор. Аль пора на кордон-то? Не видала я тебя вовсе.

— Вот только уберусь, и идти надо, — отвечал Лукашка, увязывая порох. — А немая где? Аль вышла?

— Должно, дрова рубит. Все о тебе сокрушалась. Уж не увижу, говорит, я его вовсе. Так-то рукой на лицо покажет, щелкнет да к сердцу и прижмет руки; жалко, мол. Пойти позвать, что ль? Об абреке-то все поняла.

— Позови, — сказал Лукашка. — Да сало там у меня было, принеси сюда: шашку смазать надо.

Старуха вышла, и через несколько минут по скрипящим сходцам вошла в хату немая сестра Лукашки. Она была шестью годами старше брата и чрезвычайно была бы похожа на него, если бы не общее всем глухонемым тупое и грубопеременчивое лицо. Одежду ее составляла грубая рубаха в заплатах; ноги были босы и испачканы; на голове старый синий платок. Шея, руки и лицо были жилисты, как у мужика. Видно было и по одежде и по всему, что она постоянно несла трудную мужскую работу. Она внесла вязанку дров и бросила ее у печи. Потом подошла к брату с радостною улыбкой, сморщившею все ее лицо, тронула его за плечо и начала руками, лицом и всем телом делать ему быстрые знаки.

— Хорошо, хорошо! молодец Степка! — отвечал брат, кивая головой. — Все припасла, починила, молодец! Вот тебе за то! — И достав из кармана два пряника, он подал ей.

Лицо немой покраснело, и она дико загудела от радости. Схватив пряники, она еще быстрей стала делать

знаки, часто указывая в одну сторону и проводя толстым пальцем по бровям и лицу. Лукашка понимал ее и все кивал, слегка улыбаясь. Она говорила, что брат девкам давал бы закуски, говорила, что девки его любят и что одна девка, Марьянка, лучше всех, и та любит его. Марьянку она обозначала, указывая быстро на сторону ее двора, на свои брови, лицо, чмокая и качая головой. «Любит» — показывала она, прижимая руку к груди, целуя свою руку и будто обнимая что-то. Мать вернулась в хату и, узнав, о чем говорила немая, улыбнулась и покачала головой. Немая показала ей пряники и снова прогудела от радости.

— Я Улите говорила намедни, что сватать пришлю, — сказала мать, — приняла мои слова хорошо.

Лукашка молча посмотрел на мать.

— Да что, матушка? Вино надо везть. Коня нужно.

— Повезу, когда время будет; бочки справлю, — сказала мать, видимо не желая, чтобы сын вмешивался в хозяйственные дела. — Ты как пойдешь, — сказала старуха сыну, — так возьми в сенях мешочек. У людей заняла, тебе на кордон припасла. Али в *сакв ы*[1] положить?

— Ладно, — отвечал Лукашка. — А коли из-за реки Гирей-хан приедет, ты его на кордон пришли, а то теперь долго не отпустят. До него дело есть.

Он стал собираться.

— Пришлю, Лукаша, пришлю. Что ж, у Ямки все и гуляли, стало? — сказала старуха. — То-то я ночью вставала к скотине, слушала, ровно твой голос песни играл.

Лукашка не отвечал, вышел в сени, перекинул через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге.

— Прощай, матушка, — сказал он матери, припирая за собой ворота. — Ты бочонок с Назаркой пришли: — ребятам обещался; он зайдет.

— Спаси тебя Христос, Лукаша! Бог с тобой! Пришлю, из новой бочки пришлю, — отвечала старуха, подходя к забору. — Да слушай что, — прибавила она, перегнувшись через забор.

Казак остановился.

— Ты здесь погулял, ну, слава богу! Как молодому

---

[1] Саквами называются переметные сумки, которые казаки возят за седлами.

человеку не веселиться? Ну, и бог счастье дал. Это хорошо. А там-то уж смотри, сынок, не того... Пуще всего начальника ублажай, нельзя! А я и вина продам, денег припасу коня купить и девку высватаю.

— Ладно, ладно! — отвечал сын, хмурясь.

Немая крикнула, чтоб обратить на себя его внимание. Показала голову и руку, что значило: бритая голова, чеченец. Потом, нахмурив брови, показала вид, что прицеливается из ружья, вскрикнула и запела скоро, качая головой. Она говорила, чтобы Лукашка еще убил чеченца.

Лукашка понял, усмехнулся и скорыми, легкими шагами, придерживая ружье за спиной под буркой, скрылся в густом тумане.

Молча постояв у ворот, старуха вернулась в избушку и тотчас же принялась за работу.

XVIII

Лукашка пошел на кордон, а дядя Ерошка в то же время свистнул собак и, перелезши через плетень, задами обошел до квартиры Оленина (идя на охоту, он не любил встречаться с бабами). Оленин еще спал, и даже Ванюша, проснувшись, но еще не вставая, поглядывал вокруг себя и соображал, пора или не пора, когда дядя Ерошка с ружьем за плечами и во всем охотничьем уборе отворил дверь.

— Палок! — закричал он своим густым голосом. — Тревога! Чеченцы пришли! Иван! Самовар барину ставь. А ты вставай! Живо! — кричал старик. — Так-то у нас, добрый человек! Вот уж и девки встали. В окно глянька, глянь-ка, за водой идет, а ты спишь.

Оленин проснулся и вскочил. И так свежо, весело ему стало при виде старика и звуке его голоса.

— Живо! Живо, Ванюша! — закричал он.

— Так-то ты на охоту ходишь! Люди завтракать, а ты спишь. Лям! Куда? — крикнул он на собаку. — Ружье-то готово, что ль? — кричал старик, точно целая толпа народа была в избе.

— Ну, провинился, нечего делать. Порох, Ванюша! Пыжи! — говорил Оленин.

— Штраф! — кричал старик.

— *Дю те вулеву?* [1] — говорил Ванюша, ухмыляясь.

---

[1] Хотите чаю? (*фр.* du thé, voulez-vous?)

— Ты не наш! не по нашему лопочешь, черт! — кричал на него старик, оскаливая корешки своих зубов.

— Для первого раза прощается, — шутил Оленин, натягивая большие сапоги.

— Прощается для первого раза, — отвечал Ерошка, — а другой раз проспишь, ведро чихиря штрафу. Как обогреется, не застанешь оленя-то.

— Да хоть и застанешь, так он умней нас, — сказал Оленин, повторяя слова старика, сказанные вечером, — его не обманешь.

— Да ты смейся! Вот убей, тогда и поговори. Ну, живо! Смотри, вон и хозяин к тебе идет, — сказал Ерошка, глядевший в окно. — Вишь, убрался, новый зипун надел, чтобы ты видел, что он офицер есть. Эх! народ, народ!

Действительно, Ванюша объявил, что хозяин желает видеть барина.

— *Ларжан*[1], — сказал он глубокомысленно, предупреждая барина о значении визита хорунжего. Вслед затем сам хорунжий в новой черкеске, с офицерскими погонами на плечах, в чищеных сапогах, — редкость у казаков, — с улыбкой на лице, раскачиваясь, вошел в комнату и поздравил с приездом.

Хорунжий, Илья Васильевич, был казак *образованный,* побывавший в России, школьный учитель и, главное, *благородный.* Он хотел казаться *благородным;* но невольно под напущенным на себя уродливым лоском вертлявости, самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерошка. Это видно было и по его загорелому лицу, и по рукам, и по красноватому носу. Оленин попросил его садиться.

— Здравствуй, батюшка Илья Васильевич! — сказал Ерошка, вставая и, как показалось Оленину, иронически низко кланяясь.

— Здорово, дядя! Уж ты тут? — отвечал хорунжий, небрежно кивая ему головой.

Хорунжий был человек лет сорока, с седою клинообразною бородкой, сухой, тонкий и красивый и еще очень свежий для своих сорока лет. Придя к Оленину, он видимо боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака, и желал дать ему сразу почувствовать свое значение.

---

[1] Деньги (*фр.* l'argent).

— Это наш *Нимврод египетский,* — сказал он, с самодовольною улыбкой обращаясь к Оленину и указывая на старика. — *Ловец пред господином.* Первый у нас на всякие руки. Изволили уж узнать?

Дядя Ерошка, глядя на свои ноги, обутые в мокрые поршни, раздумчиво покачивал головой, как бы удивляясь ловкости и учености хорунжего, и повторял про себя: *«Нимрод гицкий!* Чего не выдумает?»

— Да вот на охоту хотим идти, — сказал Оленин.

— Так-с точно, — заметил хорунжий; — а у меня дельце есть к вам.

— Что прикажете?

— Как вы есть благородный человек, — начал хорунжий, — и как я себя могу понимать, что мы тоже имеем звание офицера и потому постепенно можем всегда страктоваться, как и все благородные люди. (Он приостановился и с улыбкой взглянул на старика и Оленина.) Но ежели бы вы имели желание, по согласию моему, так как моя жена есть женщина глупая в нашем сословии, не могла в настоящее время вполне вразумить ваши слова вчерашнего числа. Потому квартира моя для полкового адъютанта могла ходить без конюшни за шесть монетов, — а задаром я всегда, как благородный человек, могу удалить от себя. А так как вам желается, то я, как сам офицерского звания, могу во всем согласиться лично с вами, и как житель здешнего края, не то как бы по нашему обычаю, а во всем могу соблюсти условия...

— Чисто говорит, — пробормотал старик.

Хорунжий говорил еще долго в том же роде. Изо всего этого Оленин не без некоторого труда мог понять желание хорунжего брать по шести рублей серебром за квартиру в месяц. Он с охотою согласился и предложил своему гостю стакан чаю. Хорунжий отказался.

— По нашему глупому обряду, — сказал он, — мы считаем как бы за грех употреблять из мирского стакана. Оно хотя, по образованию моему, я бы мог понимать, но жена моя по слабости человеческия...

— Что ж, прикажете чаю?

— Ежели позволите, я свой стакан принесу, *особливый,* — отвечал хорунжий и вышел на крыльцо. — Стакан подай! — крикнул он.

Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом рукаве высунулась с ста-

каном из двери. Хорунжий подошел, взял стакан и пошептал что-то с дочерью. Оленин налил чаю хорунжему в *особливый,* Ерошке в *мирской* стакан.

— Однако не желаю вас задерживать, — сказал хорунжий, обжигаясь и допивая свой стакан. — Я как есть тоже имею сильную охоту до рыбной ловли и здесь только на побывке, как бы на рекреации от должности. Тоже имею желание испытать счастие, не попадутся ли и на мою долю *дары Терека.* Надеюсь, вы и меня посетите когда-нибудь испить *родительского,* по нашему станичному обычаю, — прибавил он.

Хорунжий откланялся, пожал руку Оленину и вышел. Покуда собирался Оленин, он слышал повелительный и толковый голос хорунжего, отдававшего приказания домашним. А через несколько минут Оленин видел, как хорунжий в засученных до колен штанах и в оборванном бешмете, с сетью на плече прошел мимо его окна.

— Плут же, — сказал дядя Ерошка, допивавший свой чай из мирского стакана. — Что же, неужели ты ему так и будешь платить шесть монетов? Слыхано ли дело! Лучшую хату в станице за два монета отдадут. Эка бестия! Да я тебе свою за три монета отдам.

— Нет, уж я здесь останусь, — сказал Оленин.

— Шесть монетов! Видно, деньги-то дурашные. Э-эх! — отвечал старик. — Чихирю дай, Иван!

Закусив и выпив водки на дорогу, Оленин с стариком вышли вместе на улицу часу в восьмом утра.

В воротах они наткнулись на запряженную арбу. Обвязанная до глаз белым платком, в бешмете сверх рубахи, в сапогах и с длинною хворостиной в руках, Марьяна тащила быков за привязанную к их рогам веревку.

— Мамушка! — проговорил старик, делая вид, что хочет схватить ее.

Марьянка замахнулась на него хворостиной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами.

Оленину сделалось еще веселее.

— Ну, идем, идем! — сказал он, вскидывая ружье на плечо и чувствуя на себе взгляд девки.

— Ги! Ги! — прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед затем заскрипела тронувшаяся арба.

Покуда дорога шла задами станицы, по выгонам, Ерошка разговаривал. Он не мог забыть хорунжего и все бранил его.

— Да за что же ты так сердишься на него? — спросил Оленин.

— Скупой! Не люблю, — отвечал старик. — Издохнет, все останется. Для кого копит? Два дома построил. Сад другой у брата оттягал. Ведь тоже и по бумажным делам какая собака! Из других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как напишет, так как раз и выйдет. В самый раз сделает. Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка; замуж отдаст, никого не будет.

— Так на приданое и копит, — сказал Оленин.

— Какое приданое? Девку берут, девка важная. Да ведь такой черт, что и отдать-то еще за богатого хочет. Калым большой содрать хочет. Лука есть казак, сосед мне и племянник, молодец малый, что чеченца убил, давно уж сватает; так все не отдает. То, другое да третье; девка молода, говорит. А я знаю, что думает. Хочет, чтобы покла́нялись. Нынче что сраму было за девку за эту. А все Лукашке высватают. Потому первый казак в станице, джигит, абрека убил, крест дадут.

— А что это? Я вчера как по двору ходил, видел девка хозяйская с каким-то казаком целовалась, — сказал Оленин.

— Хвастаешь, — крикнул старик, останавливаясь.

— Ей-богу! — сказал Оленин.

— Баба черт, — раздумывая сказал Ерошка. — А какой казак?

— Я не видал какой.

— Ну, курпей какой на шапке? белый?

— Да.

— А зипун красный? С тебя, такой же?

— Нет, побольше.

— Он и есть. — Ерошка захохотал. — Он и есть, Марка мой. Он Лукашка. Я его Марка зову, *шутю*. Он самый. Люблю! Такой-то и я был, отец мой. Что на них смотреть-то? Бывало с матерью, с невесткой спит *душенька*-то моя, а я все влезу. Бывало — жила она высоко; мать ведьма была, черт; страсть не любила меня,— приду бывало с *няней* (друг значит), Гирчиком звали. Приду под окно, ему на плеча взлезу, окно подниму, да и ошариваю. Она тут на лавке спала. Раз так-то взбудил ее. Она как взахается! Меня не узнала. Кто это?

А мне говорить нельзя. Уж было мать заворошилась. Я шапку снял, да в мурло ей и сунул: так сразу узнала по рубцу, что́ на шапке был. Выскочила. Бывало, ничего-то не нужно. И каймаку тебе, и винограду, всего натащит, — прибавил Ерошка, объяснявший все практически. — Да не одна была. Житье бывало.

— А теперь что ж?

— А вот пойдем за собакой, фазана на дерево посадим, тогда стреляй.

— Ты бы за Марьянкой поволочился?

— Ты смотри на собак-то. Вечером докажу, — сказал старик, указывая на своего любимца Ляма.

Они замолкли.

Пройдя шагов сто в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу.

— Ты это что думаешь? — сказал он. — Ты думаешь, это так? Нет. Это палка дурно лежит.

— Чем же дурно?

Он усмехнулся.

— Ничего не знаешь. Ты слушай меня. Когда так палка лежит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так-то с дороги, да молитву прочти: «Отцу и сыну и святому духу», и иди с богом. Ничего не сделает. Так-то старики еще меня учили.

— Ну, что за вздор, — сказал Оленин. — Ты расскажи лучше про Марьяну. Что ж, она гуляет с Лукашкой?

— Ши! теперь молчи, — опять шепотом перервал старик этот разговор, — только слушай. Кругом вот лесом пойдем.

И старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошел вперед по узкой дорожке, входившей в густой, дикой, заросший лес. Он несколько раз, морщась, оглядывался на Оленина, который шуршал и стучал своими большими сапогами и, неосторожно неся ружье, несколько раз цеплял за ветки дерев, разросшихся по дороге.

— Не шуми, тише иди, солдат! — сердито шепотом говорил он ему.

Чувствовалось в воздухе, что солнце встало. Туман расходился, но еще закрывал вершины леса. Лес казался страшно высоким. При каждом шаге вперед местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кустом; камышинка казалась деревом,

XIX

Туман частью поднимался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался в росу, увлажая дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из труб. Народ выходил из станиц — кто на работы, кто на реку, кто на кордоны. Охотники шли рядом по сырой, поросшей травою дороге. Собаки, махая хвостами и оглядываясь на хозяина, бежали по сторонам. Мириады комаров вились в воздухе и преследовали охотников, покрывая их спины, глаза и руки. Пахло травой и лесною сыростью. Оленин беспрестанно оглядывался на арбу, в которой сидела Марьянка и хворостиной подгоняла быков.

Было тихо, звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников; только собаки трещали по тернам, и изредка откликались птицы. Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки всегда скрываются в этих местах. Он знал тоже, что в лесу для пешехода ружье есть сильная защита. Не то, чтоб ему было страшно, но он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно, и, с особенным напряжением вглядываясь в туманный, сырой лес, вслушиваясь в редкие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал приятное и новое для него чувство. Дядя Ерошка, идя впереди, при каждой луже, на которой были двойчатые следы зверя, останавливался и, внимательно разглядывая, указывал их Оленину. Он почти не говорил, только изредка и шепотом делал свои замечания. Дорога, по которой они шли, была когда-то проезжена арбой и давно заросла травой. Карагачевый и чинаровый лес с обеих сторон был так густ и заросл, что ничего нельзя было видеть через него. Почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником; внизу густо рос темный терновник. Каждая маленькая полянка вся заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися махалками. Местами большие звериные и маленькие, как туннели, фазаньи тропы сходили с дороги в чащу леса. Сила растительности этого, непробитого скотом, леса на каждом шагу поражала Оленина, который не видал еще ничего подобного. Этот лес, опасность, старик с своим таинственным шепотом, Марьянка с своим мужественным стройным станом и горы — все это казалось сном Оленину.

— Фазана посадил, — прошептал старик, огляды-

ваясь и надвигая себе на лицо шапку. — Мурло-то закрой: фазан. — Он сердито махнул на Оленина и полез дальше, почти на четвереньках. — Мурла человечьего не любит.

Оленин еще был сзади, когда старик остановился и стал оглядывать дерево. Петух *тордокнул* с дерева на собаку, лаявшую на него, и Оленин увидал фазана. Но в то же время раздался выстрел, как из пушки, из здоровенного ружья Ерошки, и петух вспорхнул, теряя перья, и упал наземь. Подходя к старику, Оленин спугнул другого. Выпростав ружье, он повел и ударил. Фазан взвился колом кверху и потом, как камень, цепляясь за ветки, упал в чащу.

— Молодец! — смеясь прокричал старик, не умевший стрелять влет.

Подобрав фазанов, они пошли дальше. Оленин, возбужденный движением и похвалой, все заговаривал с стариком.

— Стой! сюда пойдем, — перебил его старик, — вчера тут олений след видал.

Свернув в чащу и пройдя шагов триста, они выбрались на полянку, поросшую камышом и местами залитую водой. Оленин все отставал от старого охотника, и дядя Ерошка, шагах в двадцати впереди его, нагнулся, значительно кивая и махая ему рукой. Добравшись до него, Оленин увидал след ноги человека, на который ему указывал старик.

— Видишь?

— Вижу. Что ж? — сказал Оленин, стараясь говорить как можно спокойнее, — человека след.

Невольно в голове его мелькнула мысль о Купперовом Патфайндере и абреках, а глядя на таинственность, с которою шел старик, он не решался спросить и был в сомнении, опасность или охота причиняла эту таинственность.

— Не, это мой след, — просто ответил старик и указал траву, под которою был виден чуть заметный след зверя.

Старик пошел дальше. Оленин не отставал от него. Пройдя шагов двадцать и спускаясь книзу, они пришли в чащу к разлапистой груше, под которою земля была черна и оставался свежий звериный помет.

Обвитое виноградником место было похоже на крытую уютную беседку, темную и прохладную.

— Утром тут был, — вздохнув, сказал старик, — видать, логово отпотело, свежо.

Вдруг страшный треск послышался в лесу, шагах в десяти от них. Оба вздрогнули и схватились за ружья, но ничего не видно было; только слышно было, как ломались сучья. Равномерный, быстрый топот галопа послышался на мгновенье, из треска перешел в гул, все дальше, дальше, шире и шире разносившийся по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце Оленина. Он тщетно всматривался в зеленую чащу и наконец оглянулся на старика. Дядя Ерошка, прижав ружье к груди, стоял неподвижно; шапка его была сбита назад, глаза горели необыкновенным блеском, и открытый рот, из которого злобно выставлялись съеденные желтые зубы, замер в своем положении.

— Рогаль, — проговорил он. И отчаянно бросив наземь ружье, стал дергать себя за седую бороду. — Тут стоял! С дорожки подойти бы! Дурак! Дурак! — И он злобно ухватил себя за бороду. — Дурак! свинья! — твердил он, больно дергая себя за бороду. Над лесом в тумане как будто пролетало что-то; все дальше и дальше, шире и шире гудел бег поднятого оленя...

Уж сумерками Оленин вернулся с стариком, усталый, голодный и сильный. Обед был готов. Он поел, выпил с стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории про охоту, про абреков, про душенек, про беззаботное, удалое житье. Опять Марьяна красавица входила, выходила и переходила через двор. Под рубахой обозначалось могучее девственное тело красавицы.

XX

На другой день Оленин без старика пошел один на то место, где он с стариком спугнул оленя. Чем обходить в ворота, он перелез, как и все делали в станице, через ограду колючек. И еще не успел отодрать колючек, зацепившихся ему за черкеску, как собака его, побежавшая вперед, подняла уже двух фазанов. Только что он вошел в терны, как стали что ни шаг подниматься фазаны. (Старик не показал ему вчера этого места, чтобы приберечь его для охоты с кобылкой). Оленин убил пять штук фазанов из двенадцати выстрелов и,

лазяя за ними по тернам, измучился так, что пот лил с него градом. Он отозвал собаку, спустил курки, положил пули на дробь и, отмахиваясь от комаров рукавами черкески, тихонько пошел ко вчерашнему месту. Однако нельзя было удержать собаку, на самой дороге набегавшую на следы, и он убил еще пару фазанов, так что, задержавшись за ними, он только к полдню стал узнавать вчерашнее место.

День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки. Собака сделалась сивою из черной: спина ее вся была покрыта комарами. Черкеска, через которую они пропускали свои жалы, стала такою же. Оленин готов был бежать от комаров; ему уж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой; но, вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И — странное дело — к полдню это ощущение стало ему даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы, этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по потному лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из Терека и бульбулькующей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым. Обойдя то место, где вчера он нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Солнце стояло прямо над лесом и беспрестанно, в отвес, доставало ему спину и голову, когда он выходил в поляну или дорогу. Семь тяжелых фазанов до боли оттягивали ему поясницу. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Он осмотрел кругом себя темную зелень, осмотрел потное место, вчерашний помет, отпечаток коленей оленя, клочок чернозема, оторванный оленем, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно; ни о чем он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство

беспричинного счастия и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенною ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека, и в таком месте, в котором никогда никто из людей не сидел и того не думал. «Сижу, а вокруг меня стоят молодые и старые деревья, и одно из них обвито плетями дикого винограда; около меня копошатся фазаны, выгоняя друг друга, и чуют, может быть, убитых братьев». Он пощупал своих фазанов, осмотрел их и отер тепло-окровавленную руку о черкеску. «Чуют, может быть, чакалки и с недовольными лицами пробираются в другую сторону; около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть», — жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. «Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет».

«Да что же, что трава вырастет? — думал он дальше. — Все надо жить, надо быть счастливым; потому что я только одного желаю — счастия. Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества, все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе таким требовательным эгоистом, тогда как, в сущности, ему для себя ничего не было нужно. И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и чувствовал все себя таким же счастливым, как и прежде. «Отчего я счастлив и зачем я жил преж-

де? — подумал он. — Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя! А вот ка́к мне ничего не нужно для счастия!» И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастие — вот что, — сказал он сам себе, — счастие в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастия; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастия незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. «Ведь ничего для себя не нужно, — все думал он, — отчего же не жить для других?» Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтоб обдумать все это и найти случай сделать добро, вышел из чащи. Выбравшись на поляну, он оглянулся: солнца уже не было видно, за вершинами дерев становилось прохладнее, и местность показалась ему совершенно незнакома и непохожа на ту, которая окружала станицу. Все вдруг переменилось — и погода, и характер леса; небо заволакивало тучами, ветер шумел в вершинах дерев, кругом виднелись только камыш и перестоялый поломанный лес. Он стал кликать собаку, которая отбежала от него за каким-то зверем, и голос его отозвался ему пустынно. И вдруг ему стало страшно жутко. Он стал трусить. Пришли в голову абреки, убийства, про которые ему рассказывали, и он ждал: вот-вот выскочит из каждого куста чеченец, и ему придется защищать жизнь и умирать или трусить. Он вспомнил и о боге, и о будущей жизни так, как не вспоминал этого давно. А кругом была та же мрачная, строгая, дикая природа. «И стоит ли того, чтобы жить для себя, — думал он, — когда вот-вот умрешь, и умрешь, не сделав ничего доброго, и так, что никто не узнает». Он пошел по тому направлению, где предполагал станицу. Об охоте он уже не думал, чувствовал убийственную усталость и особенно внимательно, почти с ужасом, оглядывал каждый куст и дерево,

ожидая ежеминутно расчета с жизнию. Покружившись довольно долго, он выбрался на канаву, по которой текла песчаная, холодная вода из Терека, и, чтобы больше не плутать, решился пойти по ней. Он шел, сам не зная, куда выведет его канава. Вдруг сзади его затрещали камыши. Он вздрогнул и схватился за ружье. Ему стало стыдно себя: зарьявшая собака, тяжело дыша, бросилась в холодную воду канавы и стала лакать ее.

Он напился вместе с нею и пошел по тому направлению, куда она тянула, полагая, что она выведет его в станицу. Но, несмотря на товарищество собаки, вокруг ему всё казалось еще мрачнее. Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах старых поломанных деревьев. Какие-то большие птицы с визгом вились около гнезд этих деревьев. Растительность становилась беднее, чаще попадался шушукающий камыш и голые песчаные полянки, избитые звериными следами. К гулу ветра присоединялся еще какой-то невеселый, однообразный гул. Вообще на душе становилось пасмурно. Он ощупал сзади фазанов и одного не нашел. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом. Ему стало так страшно, как никогда. Он стал молиться богу, и одного только боялся, что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего; а ему так хотелось жить, жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения.

XXI

Вдруг как солнце просияло в его душе. Он услыхал звуки русского говора, услыхал быстрое и равномерное течение Терека, и шага через два перед ним открылась коричневая продвигающаяся поверхность реки, с бурым мокрым песком на берегах и отмелях, дальняя степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, оседланная лошадь, в треноге ходившая по тернам, и горы. Красное солнце вышло в мгновение из-за тучи и последними лучами весело блеснуло вдоль по реке, по камышам, на вышку и на казаков, собравшихся кучкой, между которыми Лукашка невольно своею бодрою фигурой обратил внимание Оленина.

Оленин почувствовал себя опять, без всякой видимой причины, совершенно счастливым. Он зашел в Нижнепротоцкий пост, на Тереке, против мирного аула на той стороне. Он поздоровался с казаками, но, еще не най-

дя предлога сделать кому-либо добро, вошел в избу. И в избе не представилось случая. Казаки приняли его холодно. Он вошел в мазанку и закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Оленина, во-первых, за то, что он курил папироску, во-вторых, оттого, что у них было другое развлечение в этот вечер. Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого абрека, выкупать тело. Ждали из станицы казачье начальство. Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженною и выкрашенною краскою бородой, несмотря на то, что был в оборваннейшей черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь. Он был очень похож лицом на убитого абрека. Никого он не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого и, сидя в тени на корточках, только сплевывал, куря трубочку, и изредка издавал несколько повелительных гортанных звуков, которым почтительно внимал его спутник. Видно было, что это джигит, который уже не раз видал русских совсем в других условиях, и что теперь ничто в русских не только не удивляло, но и не занимало его. Оленин подошел было к убитому и стал смотреть на него, но брат, спокойно-презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкеской лицо убитого. Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице джигита; он заговорил было с ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него, презрительно сплюнул и отвернулся. Оленин так удивился тому, что горец не интересовался им, что равнодушие его объяснил себе только глупостью или непониманием языка. Он обратился к его товарищу. Товарищ, лазутчик и переводчик, был такой же оборванный, но черный, а не рыжий, вертлявый, с белейшими зубами и сверкающими черными глазами. Лазутчик охотно вступил в разговор и попросил папироску.

— Их пять братьев, — рассказывал лазутчик на своем ломаном полурусском языке, — вот уж это третье его брата русские бьют, только два остались; он джигит, очень джигит, — говорил лазутчик, указывая на чеченца. — Когда убили Ахмед-хана (так звали убитого абрека), он на той стороне в камышах сидел; он все видел: как его в каюк клали и как на берег привезли. Он до ночи сидел; хотел старика застрелить, да другие не пустили.

Лукашка подошел к разговаривающим и подсел.

— А из какого аула? — спросил он.

— Вон, в тех горах, — отвечал лазутчик, указывая за Терек, в голубоватое туманное ущелье. — Суюк-су знаешь? Верст десять за ним будет.

— В Суюк-су Гирей-хана знаешь? — спросил Лукашка, видимо гордясь этим знакомством. — Кунак мне.

— Сосед мне, — отвечал лазутчик.

— Молодец! — И Лукашка, видимо очень заинтересованный, заговорил по-татарски с переводчиком.

Скоро приехали верхом сотник и станичный со свитою двух казаков. Сотник, из новых казачьих офицеров, поздоровался с казаками; но ему не крикнул никто в ответ, как армейские: «Здравия желаем, ваше благородие», и только кое-кто ответил простым поклоном. Некоторые, и Лукашка в том числе, встали и вытянулись. Урядник донес, что на посту все обстоит благополучно. Все это смешно показалось Оленину: точно эти казаки играли в солдат. Но форменность скоро перешла в простые отношения; и сотник, который был такой же ловкий казак, как и другие, стал бойко говорить по-татарски с переводчиком. Написали какую-то бумагу, отдали ее лазутчику, у него взяли деньги и приступили к телу.

— Гаврилов Лука который у вас? — проговорил сотник.

Лукашка снял шапку и подошел.

— О тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю; я написал к кресту, — в урядники рано. Ты грамотен?

— Никак нет.

— А какой молодец из себя! — сказал сотник, продолжая играть в начальника. — Накройся. Он чьих Гавриловых? Широкого, что ль?

— Племянник, — отвечал урядник.

— Знаю, знаю. Ну, берись, подсоби им, — обратился он к казакам.

Лукашкино лицо так и светилось радостью и казалось красивее обыкновенного. Отойдя от урядника и накрывшись, он снова подсел к Оленину.

Когда тело отнесено было в каюк, чеченец-брат подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильною ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как Оленин заметил, быстрым взглядом окинул всех казаков

и опять что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку. Чеченец взглянул на него и, медленно отвернувшись, стал смотреть на тот берег. Не ненависть, а холодное презрение выразилось в этом взгляде. Он еще сказал что-то.

— Что он сказал? — спросил Оленин у вертлявого переводчика.

— Твоя наша бьет, наша ваша коробчит. Все одна хурда-мурда, — сказал лазутчик, видимо обманывая, засмеялся, оскаливая свои белые зубы, и вскочил в каюк.

Брат убитого сидел, не шевелясь, и пристально глядел на тот берег. Он так ненавидел и презирал, что ему даже любопытного ничего тут не было. Лазутчик, стоя на конце каюка, перенося весло то на ту, то на другую сторону, ловко правил и говорил без умолку. Наискось перебивая течение, каюк становился меньше и меньше, голоса долетали чуть слышно, и наконец, в глазах, они пристали к тому берегу, где стояли их лошади. Там они вынесли тело; несмотря на то, что шарахалась лошадь, положили его через седло, сели на коней и шагом поехали по дороге мимо аула, из которого толпа народа вышла смотреть на них. Казаки же на этой стороне были чрезвычайно довольны и веселы. Со всех сторон слышались смех и шуточки. Сотник с станичным пошли угоститься в мазанку. Лукашка с веселым лицом, которому тщетно старался он придать степенный вид, сидел подле Оленина, опершись локтями на колена и строгая палочку.

— Что это вы курите? — сказал он, как будто с любопытством, — разве хорошо?

Он, видимо, сказал это только потому, что замечал, что Оленину неловко и что он одинок среди казаков.

— Так, привык, — отвечал Оленин, — а что?

— Гм! Коли бы наш брат курить стал, беда! Вон ведь недалеко горы-то, — сказал Лукашка, указывая в ущелье, — а не доедешь!.. Как же вы домой одни пойдете: темно? Я вас провожу, коли хотите, — сказал Лукашка, — вы попросите у урядника.

«Какой молодец», — подумал Оленин, глядя на веселое лицо казака. Он вспомнил про Марьянку и про поцелуй, который он подслушал за воротами, и ему стало жалко Лукашку, жалко его необразование. «Что за вздор и путаница? — думал он. — Человек убил другого, и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрас-

ное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?»

— Ну, не попадайся ему теперь, брат, — сказал один из казаков, провожавших каюк, обращаясь к Лукашке, — слыхал, как про тебя спросил?

Лукашка поднял голову.

— Крестник-то? — сказал Лукашка, разумея под этим словом чеченца.

— Крестник-то не встанет, а рыжий братец-то крестовый.

— Пускай бога молит, что сам цел ушел, — сказал Лукашка, смеясь.

— Чему ж ты радуешься? — сказал Оленин Лукашке. — Как бы твоего брата убили, разве бы ты радовался?

Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял все, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений.

— А что ж? И не без того! Разве нашего брата не бьют?

XXII

Сотник с станичным уехали; а Оленин для того, чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. Оленин думал, что Лукашке хочется видеть Марьянку, и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. Лукашка и Марьянка невольно соединялись в его воображении, и он находил удовольствие думать о них. «Он любит Марьяну, — думал себе Оленин, — а я бы мог любить ее». И какое-то сильное и новое для него чувство умиления овладевало им, в то время как они шли домой по темному лесу. Лукашке тоже было весело на душе. Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться.

— Тебе в какие ворота? — спросил Оленин.

— В средние. Да я вас провожу до болота. Там уж вы не бойтесь ничего.

Оленин засмеялся.

— Да разве я боюсь? Ступай назад, благодарствую. Я один дойду.

— Ничего! А мне что ж делать! Как вам не бояться? И мы боимся, — сказал Лукашка, тоже смеясь и успокоивая его самолюбие.

— Ты ко мне зайди. Поговорим, выпьем, а утром ступай.

— Разве я места не найду, где ночку ночевать, — засмеялся Лукашка, — да урядник просил прийти.

— Я вчера слышал, ты песни пел, и еще тебя видел...

— Все люди... — И Лука покачал головой.

— Что, ты женишься, правда? — спросил Оленин.

— Матушка женить хочет. Да еще и коня нет.

— Ты не строевой?

— Где ж! Только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде. Оттого и не женят.

— А сколько конь стоит?

— Торговали намедни одного за рекой, так шестьдесят монетов не берут, а конь ногайский.

— Пойдешь ты ко мне в драбанты? (В походе драбант есть нечто вроде вестового, которых давали офицерам.) Я тебя выхлопочу и коня тебе подарю, — вдруг сказал Оленин. — Право, у меня два, мне не нужно.

— Как не нужно? — смеясь сказал Лукашка. — Что вам дарить? Мы разживемся, бог даст.

— Право! Или не пойдешь в драбанты? — сказал Оленин, радуясь тому, что ему пришло в голову подарить коня Лукашке. Ему, однако, отчего-то неловко и совестно было. Он искал и не знал, что сказать.

Лукашка первый прервал молчание.

— Что у вас в России дом есть свой? — спросил он.

Оленин не мог удержаться, чтобы не рассказать, что у него не только один дом, но и несколько домов есть.

— Хороший дом? больше наших? — добродушно спросил Лукашка.

— Много больше, в десять раз, в три яруса, — рассказывал Оленин.

— А кони есть такие, как у нас?

— У меня сто голов лошадей, да по триста, по четыреста рублей, только не такие, как ваши. Серебром триста! Рысистые, знаешь... А все я здешних лучше люблю.

— Что ж вы сюда приехали, волей или неволей? — спросил Лукашка, все как будто посмеиваясь. — Вот

вы где заплутались, — прибавил он, указывая на дорожку, мимо которой они проходили, — вам бы надо вправо.

— Так, по своей охоте, — отвечал Оленин, — хотелось посмотреть ваши места, в походах походить.

— Сходил бы в поход нынче, — сказал Лука. — Ишь, чакалки воют, — прибавил он, прислушиваясь.

— Да что тебе не страшно, что ты человека убил? — спросил Оленин.

— Чего ж бояться? А сходил бы в поход! — повторил Лукашка. — Так мне хочется, так мне хочется...

— Может быть, пойдем вместе. Наша рота пойдет перед праздником и ваша сотня тоже.

— И охота вам сюда ехать! Дом есть, кони есть и холопы есть. Я бы гулял да гулял. Что вы чин какой имеете?

— Я юнкер, а теперь представлен.

— Ну, коли не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда бы не уехал. Да я и так никуда бы не уехал. Хорошо у нас жить?

— Да. Очень хорошо, — сказал Оленин.

Уже было совсем темно, когда они, разговаривая таким образом, подходили к станице. Еще их окружал темный мрак леса. Ветер высоко гудел в вершинах. Чакалки, казалось, подле них вдруг завывали, хохотали и плакали; а впереди, в станице, уже слышался женский говор, лай собак, ясно обозначались профили хат, светились огни и тянуло запахом, особенным запахом дыма кизяка. Так и чувствовалось Оленину, особенно в этот вечер, что тут в станице его дом, его семья, все его счастие и что никогда нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Он так любил всех и особенно Лукашку в этот вечер! Придя домой, Оленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клети купленную им в Грозной — не ту, на которой он всегда ездил, но другую, недурную, хотя и не молодую — лошадь и отдал ему.

— За что вам меня дарить? — сказал Лукашка. — Я вам еще не услужил ничем.

— Право, мне ничего не стоит, — отвечал Оленин, — возьми, и ты мне подаришь что... Вот и в поход пойдем.

Лука смутился.

— Ну, что ж это? Разве конь малого стоит, — говорил он, не глядя на лошадь.

— Возьми же, возьми! Коли ты не возьмешь, ты меня обидишь. Ванюша, отведи к нему серого.

Лукашка взял за повод.

— Ну, благодарствуй. Вот, недумано, негадано...

Оленин был счастлив, как двенадцатилетний мальчик.

— Привяжи ее здесь. Она хорошая лошадь, я в Грозной купил, и скачет лихо. Ванюша, дай нам чихирю. Пойдем в хату.

Подали вино. Лукашка сел и взял чапуру.

— Бог даст, и я вам отслужу, — сказал он, допивая вино. — Как звать-то тебя?

— Дмитрий Андреич.

— Ну, Митрий Андреич, спаси тебя бог. Кунаки будем. Теперь приходи к нам когда. Хоть и не богатые мы люди, а все кунака угостим. Я и матушке прикажу, коли чего нужно: каймаку или винограду. А коли на кордон придешь, я тебе слуга, на охоту, за реку ли, куда хочешь. Вот намедни не знал: какого кабана убил! Так по казакам роздал, а то бы тебе принес.

— Хорошо, благодарствуй. Ты ее только не запрягай, а то она не ездила.

— Как коня запрягать! А вот еще я тебе скажу, — понизив голову, сказал Лукашка, — коли хочешь, мне кунак есть, Гирей-хан; звал на дорогу засесть, где из гор ездят, так вместе поедем; уж я тебя не выдам, твой мюрид буду.

— Поедем, поедем когда-нибудь.

Лукашка, казалось, совершенно успокоился и понял отношение Оленина к нему. Его спокойствие и простота обращения удивили Оленина и были даже немного неприятны ему. Они долго беседовали, и уже поздно Лукашка, не пьяный (он никогда не бывал пьян), но много выпивши, пожав Оленину руку, вышел от него.

Оленин выглянул в окно посмотреть, что он будет делать, выйдя от него. Лукашка шел тихо, опустив голову вниз. Потом, выведя коня за ворота, вдруг встряхнул головой, как кошка вскочил на него, перекинул повод недоуздка и, гикнув, закатился вдоль по улице. Оленин думал, что он пойдет поделиться своею радостью с Марьянкой; но несмотря на то, что Лука этого не сделал, ему было так хорошо на душе, как никогда в мире. Он как мальчик радовался и не мог удержаться,

чтобы не рассказать Ванюше не только то, что он подарил лошадь Луке, но и зачем подарил, и всю свою новую теорию счастья. Ванюша не одобрил этой теории и объявил, что *ларжан ильньяпа*[1], и потому все это пустяки.

Лукашка забежал домой, соскочил с коня и отдал его матери, наказав пустить его в казачий табун; сам же он в ту же ночь должен был вернуться на кордон. Немая взялась свести коня и знаками показывала, что она как увидит человека, который подарил лошадь, так и поклонится ему в ноги. Старуха только покачала головой на рассказ сына и в душе порешила, что Лукашка украл лошадь, и потому приказала немой вести коня в табун еще до света.

Лукашка пошел один на кордон и все раздумывал о поступке Оленина. Хотя конь и не хорош был по его мнению, однако стоил по крайней мере сорок *монетов*, и Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять, и потому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера. В чем состояли эти умыслы, он не мог дать себе отчета, но и допустить мысль, что так, ни за что, по доброте незнакомый человек подарил ему лошадь в сорок *монетов*, ему казалось невозможно. Коли бы пьяный был, тогда бы еще понятно было: хотел покуражиться. Но юнкер был трезв, а потому, верно, хотел подкупить его на какое-нибудь дурное дело. «Ну да врешь! — думал Лукашка. — Конь-то у меня, а там видно будет. Я сам малый не промах. Еще кто кого проведет! Посмотрим!» — думал он, испытывая потребность быть настороже против Оленина и потому возбуждая в себе к нему недоброжелательное чувство. Он никому не рассказывал, как ему достался конь. Одним говорил, что купил; от других отделывался уклончивым ответом. Однако в станице скоро узнали правду. Мать Лукашки, Марьяна, Илья Васильевич и другие казаки, узнавшие о беспричинном подарке Оленина, пришли в недоумение и стали опасаться юнкера. Несмотря на такие опасения, поступок этот возбудил в них большое уважение к *простоте* и богатству Оленина.

— Слышь, Лукашке коня в пятьдесят монетов бро-

[1] денег нет *(искаж. фр.)*.

сил юнкирь-то, что у Ильи Васильича стоит, — говорил один. — Богач!

— Слыхал, — отвечал другой глубокомысленно. — Должно, услужил ему. Поглядим, поглядим, что из него будет. Эко Урвану счастье.

— Экой народ продувной из юнкирей, беда! — говорил третий. — Как раз подожжет или что.

XXIII

Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он имел мало дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. На работы и на учение его не посылали. За экспедицию он был представлен в офицеры, а до того времени оставляли его в покое. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. Картежная игра и офицерские кутежи с песенниками, которые он испытал в отряде, казались ему непривлекательными, и он с своей стороны тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице. Офицерская жизнь в станицах давно уже имеет свой определенный склад. Как каждый юнкер или офицер в крепости регулярно пьет портер, играет в штос, толкует о наградах за экспедиции, так в станице регулярно пьет с хозяевами чихирь, угощает девок закусками и медом, волочится за казачками, в которых влюбляется; иногда и женится. Оленин жил всегда своеобразно и имел бессознательное отвращение к битым дорожкам. И здесь также не пошел он по избитой колее жизни кавказского офицера.

Само собой сделалось, что он просыпался вместе с светом. Напившись чаю и полюбовавшись с своего крылечка на горы, на утро и на Марьянку, он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье, мешочек с закуской и табаком, звал за собой собаку и отправлялся часу в шестом утра в лес за станицу. Часу в седьмом вечера он возвращался усталым, голодным, с пятью-шестью фазанами за поясом, иногда с зверем, с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Ежели бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешке, то можно было

бы видеть, что за все эти четырнадцать часов ни одна мысль не пошевелилась в нем. Он приходил домой морально свежий, сильный и совершенно счастливый. Он не мог бы сказать, о чем он думал все это время. Не то мысли, не то воспоминания, не то мечты бродили в его голове, — бродили отрывки всего этого. Опомнится, спросит: о чем он думает? И застает себя или казаком, работающим в садах с казачкою женою, или абреком в горах, или кабаном, убегающим от себя же самого. И все прислушивается, вглядывается и ждет фазана, кабана или оленя.

Вечером уж непременно сидит у него дядя Ерошка. Ванюша приносит осьмуху чихиря, и они тихо беседуют, напиваются и оба довольные расходятся спать. На завтра опять охота, опять здоровая усталость, опять за беседой так же напиваются и опять счастливы. Иногда, в праздник или в день отдыха, он целый день проводит дома. Тогда главным занятием была Марьянка, за каждым движением которой, сам того не замечая, он жадно следил из своих окон или с своего крыльца. Он смотрел на Марьянку и любил ее (как ему казалось) так же, как любил красоту гор и неба, и не думал входить ни в какие отношения к ней. Ему казалось, что между им и ею не может существовать ни тех отношений, которые возможны между ею и казаком Лукашкой, ни еще менее тех, которые возможны между богатым офицером и казачкой-девкой. Ему казалось, что ежели бы он попытался сделать то, что делали его товарищи, то он бы променял свое полное наслаждений созерцание на бездну мучений, разочарований и раскаяний. Притом же, в отношении к этой женщине, он уже сделал подвиг самоотвержения, доставивший ему столько наслаждения; а главное, почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви.

Однажды летом Оленин не пошел на охоту и сидел дома. Совершенно неожиданно вошел к нему его московский знакомый, очень молодой человек, которого он встречал в свете.

— Ах, mon cher, мой дорогой, как я обрадовался, узнав, что вы здесь! — начал он на московском французском языке и так продолжал, пересыпая свою речь французскими словами. — Мне говорят: «Оленин». Какой Оленин? Я так обрадовался... Вот привела судьба свидеться. Ну, как вы? что? зачем?

И князь Белецкий рассказал всю свою историю: как он поступил на время в этот полк, как главнокомандующий звал его в адъютанты и как он после похода поступит к нему, несмотря на то, что вовсе этим не интересуется.

— Служа здесь, в этой трущобе, надо по крайней мере сделать карьеру... крест... чин... в гвардию переведут. Все это необходимо, хоть не для меня, но для родных, для знакомых. Князь меня принял очень хорошо; он очень порядочный человек, — говорил Белецкий, не умолкая. — За экспедицию представлен к Анне. А теперь проживу здесь до похода. Здесь отлично. Какие женщины! Ну, а вы как живете? Мне говорил наш капитан — знаете, Старцев: доброе, глупое существо... он говорил, что вы ужасным дикарем живете, ни с кем не видитесь. Я понимаю, что вам не хочется сближаться с здешними офицерами. Я рад, теперь мы с вами будем видеться. Я тут остановился у урядника. Какая там девочка, Устенька! Я вам скажу — прелесть!

И еще и еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал Оленин, был покинут им навсегда. Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой; но Оленину он показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всею тою гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый, бывший его мир имел на него неотразимые права. Он злился на Белецкого и на себя и против своей воли вставлял французские фразы в свой разговор, интересовался главнокомандующим и московскими знакомыми и на основании того, что они оба в казачьей станице говорили на французском диалекте, с презрением относился о товарищах-офицерах, о казаках и дружески обошелся с Белецким, обещаясь бывать у него и приглашая заходить к нему. Сам Оленин однако не ходил к Белецкому. Ванюша одобрил Белецкого, сказав, что это настоящий барин.

Белецкий сразу вошел в обычную жизнь богатого кавказского офицера в станице. На глазах Оленина он в один месяц стал как бы старожилом станицы: он подпаивал стариков, делал вечеринки и сам ходил на ве-

черинки к девкам, хвастался победами и даже дошел до того, что девки и бабы прозвали его почему-то дедушкой, а казаки, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, привыкли к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них загадкой.

XXIV

Было 5 часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. Оленин уже уехал верхом купаться на Терек. (Он недавно выдумал себе новое удовольствие — купать в Тереке лошадь.) Хозяйка была в своей *избушке,* из трубы которой поднимался черный густой дым растапливавшейся печи; девка в клети доила буйволицу. «Не постоит, проклятая!» — слышался оттуда ее нетерпеливый голос и вслед за тем раздавался равномерный звук доения. На улице, около дома послышался бойкий шаг лошади, и Оленин *охлепью* на красивом, невысохшем глянцевито-мокром, темно-сером коне подъехал к воротам. Красивая голова Марьяны, повязанная одним красным платком (называемым сорочкой), высунулась из клети и снова скрылась. На Оленине была красная канаусовая рубаха, белая черкеска, стянутая ремнем с кинжалом, и высокая шапка. Он несколько изысканно сидел на мокрой спине сытой лошади, и, придерживая ружье за спиной, нагнулся, чтоб отворить ворота. Волоса его еще были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита; но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат. Заметив высунувшуюся голову девки, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддержав поводья, взмахнув плетью, въехал на двор. «Готов чай, Ванюша?» — крикнул он весело, не глядя на дверь клети; он с удовольствием чувствовал, как, поджимая зад, попрашивая поводья и содрогаясь каждым мускулом, красивый конь, готовый со всех ног перескочить через забор, отбивал шаг по засохшей глине двора. *«Се пре!»*[1] — отвечал Ванюша. Оленину казалось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клети, но он не оглянулся на нее. Соскочив с лошади, Оленин

[1] Готово! (*фр.* c'est prêt).

зацепил ружьем за крылечко, сделал неловкое движение и испуганно оглянулся на клеть, в которой никого не было видно и слышались те же равномерные звуки доенья.

Войдя в хату, он через несколько времени вышел оттуда на крылечко и с книгой и трубкой, за стаканом чаю, уселся в стороне, не облитой еще косыми лучами утра. Он никуда не собирался до обеда в этот день и намеревался писать давно откладывавшиеся письма; но почему-то жалко было ему оставить свое местечко на крыльце и, как в тюрьму, не хотелось вернуться в хату. Хозяйка вытопила печь, девка угнала скотину и, вернувшись, стала собирать и лепить кизяки по забору. Оленин читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигавшуюся перед ним сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень, падавшую от дома, выходила ли она на средину двора, освещенного радостным молодым светом, и вся стройная фигура ее в яркой одежде блистала на солнце и клала черную тень, — он одинаково боялся потерять хоть одно из ее движений. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубаха, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног; как выпрямлялся ее стан и под ее стянутою рубахой твердо обозначались черты дышащей груди; как узкая ступня, обутая в красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю; как сильные руки, с засученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито бросали лопатой, и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него. Хотя и хмурились тонкие брови, но в глазах выражалось удовольствие и чувство своей красоты.

— Что, Оленин, уж вы давно встали? — сказал Белецкий, в кавказском офицерском сюртуке входя на двор и обращаясь к Оленину.

— А, Белецкий! — отозвался Оленин, протягивая руку. — Как вы так рано?

— Что делать! Выгнали. У меня нынче бал. Марьяна, ты ведь придешь к Устеньке? — обратился он к девке.

Оленин удивился, как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не

слыхав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своею бойкою мужскою походкой пошла к избушке.

— Стыдится, нянюка, стыдится, — проговорил ей вслед Белецкий, — вас стыдится, — и, весело улыбаясь, взбежал на крыльцо.

— Как, бал у вас? Кто вас выгнал?

— У Устеньки, у моей хозяйки, бал, и вы приглашены. Бал, то есть пирог и собрание девок.

— Да что ж мы-то будем делать?

Белецкий хитро улыбнулся, и, подмигнув, показал головой на *избушку,* в которой скрылась Марьяна.

Оленин пожал плечами и покраснел.

— Ей-богу, вы странный человек! — сказал он.

— Ну, рассказывайте!

Оленин нахмурился. Белецкий заметил это и искательно улыбнулся.

— Да как же, помилуйте, — сказал он, — живете в одном доме... и такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица...

— Удивительная красавица! Я не видывал таких женщин, — сказал Оленин.

— Ну, так что же? — совершенно ничего не понимая, спросил Белецкий.

— Оно, может быть, странно, — отвечал Оленин, — но отчего мне не говорить того, что есть? С тех пор, как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. И так хорошо, право! Ну, да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерошка — другое дело; с ним у нас общая страсть — охота.

— Ну, вот! Что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной? То же самое. Скажете, что грязненьки они, ну это другое дело. A la guerre comme à la guerre![1]

— Да я Амалий Ивановн не знал и никогда не умел с ними обращаться, — отвечал Оленин. — Но тех нельзя уважать, а этих я уважаю.

— Ну и уважайте! Кто ж вам мешает?

Оленин не отвечал. Ему, видимо, хотелось договорить то, что он начал. Оно было ему слишком к сердцу.

— Я знаю, что я составляю исключение. (Он, видимо, был смущен.) Но жизнь моя устроилась так, что я не вижу не только никакой потребности изменять свои пра-

[1] На войне, как на войне! *(фр.)*

вила, но я бы не мог жить здесь, не говорю уже жить так счастливо, как живу, ежели бы я жил по-вашему. И потом, я совсем другого ищу, другое вижу в них, чем вы.

Белецкий недоверчиво поднял брови.

— Все-таки приходите ко мне вечерком, и Марьяна будет, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста! Ну, скучно будет, вы уйдете. Придете?

— Я бы пришел; но, по правде вам скажу, я боюсь серьезно увлечься.

— О, о, о! — закричал Белецкий. — Приходите только, я вас успокою. Придете? Честное слово?

— Я бы пришел, но, право, я не понимаю, что мы будем делать, какую роль мы будем играть.

— Пожалуйста, я вас прошу. Придете?

— Да, приду, может быть, — сказал Оленин.

— Помилуйте, прелестные женщины, как нигде, и жить монахом! Что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть? Слышали вы, наша рота в Воздвиженскую пойдет?

— Едва ли. Мне говорили, что 8-я рота пойдет, — сказал Оленин.

— Нет, я получил письмо от адъютанта. Он пишет, что князь будет сам в походе. Я рад, мы с ним увидимся. Уж мне начинает надоедать здесь.

— Говорят, что в набег скоро.

— Не слыхал; а слыхал, что Криновицыну за набег-то Анна вышла. Он ждал поручика, — сказал Белецкий, смеясь. — Вот попался-то. Он в штаб поехал...

Стало смеркаться, и Оленин начал думать о вечеринке. Приглашение мучило его. Ему хотелось идти, но странно, дико и немного страшно было подумать о том, что там будет. Он знал, что ни казаков, ни старух, никого, кроме девок, не должно быть там. Что такое будет? Как вести себя? Что говорить? Что они будут говорить? Какие отношения между ним и этими дикими казачьими девками? Белецкий рассказывал про такие странные, цинические и вместе строгие отношения... Ему странно было думать, что он будет там в одной хате с Марьяной и, может быть, ему придется говорить с ней. Ему это казалось невозможным, когда он вспоминал ее величавую осанку. Белецкий же рассказывал, что все это так просто. «Неужели Белецкий и с Марьяной будет так же обращаться? Это интересно, — думал

он. — Нет, лучше не ходить. Все это гадко, пошло, а главное — ни к чему». Но опять его мучил вопрос: как это все будет? И его как будто связывало данное слово. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему.

Хата, в которой жил Белецкий, была такая же, как и хата Оленина. Она стояла на столбах, в два аршина от земли и состояла из двух комнат. В первой, в которую вошел Оленин по крутой лесенке, лежали пуховики, ковры, одеяла, подушки на казачий манер, красиво и изящно прибранные друг к другу у одной лицевой стены. Тут же, на боковых стенах, висели медные тазы и оружие; под лавкой лежали арбузы и тыквы. Во второй комнате была большая печь, стол, лавки и староверческие иконы. Здесь помещался Белецкий с своею складною кроватью, вьючными чемоданами, с ковриком, на котором висело оружие, и с расставленными на столе туалетными вещицами и портретами. Шелковый халат был брошен на лавке. Сам Белецкий, хорошенький, чистенький, лежал в одном белье на кровати и читал Les trois mousquetaires [1].

Белецкий вскочил.

— Вот видите, как я устроился. Славно? Ну, хорошо, что пришли. Уж у них идет работа страшная. Вы знаете, из чего делается пирог? Из теста с свининой и виноградом. Да не в том сила. Посмотрите-ка, что там кипит!

Действительно, выглянув в окно, они увидели необыкновенную суетню в хозяйской хате. Девки то с тем, то с другим выбегали из сеней и вбегали обратно.

— Скоро ли? — крикнул Белецкий.

— Сейчас! Аль проголодался, дедушка? — И из хаты послышался звонкий хохот.

Устенька, пухленькая, румяненькая, хорошенькая, с засученными рукавами вбежала в хату Белецкого за тарелками.

— Ну, ты! Вот тарелки разобью, — завизжала она на Белецкого. — Ты бы шел пособлять, — прокричала она, смеясь, на Оленина. — Да *закусок*-то [2] девкам припаси.

— А Марьянка пришла? — спросил Белецкий.

— А то как же? Она тесто принесла.

[1] «Три мушкетера» *(фр.)*.

[2] Закусками называются пряники и конфеты.

— Вы знаете ли, — сказал Белецкий, — что ежели бы одеть эту Устеньку да подчистить, похолить немножко, она была бы лучше всех наших красавиц. Видели вы казачку Борщеву? Она вышла замуж за полковника. Прелесть какая dignité![1] Откуда что взялось...

— Я не видал Борщевой, а по мне лучше этого наряда ничего быть не может.

— Ах, я так умею примириться со всякою жизнью! — сказал Белецкий, весело вздыхая. — Пойду посмотрю, что у них.

Он накинул халат и побежал.

— А вы озаботьтесь закусками! — крикнул он.

Оленин послал денщика за пряниками и медом; и так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то, что он ничего определенного не ответил на вопрос денщика: «Сколько купить мятных, сколько медовых?».

— Как знаешь.

— На все-с? — значительно спросил старый солдат. — Мятные дороже. По шестнадцати продавали.

— На все, на все, — сказал Оленин и сел к окну, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное и нехорошее готовился.

Он слышал, как в девичьей хате поднялся крик и визг, когда вошел туда Белецкий, и через несколько минут увидел, как с визгом, возней и смехом он выскочил оттуда и сбежал с лесенки.

— Выгнали, — сказал он.

Через несколько минут Устенька вошла в хату и торжественно пригласила гостей, объявив, что все готово.

Когда они вошли в хату, все действительно было готово, и Устенька оправляла пуховики в стене. На столе, накрытом несоразмерно малою салфеткой, стоял графин с чихирем и сушеная рыба. В хате пахло тестом и виноградом. Человек шесть девок, в нарядных бешметах и необвязанные платками, как обыкновенно, жались в углу за печкою, шептались, смеялись и фыркали.

— Просим покорно моего ангела *помолить*, — сказала Устенька, приглашая гостей к столу.

Оленин в толпе девок, которые все без исключения были красивы, рассмотрел Марьянку, и ему больно и досадно стало, что он сходится с нею в таких пошлых

[1] осанка *(фр.)*.

и неловких условиях. Он чувствовал себя глупым и неловким и решился делать то же, что делал Белецкий. Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу, выпил стакан вина за здоровье Устеньки и пригласил других сделать то же. Устенька объявила, что девки не пьют.

— С медом бы можно, — сказал чей-то голос из толпы девок.

Кликнули денщика, только что вернувшегося из лавочки с медом и закусками. Денщик исподлобья, не то с завистью, не то с презрением, оглядев *гулявших,* по его мнению, господ, старательно и добросовестно передал завернутые в серую бумагу кусок меда и пряники и стал было распространяться о цене и сдаче; но Белецкий прогнал его.

Размешав мед в налитых стаканах чихиря и роскошно раскинув три фунта пряников по столу, Белецкий вытащил девок силой из их угла, усадил за стол и принялся оделять их пряниками. Оленин невольно заметил, как загорелая, но небольшая рука Марьянки захватила два круглые мятные и один коричневый пряник, не зная, что́ с ними делать. Беседа шла неловкая и неприятная, несмотря на развязность Устеньки и Белецкого и желание их развеселить компанию. Оленин мялся, придумывал, что бы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть, вызывает насмешку и сообщает другим свою застенчивость. Он краснел, и ему казалось, что в особенности Марьяне было неловко. «Верно, они ждут, что мы дадим им денег, — думал он. — Как это мы будем давать? И как бы поскорее дать и уйти!»

XXV

— Как же ты своего постояльца не знаешь? — сказал Белецкий, обращаясь к Марьянке.

— Как же его знать, когда к нам никогда не ходит? — сказала Марьяна, взглянув на Оленина.

Оленин испугался чего-то, вспыхнул и, сам не зная, что говорит, сказал:

— Я твоей матери боюсь. Она меня так разбранила в первый раз, как я зашел к вам.

Марьянка захохотала.

— А ты и испугался? — сказала она, взглянула на него и отвернулась.

Тут в первый раз Оленин увидал все лицо красавицы, а прежде он видал ее обвязанную до глаз платком. Не даром она считалась первою красавицей в станице. Устенька была хорошенькая девочка, маленькая, полненькая, румяная, с веселыми карими глазками, с вечной улыбкой на красных губках, вечно смеющаяся и болтающая. Марьяна, напротив, была отнюдь не *хорошенькая,* но *красавица!* Черты ее лица могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, ежели бы не этот большой стройный рост и могучая грудь и плечи и, главное, ежели бы не это строгое и вместе нежное выражение длинных черных глаз, окруженных темною тенью под черными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки. Она улыбалась редко, но зато ее улыбка всегда поражала. От нее веяло девственною силой и здоровьем. Все девки были красивы, но и сами они, и Белецкий, и денщик, вошедший с пряниками,— все невольно смотрели на Марьяну и, обращаясь к девкам, обращались к ней. Она гордою и веселою царицей казалась между другими.

Белецкий, стараясь поддерживать приличие вечеринки, не переставая болтал, заставлял девок подносить чихирь, возился с ними и беспрестанно делал Оленину неприличные замечания по-французски о красоте Марьянки, называя ее «ваша», *la vôtre,* и приглашая его делать то же, что он сам. Оленину становилось тяжеле и тяжеле. Он придумал предлог, чтобы выйти и убежать, когда Белецкий провозгласил, что именинница Устенька должна подносить чихирь с поцелуями. Она согласилась, но с тем уговором, чтобы ей на тарелку клали деньги, как это делается на свадьбах. «И черт меня занес на эту отвратительную пирушку!» — сказал про себя Оленин и, встав, хотел уйти.

— Куда вы?

— Я пойду табак принесу, — сказал он, намереваясь бежать, но Белецкий ухватил его за руку.

— У меня есть деньги, — сказал он ему по-французски.

«Нельзя уйти, тут надо платить, — подумал Оленин, и ему стало так досадно на свою неловкость. — Неужели я не могу то же делать, что и Белецкий? Не надо было идти, но раз пришел, не надо портить их удовольствия. Надо пить по-казацки», — и, взяв чапуру (деревянную чашку, вмещающую в себе стаканов восемь),

налил вина и выпил почти всю. Девки с недоумением и почти с испугом смотрели на него, когда он пил. Это им казалось странно и неприлично. Устенька поднесла им еще по стакану и поцеловалась с обоими.

— Вот, девки, загуляем, — сказала она, встряхивая на тарелке четыре *монета,* которые положили они.

Оленину уже не было неловко. Он разговорился.

— Ну, теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем, — сказал Белецкий, схватывая ее за руку.

— Да я тебя так поцелую! — сказала она, шутя замахиваясь на него.

— Дедушку и без денег поцеловать можно, — подхватила другая девка.

— Вот умница, — сказал Белецкий и поцеловал отбивавшуюся девку. — Нет, ты поднеси, — настаивал Белецкий, обращаясь к Марьяне. — Постояльцу поднеси.

И, взяв ее за руку, он подвел ее к лавке и посадил рядом с Олениным.

— Какова красавица! — сказал он, поворачивая ее голову в профиль.

Марьяна не отбивалась, а, гордо улыбаясь, повела на Оленина своими длинными глазами.

— Красавица девка, — повторил Белецкий.

«Какова я красавица!» — повторил, казалось, взгляд Марьяны. Оленин, не отдавая себе отчета в том, что он делал, обнял Марьяну и хотел поцеловать ее. Она вдруг вырвалась, столкнула с ног Белецкого и крышку со стола и отскочила к печи. Начался крик, хохот. Белецкий шептал что-то девкам, и вдруг все они выбежали из избы в сени и заперли дверь.

— За что же ты Белецкого поцеловала, а меня не хочешь? — спросил Оленин.

— А так, не хочу, и все, — отвечала она, вздергивая нижнею губой и бровью. — Он дедушка, — прибавила она, улыбаясь. Она подошла к двери и стала стучать в нее. — Что заперлись, черти?

— Что ж, пускай они там, а мы здесь, — сказал Оленин, приближаясь к ней.

Она нахмурилась и строго отвела его от себя рукой. И вновь так величественно хороша показалась она Оленину, что он опомнился и ему стыдно стало за то, что он делает. Он подошел к двери и стал дергать ее.

— Белецкий, отоприте! Что за глупые шутки?

Марьяна опять засмеялась своим светлым, счастливым смехом.

— Ай боишься меня? — сказала она.

— Да ведь ты такая же сердитая, как мать.

— А ты бы больше с Ерошкой сидел, так тебя девки за это и любить бы стали. — И она улыбалась, глядя прямо и близко в его глаза.

Он не знал, что говорить.

— А если б я к вам ходил?.. — сказал он нечаянно.

— Другое бы было, — проговорила она, встряхнув головой.

В это время Белецкий, толкнув, отворил дверь, и Марьяна отскочила на Оленина, так что бедром ударилась о его ногу.

«Все пустяки, что я прежде думал: и любовь, и самоотвержение, и Лукашка. Одно есть счастье: кто счастлив, тот и прав», — мелькнуло в голове Оленина, и с неожиданною для себя силой он схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щеку. Марьяна не рассердилась, а только громко захохотала и выбежала к другим девкам.

Вечеринка тем и кончилась. Старуха, Устенькина мать, вернувшись с работы, разругала и разогнала всех девок.

XXVI

«Да, — думал Оленин, возвращаясь домой, — стоило бы мне немного дать себе поводья, я бы мог безумно влюбиться в эту казачку». Он лег спать с этими мыслями, но думал, что все то пройдет, и он вернется к старой жизни.

Но старая жизнь не вернулась. Отношения его к Марьянке стали другие. Стена, разделявшая их прежде, была разрушена. Оленин уже здоровался с нею каждый раз, как встречался.

Хозяин, приехав получить деньги за квартиру и узнав о богатстве и щедрости Оленина, пригласил его к себе. Старуха ласково принимала его, и со дня вечеринки Оленин часто по вечерам заходил к хозяевам и сиживал у них до ночи. Он, казалось, по-старому продолжал жить в станице, но в душе у него все перевернулось. День он проводил в лесу, а часов в восемь, как смеркалось, заходил к хозяевам, один или с дядей Ерошкой. Хозяева уж так привыкли к нему, что удивля-

лись, когда его не было. Платил он за вино хорошо, и человек был смирный. Ванюша приносил ему чай; он садился в угол к печи; старуха, не стесняясь, делала свое дело, и они беседовали за чаем и за чихирем о казачьих делах, о соседях, о России, про которую Оленин рассказывал, а они расспрашивали. Иногда он брал книгу и читал про себя. Марьяна, как дикая коза, поджав ноги, сидела на печи или в темном углу. Она не принимала участия в разговоре, но Оленин видел ее глаза, лицо, слышал её движения, пощелкиванье семечек и чувствовал, что она слушает всем существом своим, когда он говорил, и чувствовал ее присутствие, когда он молча читал. Иногда ему казалось, что ее глаза устремлены на него, и, встречаясь с их блеском, он невольно замолкал и смотрел на нее. Тогда она сейчас же пряталась, а он, притворяясь, что очень занят разговором с старухой, прислушивался к ее дыханию, ко всем ее движениям и снова дожидался ее взгляда. При других она была большею частию весела и ласкова с ним, а наедине дика и груба. Иногда он приходил к ним, когда Марьяна еще не возвращалась с улицы: вдруг заслышатся ее сильные шаги, и мелькнет в отворенной двери ее голубая ситцевая рубаха. Выйдет она на середину хаты, увидит его, — и глаза ее чуть заметно ласково улыбнутся, и ему станет весело и страшно.

Он ничего не искал, не желал от нее, а с каждым днем ее присутствие становилось для него все более и более необходимостию.

Оленин так вжился в станичную жизнь, что прошедшее показалось ему чем-то совершенно чуждым, а будущее, особенно вне того мира, в котором он жил, вовсе не занимало его. Получая письма из дома, от родных и приятелей, он оскорблялся тем, что о нем видимо сокрушались, как о погибшем человеке, тогда как он в своей станице считал погибшими всех тех, кто не вел такую жизнь, как он. Он был убежден, что никогда не будет раскаиваться в том, что оторвался от прежней жизни и так уединенно и своеобразно устроился в своей станице. В походах, в крепостях ему было хорошо; но только здесь, только из-под крылышка дяди Ерошки, из своего леса, из своей хаты на краю станицы и в особенности при воспоминании о Марьянке и Лукашке ему ясна казалась вся та ложь, в которой он жил прежде и

которая уже и там возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смешна. Он с каждым днем чувствовал себя здесь более и более свободным и более человеком. Совсем иначе, чем он воображал, представился ему Кавказ. Он не нашел здесь ничего похожего на все свои мечты и на все слышанные и читанные им описания Кавказа. «Никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев, — думал он, — люди живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...» И оттого люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя. Часто ему серьезно приходила мысль бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке, — только не на Марьяне, которую он уступал Лукашке, — и жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю, и с казаками в походы. «Что ж я не делаю этого? Чего ж я жду?» — спрашивал он себя. И он подбивал себя, он стыдил себя: «Или я боюсь сделать то, что сам нахожу разумным и справедливым? Разве желание быть простым казаком, жить близко к природе, никому не делать вреда, а еще делать добро людям, разве мечтать об этом глупее, чем мечтать о том, о чем я мечтал прежде, — быть, например, министром, быть полковым командиром?» Но какой-то голос говорил ему, чтоб он подождал и не решался. Его удерживало смутное сознание, что он не может жить вполне жизнью Ерошки и Лукашки, потому что у него есть другое счастие, — его удерживала мысль о том, что счастие состоит в самоотвержении. Поступок его с Лукашкой не переставал радовать его. Он постоянно искал случая жертвовать собой для других, но случаи эти не представлялись. Иногда он забывал этот вновь открытый им рецепт счастия и считал себя способным слиться с жизнью дяди Ерошки; но потом вдруг опоминался и тотчас же хватался за мысль сознательного самоотвержения и на основании ее спокойно и гордо смотрел на всех людей и на чужое счастие.

XXVII

Лукашка, перед уборкой винограда, верхом заехал к Оленину. Он еще более смотрел молодцом, чем обыкновенно.

— Ну, что же ты, женишься? — спросил Оленин, весело встречая его.

Лукашка не отвечал прямо.

— Вот коня вашего променял за рекой! Уж и конь! Кабардинский лов-тавро[1]. Я охотник.

Они осмотрели нового коня, проджигитовали по двору. Конь действительно был необыкновенно хорош: гнедой, широкий и длинный мерин с глянцевитою шерстью, пушистым хвостом и нежною, тонкою, породистою гривой и холкой. Он был сыт так, что на спине его *только спать ложись,* как выразился Лукашка. Копыта, глаз, оскал, — все это было изящно и резко выражено, как бывает только у лошадей самой чистой крови. Оленин не мог не любоваться конем. Он еще не встречал на Кавказе такого красавца.

— А езда-то! — говорил Лукашка, трепля его по шее. — Проезд какой! А умный! Так и бегает за хозяином.

— Много ли придачи дал? — спрашивал Оленин.

— Да не считал, — улыбаясь, отвечал Лукашка. — От кунака достал.

— Чудо, красавица лошадь! Что возьмешь за нее? — спросил Оленин.

— Давали полтораста монетов, а вам так отдам, — сказал Лукашка весело. — Только скажите, отдам. Расседлаю и бери. Мне какого-нибудь давай служить.

— Нет, ни за что.

— Ну, так вот я вам *пешкеш* привез, — и Лукашка распоясался и снял один из двух кинжалов, которые висели у него на ремне. — За рекой достал.

— Ну, спасибо.

— А виноград матушка обещала сама принесть.

— Не нужно, еще сочтемся. Ведь я не стану же давать тебе деньги за кинжал.

— Как можно, — кунаки! Меня так-то за рекой Гирей-хан привел в саклю, говорит: выбирай любое. Вот я эту шашку и взял. Такой у нас закон.

[1] Тавро завода кабардинских лошадей Лова считается одним из лучших на Кавказе.

Они вошли в хату и выпили.

— Что ж, ты поживешь здесь? — спросил Оленин.

— Нет, я проститься пришел. Меня теперь с кордона услали в сотню за Тереком. Нынче еду с Назаром, с товарищем.

— А свадьба когда же?

— Вот скоро приеду, сговор будет, да и опять на службу, — неохотно отвечал Лука.

— Как же так, невесту не увидишь?

— Да так же! Что на нее смотреть-то? Вы как в походе будете, спросите у нас в сотне Лукашку Широкого. И кабанов там что! Я двух убил. Я вас свожу.

— Ну, прощай! Спаси тебя Христос.

Лукашка сел на коня и, не заехав к Марьянке, выехал, джигитуя, на улицу, где уже ждал его Назарка.

— А что? Не заедем? — спросил Назарка, подмигивая на ту сторону, где жила Ямка.

— Вона! — сказал Лукашка. — На, веди к ней коня, а коли я долго не приду, ты коню сена дай. К утру все в сотне буду.

— Что, юнкирь не подарил чего еще?

— Не! Спасибо отдарил его кинжалом, а то коня было просить стал, — сказал Лукашка, слезая с лошади и отдавая ее Назарке.

Под самым окном Оленина шмыгнул он на двор и подошел к окну хозяйской хаты. Было уж совсем темно. Марьянка в одной рубахе чесала косу, собираясь спать.

— Это я, — прошептал казак.

Лицо Марьянки было строго-равнодушно; но оно вдруг ожило, как только она услыхала свое имя. Она подняла окно и испуганно и радостно высунулась в него.

— Чего? Чего надо? — заговорила она.

— Отложи, — проговорил Лукашка. — Пусти меня на минуточку. Уж как наскучило мне! Страсть!

Он в окно обнял ее голову и поцеловал.

— Право, отложи.

— Что говоришь пустое! Сказано, не пущу. Что ж, надолго?

Он не отвечал и только целовал ее. И она не спрашивала больше.

— Вишь, и обнять-то в окно не достанешь хорошенько, — сказал Лукашка.

— Марьянушка! — послышался голос старухи. — С кем ты?

Лукашка скинул шапку, чтобы по ней не приметили его, и присел под окно.

— Иди скорей, — прошептала Марьяна.

— Лукашка заходил, — отвечала она матери, — батяку спрашивал.

— Что ж, пошли его сюда.

— Ушел, говорит: некогда.

Действительно, Лукашка быстрыми шагами, согнувшись, выбежал под окнами на двор и побежал к Ямке; только один Оленин и видел его. Выпив чапуры две чихиря, они выехали с Назаркой за станицу. Ночь была теплая, темная и тихая. Они ехали молча, только слышались шаги коней. Лукашка запел было песню про казака Мингаля, но, не допев первого стиха, затих и обратился к Назарке:

— Ведь не пустила, — сказал он.

— О! — отозвался Назарка. — Я знал, что не пустит. Что мне Ямка сказывала: юнкирь к ним ходить стал. Дядя Ерошка хвастал, что он с юнкиря флинту за Марьянку взял.

— Брешет он, черт! — сердито сказал Лукашка, — не такая девка. А то я ему, старому черту, бока-то отомну. — И он запел свою любимую песню:

Из села было Измайлова,
Из любимого садочка сударева,
Там ясен сокол из садичка вылетывал,
За ним скоро выезживал млад охотничек,
Манил он ясного сокола на праву руку.
Ответ держит ясен сокол:
«Не умел ты меня держать в золотой клетке
И на правой руке не умел держать,
Теперь я полечу на сине море;
Убью я себе белого лебедя,
Наклюю́ся я мяса сладкого, «лебединого».

XXVIII

У хозяев был сговор. Лукашка приехал в станицу, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор по приглашению хорунжего. Ему было грустно, как не было еще ни разу с тех пор, как он поселился в станице. Он видел, как Лукашка, нарядный, с матерью прошел перед вечером к хозяевам, и его мучила мысль: за что Лукашка так холоден к нему? Оленин заперся в свою хату и стал писать свой дневник.

«Много я передумал и много изменился в это последнее время, — писал Оленин, — и дошел до того, что написано в азбучке. Для того чтоб быть счастливым, надо одно — любить, и любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадется, того и брать. Так я поймал Ванюшу, дядю Ерошку, Лукашку, Марьянку».

В то время как Оленин дописывал это, к нему вошел дядя Ерошка.

Ерошка был в самом веселом расположении духа. На днях зайдя к нему вечером, Оленин застал его на дворе перед кабаньей тушей, которую он с счастливым и гордым лицом ловко свежевал маленьким ножичком. Собаки, и между ними любимец Лям, лежали около и слегка помахивали хвостами, глядя на его дело. Мальчишки с уважением смотрели на него через забор и даже не дразнили, как обыкновенно. Бабы-соседки, вообще не слишком ласковые к нему, здоровались с ним и несли ему — кто чихиря кувшинчик, кто каймаку, кто мучицы. На другое утро Ерошка сидел у себя в клети весь в крови и отпускал по фунтам свежину — кому за деньги, кому за вино. На лице его написано было: «бог дал счастье, убил зверя; теперь дядя нужен стал». Вследствие этого, разумеется, он запил и, не выходя из станицы, пил уже четвертый день. Кроме того он пил на сговоре.

Дядя Ерошка пришел из хозяйской хаты к Оленину мертвецки пьяный, с красным лицом, растрепанною бородой, но в новом красном бешмете, обшитом галунами, и с балалайкой из травянки, которую он принес из-за реки. Он давно уже обещал Оленину это удовольствие и был в духе. Увидав, что Оленин пишет, он огорчился.

— Пиши, пиши, отец мой, — сказал он шепотом, как будто предполагая, что какой-нибудь дух сидит между им и бумагой, и, боясь спугнуть его, без шума, потихоньку сел на пол. Когда дядя Ерошка бывал пьян, любимое положение его бывало на полу. Оленин оглянулся, велел подать вина и продолжал писать. Ерошке было скучно пить одному; ему хотелось поговорить.

— У хозяев на сговоре был. Да что, швиньи! Не хочу! Пришел к тебе.

— А балалайка откуда у тебя? — спросил Оленин и продолжал писать.

— За рекой был, отец мой, балалайку достал, — сказал он так же тихо. — Я мастер играть; татарскую, казацкую, господскую, солдатскую, какую хошь.

Оленин еще раз взглянул на него, усмехнулся и продолжал писать.

Улыбка эта ободрила старика.

— Ну, брось, отец ты мой! Брось! — сказал он вдруг решительно. — Ну, обидели тебя: — брось их, плюнь! Ну, что пишешь, пишешь! что толку?

И он передразнивал Оленина, постукивая своими толстыми пальцами по полу и изогнув свою толстую рожу в презрительную гримасу.

— Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!

О писании в его голове не умещалось другого понятия, кроме как о вредной кляузе.

Оленин расхохотался. Ерошка тоже. Он вскочил с пола и принялся показывать свое искусство в игре на балалайке и петь татарские песни.

— Что писать, добрый человек! Ты вот послушай лучше, я тебе спою. Сдохнешь, тогда песни не услышишь. Гуляй!

Сначала он спел своего сочинения песню с припляскою:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,
А где его видели?
На базаре в лавке,
Продает булавки.

Потом он спел песню, которой научил его бывший друг его фельдфебель:

В понедельник я влюбился,
Весь овторник прострадал,
В середу в любви открылся,
В четверток ответу ждал.
В пятницу пришло решенье,
Чтоб не ждать мне утешенья.
А во светлую субботу
Жисть окончить предприиял;
Но, храня души спасенье,
Я раздумал в воскресенье.

И опять:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,
А где его видели?

Потом, подмигивая, подергивая плечами и выплясывая, спел:

Поцелую, обойму,
Алой лентой перевью,
Надеженькой назову.
Надеженька ты моя,
Верно ль любишь ты меня?

И так разгулялся, что, лихо подыгрывая, сделал молодецкую выходку и пошел один плясать по комнате.

Песни: *ди-ди-ли* и тому подобные, *господские,* он спел только для Оленина; но потом, выпив еще стакана три чихиря, он вспомнил старину и запел настоящие казацкие и татарские песни. В середине одной любимой его песни голос его вдруг задрожал, и он замолк, только продолжая бренчать по струнам балалайки.

— Ах, друг ты мой! — сказал он.

Оленин оглянулся на странный звук его голоса: старик плакал. Слезы стояли в его глазах, и одна текла по щеке.

— Прошло ты мое времечко, не воротишься, — всхлипывая, проговорил он и замолк. — Пей, что не пьешь! — вдруг крикнул он своим оглушающим голосом, не отирая слез.

Особенно трогательна была для него одна тавлинская песня. Слов в ней было мало, но вся прелесть ее заключалась в печальном припеве: «Ай! дай, далалай!» Ерошка перевел слова песни: «Молодец погнал баранту из аула в горы, русские пришли, зажгли аул, всех мужчин перебили, всех баб в плен побрали. Молодец пришел из гор: где был аул, там пустое место; матери нет, братьев нет, дома нет; одно дерево осталось. Молодец сел под дерево и заплакал. Один, как ты, один остался, и запел молодец: ай, дай! далалай!» И этот завывающий, за душу хватающий припев старик повторил несколько раз.

Допевая последний припев, Ерошка схватил вдруг со стены ружье, торопливо выбежал на двор и выстрелил из обоих стволов вверх. И опять еще печальнее запел: «Ай! дай! далалай а-а!» — и замолк.

Оленин, выйдя за ним на крыльцо, молча глядел в темное звездное небо по тому направлению, где блеснули выстрелы. В доме у хозяев были огни, слышались голоса. На дворе девки толпились у крыльца и окон, и перебегали из *избушки* в сени. Несколько казаков выскочили из сеней и не выдержали, загикали, вторя окончанию песни и выстрелам дяди Ерошки.

— Что ж ты не на сговоре? — спросил Оленин.

— Бог с ними, бог с ними! — проговорил старик, которого, видимо, чем-нибудь там обидели. — Не люблю, не люблю! Эх, народ! Пойдем в хату! Они сами по себе, а мы сами по себе гуляем.

Оленин вернулся в хату.

— А что Лукашка, весел? Не зайдет он ко мне? — спросил он.

— Что Лукашка! Ему наврали, что я тебе девку подвожу, — сказал старик шепотом. — А что девка? Будет наша, коли захотим: денег дай больше — и наша! Я тебе сделаю, право.

— Нет, дядя, деньги ничего не сделают, коли не любит. Лучше не говори про это.

— Нелюбимые мы с тобой, сироты! — вдруг сказал дядя Ерошка и опять заплакал.

Оленин выпил более обыкновенного, слушая рассказы старика. «Так вот, теперь Лукашка мой счастлив», — думал он; но ему было грустно. Старик напился в этот вечер до того, что повалился на пол, и Ванюша должен был призвать себе на помощь солдат и, отплевываясь, вытащить его. Он был так озлоблен на старика за его дурное поведение, что уже ничего не сказал по-французски.

XXIX

Был август месяц. Несколько дней сряду не было ни облачка на небе; солнце пекло невыносимо, и с утра дул теплый ветер, поднимая в бурунах и по дороге облака горячего песку и разнося его по воздуху через камыши, деревья и станицы. Трава и листья на деревах были покрыты пылью; дороги и солончаки были обнажены и звучно тверды. Вода давно сбыла в Тереке и быстро сбегала и сохла по канавам. В пруде около станицы оголялись истоптанные скотиной иловатые берега пруда, и целый день слышны были в воде всплески и крики девок и мальчишек. В степи уже засыхали буруны и камыши, и скотина, мыча днем, убегала в поля. Зверь откочевывал в дальние камыши и в горы за Терек. Комары и мошки тучами стояли над низами и станицами. Снеговые горы закрывались серым туманом. Воздух был редок и смраден. Абреки, слышно было, переправились через обмелевшую реку и рыскали по сю сторону. Солнце каждый вечер садилось в горячее красное зарево.

Было время самое рабочее. Все население станиц кишело на арбузных бахчах и в виноградниках. Сады глухо заросли вьющеюся зеленью и прохладною густою тенью. Везде чернели из-за широких просвечивающих листьев спелые тяжелые кисти. По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, вéрхом наложенные черным виноградом. На пыльной дороге, измятые колесами, валялись кисти. Мальчишки и девчонки в испачканных виноградным соком рубашонках, с кистями в руках и во рту бегали за матерями. На дороге беспрестанно попадались оборванные работники, неся на сильных плечах плетушки винограда. Обвязанные до глаз платками *мамуки* вели быков, запряженных в высоко наложенные виноградом арбы. Солдаты, встречая арбу, просили у казачек винограда, и казачка, на ходу взлезая на арбу, брала охапку винограда и сыпала ее в полу солдата. На некоторых дворах уже жали виноград. Запах чапры наполнял воздух. Кровяные красные корыта виднелись под навесами, и ногайцы-работники с засученными ногами и окрашенными икрами виднелись по дворам. Свиньи, фыркая, лопали выжимки и валялись в них. Плоские крыши *избушек* были сплошь уложены черными янтарными кистями, которые вяли на солнце. Вороны и сороки, подбирая зерна, жались около крыш и перепархивали с места на место.

Плоды годовых трудов весело собирались, и нынешний год плоды были необычайно обильны и хороши.

В тенистых зеленых садах, среди моря виноградника, со всех сторон слышались смех, песни, веселье, женские голоса и мелькали яркие цветные одежды женщин.

В самый полдень Марьяна сидела в своем саду, в тени персикового дерева, и из-под отпряженной арбы вынимала обед для своего семейства. Против нее на разостланной попоне сидел хорунжий, вернувшийся из школы, и мыл руки из кувшинчика. Мальчишка, ее брат, только что прибежавший из пруда, отираясь рукавами, беспокойно поглядывал на сестру и мать в ожидании обеда и тяжело переводил дыхание. Старуха-мать, засучив сильные загорелые руки, раскладывала виноград, сушеную рыбу, каймак и хлеб на низеньком круглом татарском столике. Хорунжий, отерев руки, снял шапку, перекрестился и придвинулся к столу. Мальчишка схватился за кувшин и жадно принялся пить. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. И в тени пекло невыносимо.

В воздухе над садом стоял смрад. Теплый сильный ветер, проходивший сквозь ветви, не приносил прохлады, а только однообразно гнул вершины рассыпанных по садам грушевых, персиковых и тутовых деревьев. Хорунжий, еще раз помолившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чихирем и, выпив из горлышка, подал старухе. Хорунжий был в одной рубахе, расстегнутой на шее и открывавшей мускулистую мохнатую грудь. Тонкое, хитрое лицо его было весело. Ни в позе, ни в говоре его не проглядывало его обычной политичности; он был весел и натурален.

— А к вечеру кончим за *лапазом* край? — сказал он, утирая мокрую бороду.

— Уберемся, — отвечала старуха, — только бы погода не задержала. Демкины еще половины не убрали, — прибавила она. — Одна Устенька работает, убивается.

— Где же им! — гордо сказал старик.

— Нá, испей, Марьянушка! — сказала старуха, подавая кувшин девке. — Вот, бог даст, будет чем свадьбу сыграть, — сказала старуха.

— Дело впереди, — сказал хорунжий, слегка нахмурившись.

Девка опустила голову.

— Да что ж не говоришь? — сказала старуха, — дело покончили, уж и время недалече.

— Не загадывай, — опять сказал хорунжий. — Теперь убираться надо.

— Видал коня-то нового у Лукашки? — спросила старуха, — что Митрий-то Андреич подарил, того уж нет: он выменял.

— Нет, не видал. А говорил я с холопом постояльцевым нынче, — сказал хорунжий, — говорит, опять получил тысячу рублей.

— Богач, одно слово, — подтвердила старуха.

Все семейство было весело и довольно.

Работа подвигалась успешно. Винограду было больше, и он был лучше, чем они сами ожидали.

Марьяна, пообедав, подложила быкам травы, свернула свой бешмет под головы и легла под арбой на примятую сочную траву. На ней была одна красная *сорочка*, то есть шелковый платок на голове, и голубая полинялая ситцевая рубаха; но ей было невыносимо жарко. Лицо ее горело, ноги не находили места, глаза были

подернуты влагой сна и усталости; губы невольно открывались, и грудь дышала тяжело и высоко.

Рабочая пора уже началась две недели тому назад, и тяжелая, непрестанная работа занимала всю жизнь молодой девки. Ранним утром на заре она вскакивала, обмывала лицо холодною водой, укутывалась платком и босиком бежала к скотине. Наскоро обувалась, надевала бешмет и, взяв в узелок хлеба, запрягала быков и на целый день уезжала в сады. Там только часок отдыхала, резала, таскала плетушки и вечером, веселая и не усталая, таща быков за веревку и погоняя их длинною хворостиной, возвращалась в станицу. Убрав скотину сумерками, захватив семечек в широкий рукав рубахи, она выходила на угол посмеяться с девками. Но только потухала заря, она уже шла в хату и, поужинав в темной *избушке* с отцом, матерью и братишкой, беззаботная, здоровая, входила в хату, садилась на печь и в полудремоте слушала разговор постояльца. Как только он уходил, она бросалась на постель и до утра засыпала непробудным, спокойным сном. На другой день было то же. Лукашку она не видала с самого дня сговора и спокойно ждала времени свадьбы. К постояльцу она привыкла и с удовольствием чувствовала на себе его пристальные взгляды.

XXX

Несмотря на то, что от жару некуда было деваться, что комары роями вились в прохладной тени арбы и что мальчишка, ворочаясь, толкал ее, Марьяна натянула себе на голову платок и уж засыпала, как вдруг Устенька, соседка, прибежала к ней и, нырнув под арбу, легла с ней рядом.

— Ну, спать, девки! спать! — говорила Устенька, укладываясь под арбой. — Стой, — сказала она, вскакивая, — так не ладно.

Она вскочила, нарвала зеленых веток и с двух сторон привесила к колесам арбы, еще сверху накинув бешметом.

— Ты пусти, — закричала она мальчишке, подлезая опять под арбу, — разве казакам место с девками? Ступай!

Оставшись под арбой одна с подругой, Устенька вдруг обхватила ее обеими руками и, прижимаясь к ней, начала целовать Марьяну в щеки и шею.

— Миленький! братец, — приговаривала она, заливаясь своим тоненьким, отчетливым смехом.

— Видишь, у *дедушки* научилась, — отвечала Марьяна, отбиваясь. — Ну, брось!

И они обе так расхохотались, что мать крикнула на них.

— Аль завидно? — шепотом сказала Устенька.

— Что врешь! Давай спать. Ну, зачем пришла?

Но Устенька не унималась.

— А что я тебе скажу, так ну!

Марьяна приподнялась на локоть и поправила сбившийся платок.

— Ну, что скажешь?

— Про твоего постояльца я что знаю!

— Нечего знать, — отвечала Марьяна.

— Ах ты плут-девка! — сказала Устенька, толкая ее локтем и смеясь. — Ничего не расскажешь. Ходит к вам?

— Ходит. Так что ж! — сказала Марьяна и вдруг покраснела.

— Вот я девка простая, я всем расскажу. Что мне прятаться, — говорила Устенька, и веселое румяное лицо приняло задумчивое выражение. — Разве я кому дурно делаю? Люблю его, да и все тут!

— Дедушку-то, что ль?

— Ну да.

— А грех! — возразила Марьяна.

— Ах, Машенька! Когда же и гулять, как не на девичьей воле? За казака пойду, рожать стану, нужду узнаю. Вот ты поди замуж за Лукашку, тогда и в мысль радость не пойдет, дети пойдут да работа.

— Что ж, другим и замужем жить хорошо. Все равно! — спокойно отвечала Марьяна.

— Да ты расскажи хоть раз, что у вас с Лукашкой было?

— Да что было. Сватал. Батюшка на год отложил; а нынче сговорили, осенью отдадут.

— Да он что тебе говорил?

Марьяна улыбнулась.

— Известно, что говорил. Говорил, что любит. Все просил в сады с ним пойти.

— Вишь, смола какой! Ведь ты не пошла, чай. А он какой теперь молодец стал! первый джигит. Все и в сотне гуляет. Намеднись приезжал наш Кирка, говорил:

коня какого выменял! А все, чай, по тебе скучает. А еще что он говорил? — спросила Марьяну Устенька.

— Все тебе знать надо, — засмеялась Марьяна. — Раз на коне ночью приехал к окну, пьяный. Просился.

— Что ж, не пустила?

— А то пустить! Я раз слово сказала, и будет! Твердо, как камень, — серьезно отвечала Марьяна.

— А молодец! Только захоти, никакая девка им не побрезгает.

— Пускай к другим ходит, — гордо ответила Марьяна.

— Не жалеешь ты его?

— Жалею, а глупости не сделаю. Это дурно.

Устенька вдруг упала головой на грудь подруге, обхватила ее руками и вся затряслась от давившего ее смеха.

— Глупая ты дура! — проговорила она запыхавшись, — счастья себе не хочешь, — и опять принялась щекотать Марьяну.

— Ай, брось!— говорила Марьяна, вскрикивая сквозь смех. — Лазутку раздавила.

— Вишь, черти, разыгрались, не умаялись, — послышался опять из-за арбы сонный голос старухи.

— Счастья не хочешь, — повторила Устенька шепотом и привставая. — А счастлива ты, ей-богу! Как тебя любят! Ты корявая такая, а тебя любят. Эх, кабы я да на твоем месте была, я бы постояльца вашего так окрутила! Посмотрела я на него, как у нас были, так, кажется, и съел бы он тебя глазами. Мой *дедушка* — и тот чего мне не надавал! А ваш, слышь, из русских богач первый. Его денщик сказывал, что у них свои холопи есть.

Марьяна привстала и, задумавшись, улыбнулась.

— Что он мне раз сказал, постоялец-то, — проговорила она, перекусывая травинку. — Говорит: я бы хотел казаком, Лукашкой быть или твоим братишкой, Лазуткой. К чему это он так сказал?

— А так, врет, что на ум взбрело, — отвечала Устенька. — Мой чего не говорит! Точно порченый!

Марьяна бросилась головой на свернутый бешмет, кинула руку на плечо Устеньке и закрыла глаза.

— Нынче хотел в сады работать прийти; его батюшка звал, — проговорила она, помолчав немного, и заснула.

XXXI

Солнце вышло уже из-за груши, отенявшей арбу, и косыми лучами, даже сквозь ветви, переплетенные Устенькой, жгло лица девок, спавших под арбой. Марьяна проснулась и стала убираться платком. Оглядевшись кругом, она увидала за грушей постояльца, который с ружьем на плече стоял и разговаривал с ее отцом. Она толконула Устеньку и молча, улыбнувшись, указала ей на него.

— Вчера я ходил, ни одного не нашел, — говорил Оленин, беспокойно поглядывая кругом и из-за веток не видя Марьяны.

— А вы вон к тому краю, прямо по циркулю пройдите, там в заброшенном саду, пустырем прозывается, всегда зайцы находятся, — сказал хорунжий, тотчас изменяя свой язык.

— Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать! Приходили бы лучше нам подсобить. С девками поработали бы, — весело сказала старуха. — Ну, девки, вставать! — крикнула она.

Марьяна и Устенька шептались и едва удерживались от смеха под арбой.

С тех пор как стало известно, что Оленин подарил коня в пятьдесят *монетов* Лукашке, хозяева его стали ласковее; особенно хорунжий, казалось, видел с удовольствием его сближение с дочерью.

— Да я не умею работать, — сказал Оленин, стараясь не смотреть сквозь зеленые ветви под арбой, где он заметил голубую рубаху и красный платок Марьяны.

— Приходи, шепталок дам, — сказала старуха.

— По казачьей гостеприимной старине, одна старушечья глупость, — сказал хорунжий, объясняя и как бы исправляя слова старухи, — в России, я думаю, не только шепталок, сколько ананасных варений и мочений кушали в свое удовольствие.

— Так в заброшенном саду есть? — спросил Оленин. — Я схожу, — и, бросив быстрый взгляд сквозь зеленые ветви, он приподнял папаху и скрылся между правильными зелеными рядами виноградника.

Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала распространяться

в виноградниках. Еще издалека каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз и, обрывая ягоды, подошел к ней. Зарьявшая собака тоже иногда схватывала слюнявым ртом низко висевшую кисть. Раскрасневшись, засучив рукава и опустив платок ниже подбородка, Марьянка быстро срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку. Не выпуская из рук плети, которую она держала, она остановилась, ласково улыбнулась и снова принялась за работу. Оленин приблизился и перекинул ружье за плечи, чтоб освободить руки. «А твои где? Бог помочь! Ты одна?» — хотел он сказать, но не сказал ничего и только приподнял папаху. Ему было неловко наедине с Марьянкой, но он, как будто нарочно мучая себя, подошел к ней.

— Ты этак баб из ружья застрелишь, — сказала Марьяна.

— Нет, я не стреляю.

Они оба помолчали.

— Ты бы подсобил.

Он достал ножичек и стал молча резать. Достав снизу из-под листьев тяжелую, фунта в три, сплошную кисть, в которой все ягоды сплющились одна на другую, не находя себе места, он показал ее Марьяне.

— Все резать? Эта не зелена?

— Давай сюда.

Руки их столкнулись. Оленин взял ее руку, а она, улыбаясь, глядела на него.

— Что, ты скоро замуж выйдешь? — сказал он.

Она, не отвечая, отвернулась и повела на него своими строгими глазами.

— Что, ты любишь Лукашку?

— А тебе что?

— Мне завидно.

— Легко ли!

— Право, ты такая красавица!

И ему вдруг стало страшно совестно за то, что он сказал: так пошло, казалось ему, звучали его слова. Он вспыхнул, растерялся и взял ее за обе руки.

— Какая ни есть, да не про тебя! Что смеяться-то! — отвечала Марьяна, но взгляд ее говорил, как твердо она знала, что он не смеялся.

— Как смеяться! Ежели бы ты знала, как я...

Слова звучали еще пошлее, еще несогласнее с тем, что он чувствовал; но он продолжал:

— Я не знаю, что готов для тебя сделать...

— Отстань, смола!

Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, как было пошло все, что он говорил ей, но стояла выше таких соображений; ему казалось, что она давно знала все то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей. «И как ей не знать, — думал он, — когда он хотел сказать ей лишь только все то, что она сама была? Но она не хотела понимать, не хотела отвечать», — думал он.

— Ау! — вдруг послышался недалеко за виноградником голосок Устеньки и ее тонкий смех. — Приходи, Митрий Андреич, мне подсоблять. Я одна! — прокричала она Оленину, высовывая из-за листьев свое круглое наивное личико.

Оленин ничего не отвечал и не двигался с места.

Марьянка продолжала резать, но беспрестанно взглядывала на постояльца. Он начал было говорить что-то, но остановился, вздернул плечами и, вскинув ружье, скорыми шагами пошел из саду.

XXXII

Раза два он останавливался, прислушиваясь к звонкому смеху Марьяны и Устеньки, которые, сойдясь вместе, кричали что-то. Целый вечер Оленин проходил в лесу на охоте. Ничего не убив, он вернулся уж сумерками. Пройдя по двору, он заметил отворенную дверь в хозяйской *избушке* и видневшуюся из нее голубую рубаху. Он особенно громко кликнул Ванюшу, чтобы дать знать о своем приходе, и сел на крыльце на обычное место. Хозяева уже вернулись из садов; они вышли из *избушки,* прошли в свою хату и не позвали его к себе. Марьяна два раза выходила за ворота. Один раз в полусвете ему показалось, что она оглянулась на него. Он жадно следил глазами за каждым ее движением, но не решился подойти к ней. Когда она скрылась в хате, он сошел с крыльца и начал ходить по двору. Но Марьяна уже не выходила. Целую ночь Оленин провел без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. Он слышал, как с вечера они говорили, как ужинали, как вытаскивали пуховики и уклады-

вались спать; слышал, как чему-то засмеялась Марьяна; слышал потом, как все затихло. Хорунжий переговаривал что-то шепотом с старухой, и кто-то дышал. Он зашел в свою хату. Ванюша, не раздеваясь, спал. Оленин позавидовал ему и опять принялся ходить по двору, все ожидая чего-то; но никто не выходил, никто не шевелился; только слышалось равномерное дыхание трех человек. Он знал дыхание Марьяны и все слушал его и слушал стук своего сердца. В станице все затихло, поздний месяц взошел, и стала виднее скотина, пыхтевшая по дворам, ложившаяся и медленно встававшая. Оленин со злобой спрашивал себя: «Чего мне нужно?» — и не мог оторваться от своей ночи. Вдруг ясно послышались ему шаги и скрип половицы в хозяйской хате. Он бросился к дверям; но опять ничего не было слышно, кроме равномерного дыхания, и опять на дворе после тяжелого вздоха поворачивалась буйволица, вставая на передние колени, потом на все ноги, взмахивала хвостом, и равномерно шлепало что-то по сухой глине двора, и опять со вздохом укладывалась она в месячной мгле... Он спрашивал себя: «Что мне делать?» — и решительно собирался идти спать; но опять послышались звуки, и в воображении его возникал образ Марьянки, выходившей на эту месячную туманную ночь, и опять он бросался к окну, и опять слышал шаги. Уже перед светом подошел он к окну, толкнул в ставень, перебежал к двери, и действительно заслышался вздох Марьянки и шаги. Он взялся за щеколду и постучал. Босые, осторожные шаги, чуть скрипя половицами, приближались к двери. Зашевелилась щеколда, скрипнула дверь, пахнуло запахом душицы и тыквы, и на пороге показалась вся фигура Марьянки. Он видел ее только мгновенье при месячном свете. Она захлопнула дверь и, что-то прошептав, побежала легкими шагами назад. Оленин стал стучать слегка: ничто не отзывалось. Он перебежал к окну и стал слушать. Вдруг резкий, визгливый мужской голос поразил его.

— Славно! — сказал невысокий казачонок в белой папахе, близко подходя со двора к Оленину, — я видел, славно!

Оленин узнал Назарку и молчал, не зная, что делать и говорить.

— Славно! Вот я в станичное пойду, докажу и отцу скажу. Вишь, хорунжиха какая! Ей одного мало.

— Чего ты от меня хочешь, что тебе надо? — выговорил Оленин.

— Ничего, я только в станичном скажу.

Назарка говорил очень громко, видимо нарочно.

— Вишь, ловкий *юнкирь* какой!

Оленин дрожал и бледнел.

— Поди сюда, сюда! — Он сильно ухватил его за руку и отвел его к своей хате.

— Ведь ничего не было, она меня не пустила, и я ничего... Она честная...

— Ну там, разбирать... — сказал Назарка.

— Да я все равно тебе дам... Вот постой!..

Назарка замолчал. Оленин вбежал в свою хату и вынес казаку десять рублей.

— Ведь ничего не было. Да все равно, я виноват, вот я и даю! Только, ради бога, чтобы никто не знал. Да ничего не было...

— Счастливо оставаться, — смеясь сказал Назарка и вышел.

Назарка приезжал в эту ночь в станицу по поручению Лукашки — приготовить место для краденой лошади — и, проходя домой по улице, заслышал звуки шагов. Он вернулся на другое утро в сотню и, хвастаясь, рассказал товарищу, как он ловко добыл десять *монетов*... На другое утро Оленин виделся с хозяевами, и никто ничего не знал. С Марьяной он не говорил, и она только посмеивалась, глядя на него. Ночь он опять провел без сна, тщетно бродя по двору. Следующий день он нарочно провел на охоте и вечером, чтобы бежать от себя, ушел к Белецкому. Он боялся себя и дал себе слово не заходить больше к хозяевам. На следующую ночь разбудил Оленина фельдфебель. Рота тотчас же выступала в набег. Оленин обрадовался этому случаю и думал не вернуться уже более в станицу.

Набег продолжался четыре дня. Начальник пожелал видеть Оленина, с которым он был в родстве, и предложил ему остаться в штабе. Оленин отказался. Он не мог жить без своей станицы и просился домой. За набег ему навесили солдатский крест, которого он так желал прежде. Теперь же он был совершенно равнодушен к этому кресту и еще более равнодушен к представлению в офицеры, которое все еще не выходило. Он без оказии проехал с Ванюшей на линию и несколькими ча-

сами опередил свою роту. Оленин весь вечер провел на крыльце, глядя на Марьяну. Всю ночь он опять без цели, без мысли ходил по двору.

XXXIII

На другое утро Оленин проснулся поздно. Хозяев уже не было. Он не пошел на охоту и то брался за книгу, то выходил на крыльцо и опять входил в хату и ложился на постель. Ванюша думал, что он болен. Перед вечером Оленин решительно встал, принялся писать и писал до поздней ночи. Он написал письмо, но не послал его, потому что никто все-таки бы не понял того, что́ он хотел сказать, да и незачем кому бы то ни было понимать это, кроме самого Оленина. Вот что он писал:

«Мне пишут из России письма соболезнования; боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Говорят про меня: он загрубеет, от всего отстанет, станет пить и еще, чего доброго, женится на казачке. Не даром, говорят, Ермолов сказал: кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьется с кругу, либо женится на распутной женщине. Как страшно! В самом деле, не погубить бы мне себя, тогда как на мою долю могло бы выпасть великое счастие стать мужем графини Б***, камергером или дворянским предводителем. Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастие и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу пред собой: вечные неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи — вы или я. Коли бы вы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только представятся мне вместо моей хаты, моего леса и моей любви эти гостиные, эти женщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это, — мне становится невыносимо гадко. Представляются мне эти тупые лица, эти богатые невесты с выражением лица, говорящим: «Ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста»; эти

усаживанья и пересаживанья, это наглое сводничанье пар и эта вечная сплетня, притворство; эти правила — кому руку, кому кивок, кому разговор, и наконец эта вечная скука в крови, переходящая от поколения к поколению (и все сознательно, с убеждением в необходимости). Поймите одно или поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете, все ваши желанья счастья и за меня, и за себя. Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. «Еще он, избави боже, женится на простой казачке и совсем пропадет для света», — воображаю, говорят они обо мне с истинным состраданием. А я только одного и желаю: совсем пропасть в вашем смысле, желаю жениться на простой казачке и не смею этого потому, что это было бы верх счастия, которого я недостоин.

«Три месяца прошло с тех пор, как я в первый раз увидал казачку Марьяну. Понятия и предрассудки того мира, из которого я вышел, еще были свежи во мне. Я тогда не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотою гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостию в моей жизни, и я стал спрашивать себя: не люблю ли я ее? Но ничего похожего на то, как я воображал это чувство, я не нашел в себе. Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества и желание супружества, ни на платоническую, ни еще менее на плотскую любовь, которые я испытывал. Мне нужно было видеть, слышать ее, знать, что она близко, и я бывал не то что счастлив, а спокоен. После вечеринки, на которой я был вместе с нею и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этою женщиной существует неразрывная, хотя и не признанная связь, против которой нельзя бороться. Но я еще боролся; я говорил себе: неужели можно любить женщину, которая никогда не поймет задушевных интересов моей жизни? Неужели можно любить женщину за одну красоту, любить женщину-статую? — спрашивал я себя, а уже любил ее, хотя еще не верил своему чувству.

«После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, наши отношения изменились. Прежде она была для меня чуждым, но величавым предметом внешней природы; после вечеринки она стала для меня чело-

веком. Я стал встречать ее, говорить с нею, ходить иногда на работы к ее отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких сношениях она осталась в моих глазах все столь же чистою, неприступною и величавою. Она на все и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело-равнодушно. Иногда она бывала ласкова, но большею частью каждый взгляд, каждое слово, каждое движение ее выражали это равнодушие, не презрительное, но подавляющее и чарующее. Каждый день с притворною улыбкой на губах я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желаний в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь: но прямо, весело и просто смотрела на меня. Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед ней и хотел сказать все, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражен; это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить потому, что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня мое положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя: что же мне делать? В нелепых мечтах я воображал ее то своею любовницей, то своею женой и с отвращением отталкивал и ту и другую мысль. Сделать ее девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женою Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, кто я и зачем я? Тогда бы другое дело: тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив. Я пробовал отдаваться этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего. И мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Каждый день передо мною далекие снежные горы и эта величавая, счастливая женщина. И не для меня единственно возможное на свете счастье, не для

меня эта женщина! Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива; она, как природа, ровна, спокойна и сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтоб она поняла мое уродство и мои мучения. Ночи я не спал и без всякой цели проводил под ее окнами и не отдавал отчета себе в том, что со мною было. 18-го числа наша рота ходила в набег. Я три дня провел вне станицы. Мне было грустно и все равно. В отряде песни, карты, попойки, толки о наградах мне были противнее обыкновенного. Я нынче вернулся домой, увидал ее, свою хату, дядю Ерошку, снеговые горы с своего крылечка, и такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я все понял. Я люблю эту женщину настоящею любовью, в первый и единственный раз моей жизни. Я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви, я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении, я выдумывал себе радость в любви казака Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность. Это не идеальная, так называемая, возвышенная любовь, которую я испытывал прежде; не то чувство влечения, в котором любуешься на свою любовь, чувствуешь в себе источник своего чувства и все делаешь сам. Я испытывал и это. Это еще меньшее желание наслаждения, это что-то другое. Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы; но я не имею своей воли, а чрез меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир божий, вся природа вдавливает любовь эту в мою душу и говорит: люби. Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого божьего мира. Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни; но никто не может знать, каким трудом выработались они во мне, с какою радостью сознал я их и увидал новый, открытый путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было... Ну... пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них! Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно.

Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет об исчезнувшем! Самоотвержение — все это вздор, дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастия, спасение от зависти к чужому счастию. Жить для других, делать добро! Зачем? когда в душе моей одна любовь к себе и одно желание — любить ее и жить с нею, ее жизнию. Не для других, не для Лукашки я теперь желаю счастия. Я не люблю теперь этих других. Прежде я бы сказал себе, что это дурно. Я бы мучился вопросами: что будет с ней, со мной, с Лукашкой? Теперь мне все равно. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильней меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только я живу. Нынче я пойду к ним и все скажу ей».

XXXIV

Написав это письмо, Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Марьяна с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидав Оленина, она вскочила, взяла платок и подошла к печи.

— Что ж, посиди с нами, Марьянушка, — сказала мать.

— Не, я простоголовая. — И она вскочила на печь.

Оленину видны были только ее колено и стройная спущенная нога. Он угощал старуху чаем. Старуха угостила костя каймаком, за которым посылала Марьяну. Но, поставив тарелку на стол, Марьяна опять вскочила на печь, и Оленин чувствовал только ее глаза. Они разговорились о хозяйстве. Бабука Улита расходилась и пришла в восторг гостеприимства. Она принесла Оленину моченого винограду, лепешку с виноградом, лучшего вина и с тем особенным, простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которое бывает только у людей, физическими трудами добывающих свой хлеб, принялась угощать Оленина. Старуха, которая сначала так поразила Оленина своею грубостью, теперь часто трогала его своею простою нежностью в отношении к дочери.

— Да что бога гневить, батюшка! Все у нас есть, слава богу, и чихирю нажали, и насолили, и продадим бочки три винограду и пить останется. Ты уходить-то погоди. Гулять с тобой будем на свадьбе.

— А когда свадьба? — спросил Оленин, чувствуя, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу и сердце неровно и мучительно забилось.

За печью зашевелилось, и послышалось щелканье семечка.

— Да что, надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы, — отвечала старуха просто, спокойно, как будто Оленина не было и нет на свете. — Я все для Марьянушки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного не ладно. Лукашка-то наш что-то уж загулял очень. Вовсе загулял! Шалит! Намедни приезжал казак из сотни, сказывал, он в Ногаи ездил.

— Как бы не попался, — сказал Оленин.

— И я говорю: ты, Лукаша, не шали! Ну, молодой человек, известно, куражится. Да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, абрека убил, молодец! Ну и смирно бы пожил. А то уж вовсе скверно.

— Да, я его раза два видел в отряде, он все гуляет. Еще лошадь продал, — сказал Оленин и оглянулся на печь.

Большие черные глаза блестели на него строго и недружелюбно. Ему стало совестно за то, что он сказал.

— Что ж! Он никому худа не делает, — вдруг сказала Марьяна. — На свои деньги гуляет, — и, спустив ноги, она соскочила с печи и вышла, сильно хлопнув дверью.

Оленин следил за ней глазами, покуда она была в хате, потом смотрел на дверь, ждал и не понимал ничего, что ему говорила бабука Улита. Через несколько минут вошли гости: старик, брат бабуки Улиты, с дядей Ерошкой, и вслед за ними Марьяна с Устенькой.

— Здорово дневали? — пропищала Устенька. — Все гуляешь? — обратилась Устенька к Оленину.

— Да, гуляю, — отвечал он, и ему отчего-то стыдно стало и неловко.

Он хотел уйти и не мог. Молчать ему тоже казалось невозможно. Старик помог ему: он попросил выпить, и они выпили. Потом Оленин выпил с Ерошкой. Потом еще с другим казаком. Потом еще с Ерошкой. И чем больше пил Оленин, тем тяжеле становилось ему на сердце. Но старики разгулялись. Девки обе засели на печку и шушукали, глядя на них, а они пили до вечера. Оленин ничего не говорил и пил больше всех. Казаки что-то кричали. Старуха выгоняла их вон и не давала

больше чихиря. Девки смеялись над дядей Ерошкой, и уж было часов десять, когда все вышли на крыльцо. Старики сами назвались идти догуливать ночь у Оленина. Устенька побежала домой. Ерошка повел казака к Ванюше. Старуха пошла прибирать в *избушке*. Марьяна оставалась одна в хате. Оленин чувствовал себя свежим и бодрым, как будто он сейчас проснулся. Он все замечал и, пропустив вперед стариков, вернулся в хату: Марьяна укладывалась спать. Он подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался у него. Она села на постель, подобрала под себя ноги, отодвинулась от него в самый угол и молча, испуганным, диким взглядом смотрела на него. Она видимо боялась его. Оленин чувствовал это. Ему стало жалко и совестно за себя, и вместе с тем он почувствовал гордое удовольствие, что возбуждает в ней хоть это чувство.

— Марьяна! — сказал он. — Неужели ты никогда не сжалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя.

Она отодвинулась еще дальше.

— Вишь вино-то что говорит. Ничего тебе не будет!

— Нет, не вино. Не выходи за Лукашку. Я женюсь на тебе. — «Что же это я говорю? — подумал он в то самое время, как выговаривал эти слова. — Скажу ли я то же завтра? Скажу, наверно скажу и теперь повторю», — ответил ему внутренний голос.

— Пойдешь за меня?

Она серьезно посмотрела на него, и испуг ее как будто прошел.

— Марьяна! я с ума сойду. Я не свой. Что ты велишь, то и сделаю. — И безумно-нежные слова говорились сами собой.

— Ну, что брешешь, — прервала она его, вдруг схватив за руку, которую он протягивал к ней. Но она не отталкивала его руки, а крепко сжала ее своими сильными, жесткими пальцами. — Разве господа на мамуках женятся? Иди!

— Да пойдешь ли? Я все...

— А Лукашку куда денем? — сказала она смеясь.

Он вырвал у нее руку, которую она держала, и сильно обнял ее молодое тело. Но она как лань вскочила, спрыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. Оленин опомнился и ужаснулся на себя. Он опять показался сам себе невыразимо гадок в сравнении с нею. Но ни

минуты не раскаиваясь в том, что он сказал, он пошел домой и, не взглянув на пивших у него стариков, лег и заснул таким крепким сном, каким давно не спал.

XXXV

На другой день был праздник. Вечером весь народ, блестя на заходящем солнце праздничным нарядом, был на улице. Вина было нажато больше обыкновенного. Народ освободился от трудов. Казаки через месяц сбирались в поход, и во многих семействах готовились свадьбы.

На площади, перед станичным правлением и около двух лавочек, — одной с закусками и семечками, другой с платками и ситцами, — больше всего стояло народа. На завалинке дома правления сидели и стояли старики в серых и черных степенных зипунах, без галунов и украшений. Старики спокойно, мерными голосами беседовали между собой об урожаях и молодых ребятах, об общественных делах и о старине, величаво и равнодушно поглядывая на молодое поколение. Проходя мимо их, бабы и девки приостанавливались и опускали головы. Молодые казаки почтительно уменьшали шаг и, снимая папахи, держали их некоторое время перед головою. Старики замолкали. Кто строго, кто ласково, осматривали они проходящих и медленно снимали и снова надевали папахи.

Казачки еще не начинали водить хороводы, а, собравшись кружками в яркоцветных бешметах и белых платках, обвязывающих голову и глаза, сидели на земле и завалинках хат, в тени от косых лучей солнца, и звонко болтали и смеялись. Мальчишки и девчонки играли в лапту, зажигая мяч высоко в ясное небо, и с криком и писком бегали по площади. Девочки-подростки на другом угле площади уже водили хороводы и тоненькими, несмелыми голосами пищали песню. Писаря, льготные и вернувшиеся на праздник молодые ребята в нарядных белых и новых красных черкесках, обшитых галунами, с праздничными, веселыми лицами, по двое, по трое, взявшись рука с рукой, ходили от одного кружка баб и девок к другому и, останавливаясь, шутили и заигрывали с казачками. Армянин-лавочник в синей черкеске тонкого сукна с галунами стоял у отворенной двери, в которую виднелись ярусы свернутых цветных

платков, и с гордостию восточного торговца и сознанием своей важности ожидал покупателей. Два краснобородые босые чеченца, пришедшие из-за Терека полюбоваться на праздник, сидели на корточках у дома своего знакомца и, небрежно покуривая из маленьких трубочек и поплевывая, перекидывались, глядя на народ, быстрыми гортанными звуками. Изредка непраздничный солдат в старой шинели торопливо проходил между пестрыми группами по площади. Кое-где уже слышались пьяные песни загулявших казаков. Все хаты были заперты, крылечки с вечера вымыты. Даже старухи были на улице. По сухим улицам везде, в пыли, под ногами, валялась шелуха арбузных и тыквенных семечек. В воздухе было тепло и неподвижно, в ясном небе голубо и прозрачно. Беломатовый хребет гор, видневшийся из-за крыш, казался близок и розовел в лучах заходящего солнца. Изредка с заречной стороны доносился дальний гул пушечного выстрела. Но над станицей, сливаясь, носились разнообразные веселые, праздничные звуки.

Оленин все утро ходил по двору, ожидая увидать Марьяну. Но она, убравшись, пошла к обедне в часовню; потом то сидела на завалине с девками, щелкая семя, то с товарками же забегала домой и весело, ласково взглядывала на постояльца. Оленин боялся заговаривать с ней шутливо и при других. Он хотел договорить ей вчерашнее и добиться от нее решительного ответа. Он ждал опять такой же минуты, как вчера вечером; но минута не приходила, а оставаться в таком нерешительном положении он не чувствовал в себе более силы. Она вышла опять на улицу, и немного погодя, сам не зная куда, пошел и он за нею. Он миновал угол, где она сидела, блестя своим атласным голубым бешметом, и с болью в сердце услыхал за собою девичий хохот.

Хата Белецкого была на площади. Оленин, проходя мимо ее, услыхал голос Белецкого: «Заходите»,— и зашел.

Поговорив, они оба сели к окну. Скоро к ним присоединился Ерошка в новом бешмете и уселся подле них на пол.

— Вот это аристократическая кучка,— говорил Белецкий, указывая папироской на пеструю группу на углу и улыбаясь.— И моя там, видите, в красном. Это

обновка. Что же хороводы не начинаются? — прокричал Белецкий, выглядывая из окна. — Вот погодите, как смеркнется, и мы пойдем. Потом позовем их к Устеньке; надо им бал задать.

— И я приду к Устеньке, — сказал Оленин решительно. — Марьяна будет?

— Будет, приходите! — сказал Белецкий, нисколько не удивляясь. — А ведь очень красиво, — прибавил он, указывая на пестрые толпы.

— Да, очень! — поддакнул Оленин, стараясь казаться равнодушным. — На таких праздниках, — прибавил он, — меня всегда удивляет, отчего так, вследствие того, что нынче, например, пятнадцатое число, вдруг все люди стали довольны и веселы? На всем виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и движения, и одежда, и воздух, и солнце, — все праздничное. А у нас уже нет праздников.

— Да, — сказал Белецкий, не любивший таких рассуждений. — А ты что не пьешь, старик? — обратился он к Ерошке.

Ерошка мигнул Оленину на Белецкого:

— Да что, он гордый, кунак-то твой!

Белецкий поднял стакан.

— *Алла бирды*, — сказал он и выпил. (*Алла бирды*, значит: бог дал; это обыкновенное приветствие, употребляемое кавказцами, когда пьют вместе.)

— *Сау бул* (будь здоров), — сказал Ерошка улыбаясь и выпил свой стакан.

— Ты говоришь: праздник! — сказал он Оленину, поднимаясь и глядя в окно. — Это что за праздник! Ты бы посмотрел, как в старину гуляли! Бабы выйдут, бывало, оденутся в сарафаны, галунами обшиты. Грудь всю золотыми в два ряда обвешают. На голове кокошники золотые носили. Как пройдет, так фр! фр! шум подымется. Каждая баба, как княгиня была. Бывало выйдут, табун целый, заиграют песни, так стон стоит; всю ночь гуляют. А казаки бочки выкатят на двор, засядут, всю ночь до рассвета пьют. А то схватятся рука с рукой, пойдут по станице лавой. Кого встретят, с собой забирают, да от одного к другому и ходят. Другой раз три дня гуляют. Батюшка бывало придет, еще я помню, красный, распухнет весь, без шапки, все растеряет, придет и ляжет. Матушка уж знает бывало: свежей икры и чихирю ему принесет опохмелиться, а сама бежит

по станице шапку его искать. Так двое суток спит! Вот какие люди были! А нынче что?

— Ну, а девки-то в сарафанах как же? Одни гуляли? — спросил Белецкий.

— Да, одни! Придут бывало казаки, или верхом сядут, скажут: пойдем хороводы разбивать, и поедут, а девки дубье возьмут. На масленице, бывало, как разлетится какой молодец, а они бьют, лошадь бьют, его бьют. Прорвет стену, подхватит какую любит и увезет. Матушка, душенька, уже как хочет любит. Да и девки ж были! Королевны!

XXXVI

В это время из боковой улицы выехали на площадь два всадника. Один из них был Назарка, другой Лукашка. Лукашка сидел несколько боком на своем сытом гнедом кабардинце, легко ступавшем по жесткой дороге и подкидывавшем красивою головой с глянцевитою тонкою холкой. Ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутая за седлом бурка доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места. В его боковой щегольской посадке, в небрежном движении руки, похлопывавшей чуть слышно плетью под брюхо лошади, и особенно в его блестящих черных глазах, смотревших гордо, прищуриваясь, вокруг выражались сознание силы и самонадеянности молодости. Видали молодца? казалось говорили его глаза, поглядывая по сторонам. Статная лошадь, с серебряным набором сбруя и оружие и сам красивый казак обратили на себя внимание всего народа, бывшего на площади. Назарка, худощавый и малорослый, был одет гораздо хуже Лукашки. Проезжая мимо стариков, Лукашка приостановился и приподнял белую курчавую папаху над стриженою черною головой.

— Что, много ль ногайских коней угнал? — сказал худенький старичок с нахмуренным, мрачным взглядом.

— А ты небось считал, дедука, что спрашиваешь, — отвечал Лукашка, отворачиваясь.

— То-то парня-то с собой напрасно водишь, — проговорил старик еще мрачнее.

— Вишь, черт, все знает! — проговорил про себя Лукашка, и лицо его приняло озабоченное выражение;

но взглянув на угол, где стояло много казачек, он повернул к ним лошадь.

— Здорово дневали, девки! — крикнул он сильным, заливистым голосом, вдруг останавливая лошадь. — Состарелись без меня, ведьмы. — И он засмеялся.

— Здорово, Лукашка! здорово, батяка! — послышались веселые голоса. — Денег много привез? Закусок купи девкам-то! Надолго приехал? И то давно не видали.

— С Назаркой на ночку погулять прилетели, — отвечал Лукашка, замахиваясь плетью на лошадь и наезжая на девок.

— И то Марьянка уж забыла тебя совсем, — пропищала Устенька, толкая локтем Марьяну и заливаясь тонким смехом.

Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака.

— И то давно не бывал! Что лошадью топчешь-то? — сказала она сухо и отвернулась.

Лукашка казался особенно весел. Лицо его сияло удалью и радостию. Холодный ответ Марьяны видимо поразил его. Он вдруг нахмурил брови.

— Становись в стремя, в горы увезу, мамочка! — вдруг крикнул он, как бы разгоняя дурные мысли и джигитуя между девок. Он нагнулся к Марьяне. — Поцелую, уж так поцелую, что ну!

Марьяна встретилась с ним глазами и вдруг покраснела. Она отступила.

— Ну тебя совсем! Ноги отдавишь, — сказала она и, опустив голову, посмотрела на свои стройные ноги, обтянутые голубыми чулками со стрелками, в красных новых чувяках, обшитых узеньким серебряным галуном.

Лукашка обратился к Устеньке, а Марьяна села рядом с казачкой, державшею на руках ребенка. Ребенок потянулся к девке и пухленькою ручонкой ухватился за нитку монистов, висевших на ее синем бешмете. Марьяна нагнулась к нему и искоса поглядела на Лукашку. Лукашка в это время доставал из-под черкески, из кармана черного бешмета, узелок с закусками и семечками.

— На всех жертвую, — сказал он, передавая узелок Устеньке, и с улыбкой глянул на Марьянку.

Снова замешательство выразилось на лице девки. Прекрасные глаза подернулись как туманом. Она спустила платок ниже губ, и, вдруг припав головой к бело-

му личику ребенка, державшего ее за монисто, начала жадно целовать его. Ребенок упирался ручонками в высокую грудь девки и кричал, открывая беззубый ротик.

— Что душишь парнишку-то? — сказала мать ребенка, отнимая его у ней и расстегивая бешмет, чтобы дать ему груди. — Лучше бы с парнем здоровкалась.

— Только коня уберу, придем с Назаркой, целую ночь гулять будем, — сказал Лукашка, хлопнув плетью лошадь, и поехал прочь от девок.

Свернув в боковую улицу с Назаркой вместе, они подъехали к двум стоявшим рядом хатам.

— Дорвались, брат! Скорей приходи! — крикнул Лукашка товарищу, слезая у соседнего двора и осторожно проводя коня в плетеные ворота своего двора. — Здорово, Степка! — обратился он к немой, которая, тоже празднично разряженная, шла с улицы, чтобы принять коня. И он знаками показал ей, чтоб она поставила коня к сену и не расседлывала его.

Немая загудела, зачмокала, указывая на коня, и поцеловала его в нос. Это значило, что она любит коня и что конь хорош.

— Здорово, матушка! Что, аль на улицу еще не выходила? — прокричал Лукашка, поддерживая ружье и поднимаясь на крыльцо.

Старуха-мать отворила ему дверь.

— Вот не ждала, не гадала, — сказала старуха. — А Кирка сказывал, ты не будешь.

— Принеси чихирьку, поди, матушка. Ко мне Назарка придет, *праздник помолим.*

— Сейчас, Лукаша, сейчас, — отвечала старуха. — Бабы-то наши гуляют. Я чай, и наша немая ушла.

И захватив ключи, она торопливо пошла в *избушку.*

Назарка, убрав своего коня и сняв ружье, вошел к Лукашке.

XXXVII

— Будь здоров, — говорил Лукашка, принимая от матери полную чашку чихиря и осторожно поднося ее к нагнутой голове.

— Вишь, дело-то, — сказал Назарка, — дедука Бурлак что сказал: «Много ли коней украл?» Видно, знает.

— Колдун! — коротко отвечал Лукашка. — Да это что? — прибавил он, встряхнув головой. — Уж они за рекой. Ищи.

— Все неладно.

— А что неладно! Снеси чихирю ему завтра. Так-то делать надо, и ничего будет. Теперь гулять. Пей! — крикнул Лукашка тем самым голосом, каким старик Ерошка произносил это слово. — На улицу гулять пойдем, к девкам. Ты сходи, меду возьми, или я немую пошлю. До утра гулять будем.

Назарка улыбался.

— Что ж, долго побудем? — сказал он.

— Дай погуляем! Беги за водкой! Нá деньги!

Назарка послушно побежал к Ямке.

Дядя Ерошка и Ергушов, как хищные птицы, пронюхав, где гулянье, оба пьяные, один за другим ввалились в хату.

— Давай еще полведра! — крикнул Лукашка матери в ответ на их здоровканье.

— Ну, сказывай, черт, где украл? — прокричал дядя Ерошка. — Молодец! Люблю!

— То-то люблю! — отвечал смеясь Лукашка. — Девкам закуски от юнкирей носишь. Эх, старый!

— Неправда, вот и неправда! Эх, Марка! — Старик расхохотался. — Уж как просил меня черт энтот! Поди, говорит, похлопочи. Флинту давал. Нет, бог с ним! Я бы сбделал, да тебя жалею. Ну, сказывай, где был. — И старик заговорил по-татарски.

Лукашка бойко отвечал ему.

Ергушов, плохо знавший по-татарски, лишь изредка вставлял русские слова.

— Я говорю, коней угнал. Я твердо знаю, — поддакивал он.

— Поехали мы с Гирейкой, — рассказывал Лукашка. (Что он Гирей-хана называл Гирейкой, в том было заметное для казаков молодечество.) — За рекой все храбрился, что он всю степь знает, прямо приведет, а выехали, ночь темная, спутался мой Гирейка, стал елозить, а все толку нет. Не найдет аула, да и шабаш. Правей мы, видно, взяли. Почитай до полуночи искали. Уж, спасибо, собаки завыли.

— Дураки, — сказал дядя Ерошка. — Так-то мы, бывало, спутаемся ночью в степи. Черт их разберет! Выеду, бывало, на бугор, завою по-бирючиному, вот так-то! (Он сложил руки у рта и завыл, будто стадо волков, в одну ноту.) Как раз собаки откликнутся. Ну, доказывай. Ну что ж, нашли?

— Живо обротали. Назарку было поймали ногайки-бабы, пра!

— Да, поймали, — обиженно сказал вернувшийся Назарка.

— Выехали, опять Гирейка спутался, вовсе было завел в буруны. Так вот все кажет, что к Тереку, а вовсе прочь едем.

— А ты по звездам бы смотрел, — сказал дядя Ерошка.

— И я говорю, — подхватил Ергушов.

— Да, смотри тут, как темно все. Уж я бился, бился! Поймал кобылу одну, обротал, а своего коня пустил; думаю, выведет. Так что же ты думаешь? Как фыркнет, фыркнет, да носом по земи... Выскакал вперед, так прямо в станицу и вывел. И то спасибо, уж светло вовсе стало; только успели в лесу коней схоронить. Нагим из-за реки приехал, взял.

Ергушов покачал головой.

— Я и говорю: ловко! А много ль?

— Все тут, — сказал Лукашка, хлопая по карману.

Старуха в это время вошла в избу. Лукашка не договорил.

— Пей! — прокричал он.

— Так-то мы с Гирчиком раз поздно поехали... — начал Ерошка.

— Ну, тебя не переслушаешь, — сказал Лукашка. — А я пойду. — И, допив вино из чапурки и затянув туже ремень пояса, Лукашка вышел на улицу...

XXXVIII

Уж было темно, когда Лукашка вышел на улицу. Осенняя ночь была свежа и безветрена. Полный золотой месяц выплывал из-за черных раин, поднимавшихся на одной стороне площади. Из труб *избушек* шел дым и, сливаясь с туманом, стлался над станицею. В окнах кое-где светились огни. Запах кизяка, чапры и тумана был разлит в воздухе. Говор, смех, песни и щелканье семечек звучали так же смешанно, но отчетливее, чем днем. Белые платки и папахи кучками виднелись в темноте около заборов и домов.

На площади, против отворенной и освещенной двери лавки, чернеется и белеется толпа казаков и девок и слышатся громкие песни, смех и говор. Схватившись

рука с рукой, девки кружатся, плавно выступая на пыльной площади. Худощавая и самая некрасивая из девок запевает:

Из-за лесику, лесу темного,
Ай-да-люли!
Из-за садику, саду зеленого
Вот и шли-прошли два молодца,
Два молодца, да оба холосты.
Они шли-прошли, да становилися,
Они становилися, разбранилися.
Выходила к ним красна девица,
Выходила к ним, говорила им:
Вот кому-нибудь из вас достануся.
Доставалася да парню белому,
Парню белому, белокурому.
Он бере, берет за праву руку,
Он веде, ведет да вдоль по кругу.
Всем товарищам порасхвастался:
Какова, братцы, хозяюшка!

Старухи стоят около, прислушиваясь к песням. Мальчишки и девчонки бегают кругом в темноте, догоняя друг друга. Казаки стоят кругом, затрогивая проходящих девок, изредка разрывая хоровод и входя в него. По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин в черкесках и папахах и не казачьим говором, негромко, но слышно, разговаривают между собой, чувствуя, что обращают на себя внимание. Рядом в хороводе ходит толстенькая Устенька в красном бешмете и величавая фигура Марьяны в новой рубахе и бешмете. Оленин с Белецким разговаривали о том, как бы им отбить от хоровода Марьянку с Устенькой. Белецкий думал, что Оленин хотел только повеселиться, а Оленин ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало хотел нынче же видеть Марьяну одну, сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женою. Несмотря на то, что вопрос этот давно был решен для него отрицательно, он надеялся, что будет в силах рассказать ей все, что чувствует, и что она поймет его.

— Что вы мне раньше не сказали, — говорил Белецкий, — я бы вам устроил через Устеньку. Вы такой странный!

— Что делать? Когда-нибудь, очень скоро, я вам все скажу. Теперь только, ради бога, устройте, чтоб она пришла к Устеньке.

— Хорошо. Это легко... Что же, ты парню белому достанешься, Марьянка, а? а не Лукашке? — сказал Бе-

лецкий, для приличия обращаясь сначала к Марьянке; и, не дождавшись ответа, он подошел к Устеньке и начал просить ее привести с собою Марьянку. Не успел он договорить, как запевало заиграла другую песню, и девки потянули друг дружку.

Они пели:

Как за садом, за садом
Ходил, гулял молодец
Вдоль улицы в конец.
Он во первый раз иде,
Машет правою рукой,
Во другой он раз иде,
Машет шляпой пуховой,
А во третий раз иде,
Останавливатся,
Останавливатся, переправливатся.
«Я хотел к тебе пойти,
Тебе милой попенять:
Отчего же, моя милая,
Ты нейдешь во сад гулять?
Али ты, моя милая,
Мною чванишься?
Опосля, моя милая,
Успокоишься.
Зашлю сватать,
Буду сватать.
Беру замуж за себя,
Будешь плакать от меня».
Уж я знала, что́ сказать.
И не смела отвечать.
Я не смела отвечать,
Выходила в сад гулять.
Прихожу я в зелен сад;
Дружку кланялась.
«А я, девица, поклон,
И платочек из рук вон.
Изволь, милая, принять,
Во белые руки взять.
Во белы руки бери,
Меня, девица, люби.
Я не знаю, как мне быть,
Чем мне милую дарить,
Подарю своей милой
Большой шалевый платок.
Я за этот за платок
Поцелую раз пяток».

Лукашка с Назаркой, разорвав хоровод, пошли ходить между девками. Лукашка подтягивал резким подголоском и, размахивая руками, ходил посередине хоровода. «Что же, выходи какая!» — проговорил он. Девки

толкали Марьянку: она не хотела выйти. Из-за песни слышались тонкий смех, удары, поцелуи, шепот.

Проходя мимо Оленина, Лукашка ласково кивнул ему головой.

— Митрий Андреич! И ты пришел посмотреть? — сказал он.

— Да, — решительно и сухо отвечал Оленин.

Белецкий наклонился на ухо Устеньке и сказал ей что-то. Она хотела ответить, но не успела и, проходя во второй раз, сказала:

— Хорошо, придем.

— И Марьяна тоже?

Оленин нагнулся к Марьяне.

— Придешь? Пожалуйста, хоть на минуту. Мне нужно поговорить с тобой.

— Девки придут, и я приду.

— Скажешь мне, что я просил? — спросил он опять, нагибаясь к ней. — Ты нынче весела.

Она уж уходила от него. Он пошел за ней.

— Скажешь?

— Чего сказать?

— Что я третьего дня спрашивал, — сказал Оленин, нагибаясь к ее уху. — Пойдешь за меня?

Марьяна подумала.

— Скажу, — ответила она, — нынче скажу.

И в темноте глаза ее весело и ласково блеснули на молодого человека.

Он все шел за ней. Ему радостно было наклониться к ней поближе.

Но Лукашка, продолжая петь, дернул ее сильно за руку и вырвал из хоровода на середину. Оленин, успев только проговорить: «Приходи же к Устеньке», — отошел к своему товарищу. Песня кончилась. Лукашка обтер губы, Марьянка тоже, и они поцеловались. «Нет, раз пяток», — говорил Лукашка. Говор, смех, беготня заменили плавное движенье и плавные звуки. Лукашка, который казался уже сильно выпивши, стал оделять девок *закусками*.

— На всех жертвую, — говорил он с гордым комически-трогательным самодовольством. — А кто к солдатам гулять, выходи из хоровода вон, — прибавил он вдруг, злобно глянув на Оленина.

Девки хватали у него закуски и, смеясь, отбивали друг у друга. Белецкий и Оленин отошли к стороне.

Лукашка, как бы стыдясь своей щедрости, сняв папаху и отирая лоб рукавом, подошел к Марьянке и Устеньке.

— *Али ты, моя милая, мною чванишься?* — повторил он слова песни, которую только что пели, и, обращаясь к Марьянке, — *мною чванишься?* — еще повторил он сердито. — *Пойдешь замуж, будешь плакать от меня,* — прибавил он, обнимая вместе Устеньку и Марьяну.

Устенька вырвалась и, размахнувшись, ударила его по спине так, что руку себе ушибла.

— Что ж, станете еще водить? — спросил он.

— Как девки хотят, — отвечала Устенька, — а я домой пойду, и Марьянка хотела к нам прийти.

Казак, продолжая обнимать Марьяну, отвел ее от толпы к темному углу дома.

— Не ходи, Машенька, — сказал он, — последний раз погуляем. Иди домой, я к тебе приду.

— Чего мне дома делать? На то праздник, чтоб гулять. К Устеньке пойду, — сказала Марьяна.

— Ведь все равно женюсь.

— Ладно, — сказала Марьяна, — там видно будет.

— Что ж, пойдешь? — строго сказал Лукашка и, прижав ее к себе, поцеловал в щеку.

— Ну, брось! Что пристал? — И Марьяна, вырвавшись, отошла от него.

— Эх, девка!.. Худо будет, — укоризненно сказал Лукашка, остановившись и качая головой. — *Будешь плакать от меня,* — и, отвернувшись от нее, крикнул на девок: — играй, что ль!

Марьяну как будто испугало и рассердило то, что он сказал. Она остановилась.

— Что худо будет?

— А то.

— А что?

— А то, что с постояльцем-солдатом гуляешь, за то и меня разлюбила.

— Захотела, разлюбила. Ты мне не отец, не мать. Чего хочешь? Кого захочу, того и люблю.

— Так, так! — сказал Лукашка. — Помни ж! — Он подошел к лавке. — Девки! — крикнул он, — что стали? Еще хоровод играйте. Назарка! беги, чихиря неси.

— Что ж, придут они? — спрашивал Оленин у Белецкого.

— Сейчас придут, — отвечал Белецкий. — Пойдемте, надо приготовить бал.

XXXIX

Уж поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной и Устенькой. Белый платок девки белелся в темной улице. Месяц, золотясь, спускался к степи. Серебристый туман стоял над станицей. Все было тихо, огней нигде не было, только слышались шаги удалявшихся женщин. Сердце Оленина билось сильно. Разгоревшееся лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел: в ней потухла свеча, и он снова стал всматриваться в удалявшуюся тень женщин. Белый платок скрылся в тумане. Ему было страшно оставаться одному. Он так был счастлив! Он соскочил с крыльца и побежал за девками.

— Ну, тебя! Увидит кто! — сказала Устенька.

— Ничего!

Оленин подбежал к Марьяне и обнял ее.

Марьянка не отбивалась.

— Не нацеловались, — сказала Устенька. — Женишься, тогда целуй, а теперь погоди.

— Прощай, Марьяна, завтра я приду к твоему отцу, сам скажу. Ты не говори.

— Что мне говорить! — отвечала Марьяна.

Обе девки побежали. Оленин пошел один, вспоминая все, что было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу, около печки. Устенька ни на минуту не выходила из хаты и возилась с другими девками и Белецким. Оленин шепотом говорил с Марьянкой.

— Пойдешь за меня? — спрашивал он ее.

— Обманешь, не возьмешь, — отвечала она весело и спокойно.

— А любишь ли ты меня? Скажи ради бога?

— Отчего же тебя не любить, ты не кривой! — отвечала Марьяна, смеясь и сжимая в своих жестких руках его руки. — Какие у тебя руки бее-лые, бее-лые, мягкие, как каймак — сказала она.

— Я не шучу. Ты скажи, пойдешь ли?

— Отчего же не пойти, коли батюшка отдаст.

— Помни ж, я с ума сойду, ежели ты меня обманешь. Завтра я скажу твоей матери и отцу, сватать приду.

Марьяна вдруг расхохоталась

— Что ты?

— Так, смешно.

— Верно! Я куплю сад, дом, запишусь в казаки...

— Смотри, тогда других баб не люби! Я на это сердитая.

Оленин с наслаждением повторял в воображении все эти слова. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастия. Больно ему было потому, что она все так же была спокойна, говоря с ним, как и всегда. Ее нисколько, казалось, не волновало это новое положение. Она как будто не верила ему и не думала о будущем. Ему казалось, что она его любила только в минуту настоящего и что будущего для нее не было с ним. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой и она соглашалась принадлежать ему. «Да, — говорил он сам себе, — только тогда мы поймем друг друга, когда она вся будет моею. Для такой любви нет слов, а нужна жизнь, целая жизнь. Завтра все объяснится. Я не могу так жить больше, завтра я все скажу ее отцу, Белецкому, всей станице...»

Лукашка после двух бессонных ночей так много выпил на празднике, что свалился в первый раз с ног и спал у Ямки.

XL

На другой день Оленин проснулся раньше обыкновенного, и в первое мгновение пробуждения ему пришла мысль о том, что предстоит ему, и он с радостию вспомнил ее поцелуи, пожатие жестких рук и ее слова: «Какие у тебя руки белые!» Он вскочил и хотел тотчас же идти к хозяевам и просить руки Марьяны. Солнце еще не вставало, и Оленину показалось, что на улице было необыкновенное волнение: ходили, верхом ездили и говорили. Он накинул на себя черкеску и выскочил на крыльцо. Хозяева еще не вставали. Пять человек казаков ехали верхом и о чем-то шумно разговаривали. Впереди всех на своем широком кабардинце ехал Лукашка. Казаки все говорили, кричали: ничего хорошенько разобрать было нельзя.

— К верхнему посту выезжай! — кричал один.

— Седлай и догоняй живее, — говорил другой.

— С тех ворот ближе выезжать.

— Толкуй тут, — кричал Лукашка, — в средние ворота ехать надо...

— И то, оттуда ближе, — говорил один из казаков, запыленный и на потной лошади. Лицо у Лукашки было красное, опухшее от вчерашней попойки, папаха была сдвинута на затылок. Он кричал повелительно, будто был начальник.

— Что такое? Куда? — спросил Оленин, с трудом обращая на себя внимание казаков.

— Абреков ловить едем, засели в бурунах. Сейчас едем, да все народу мало.

И казаки, продолжая кричать и собираться, проехали дальше по улице. Оленину пришло в голову, что нехорошо будет, если он не поедет; притом он думал рано вернуться. Он оделся, зарядил пулями ружье, вскочил на кое-как оседланную Ванюшей лошадь и догнал казаков на выезде из станицы. Казаки, спешившись, стояли кружком и, наливая чихирю из привезенного боченка в деревянную чапуру, подносили друг другу и *молили* свою поездку. Между ними был и молодой франт хорунжий, случайно находившийся в станице и принявший начальство над собравшимися девятью казаками. Собравшиеся казаки все были рядовые и, хотя хорунжий принимал начальнический вид, все слушались только Лукашку. На Оленина казаки не обращали никакого внимания. И когда все сели на лошадей и поехали и Оленин подъехал к хорунжему и стал расспрашивать, в чем дело, то хорунжий, обыкновенно ласковый, относился к нему с высоты своего величия. Насилу, насилу Оленин мог добиться от него, в чем дело. Объезд, посланный для розыска абреков, застал несколько горцев верст за восемь от станицы, в бурунах. Абреки засели в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми. Урядник, бывший в объезде с двумя казаками, остался там караулить их и прислал одного казака в станицу звать других на помощь.

Солнце только что начинало подниматься. Верстах в трех от станицы, со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной, печальной, сухой равнины, с испещренным следами скотины песком, с поблекшею кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими чуть прото痛енными дорожками и с ногайскими кочевьями, далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон местности. Солнце всходит и заходит всегда красно в степи. Когда бывает вечер, то ветер пе-

реносит целые горы песку. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось; было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся; только и слышно было, как ступали лошади и пофыркивали: да и этот звук раздавался слабо и тотчас же замирал.

Казаки ехали большею частию молча. Оружие на казаке всегда прилажено так, чтоб оно не звенело и не бренчало. Бренчащее оружие — величайший срам для казака. Два казака из станицы догнали их по дороге и перекинулись двумя-тремя словами. Под Лукашкой не то споткнулась, не то зацепилась за траву и заторопилась лошадь. Это дурная примета у казаков. Казаки оглянулись и торопливо отвернулись, стараясь не обращать внимания на это обстоятельство, имевшее особенную важность в настоящую минуту. Лукашка вздернул поводья, строго нахмурился, стиснул зубы и взмахнул плетью над головой. Добрый кабардинец засеменил всеми ногами вдруг, не зная, на какую ступить, и как бы желая на крыльях подняться кверху; но Лукашка раз огрел его плетью по сытым бокам, огрел другой, третий, — и кабардинец, оскалив зубы и распустив хвост, фыркая, заходил на задних ногах и на несколько шагов отделился от кучки казаков.

— Эх, добра лошадь! — сказал хорунжий.

Что он сказал добра *лошадь*, а не *конь*, это означало особенную похвалу коню.

— Лев конь,— подтвердил один из старших казаков.

Казаки молча ехали то шагом, то рысцой, и только одно это обстоятельство прервало на мгновение тишину и торжественность их движения.

По всей степи, верст на восемь дороги, они встретили живого только одну ногайскую кибитку, которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был ногаец, переезжавший с своим семейством с одного кочевья на другое. Еще встретили они в одной лощине двух оборванных скуластых ногайских женщин, которые с плетушками за спинами собирали в них для кизяка навоз от ходившей по степи скотины. Хорунжий, плохо говоривший по-кумыцки, стал что-то расспрашивать у ногаек; но они не понимали его и, видимо робея, переглядывались между собою.

Подъехал Лукашка, остановил лошадь, бойко произнес обычное приветствие, и ногайки видимо обрадовались и заговорили с ним свободно, как с своим братом.

— *Ай, ай, коп абрек!* — говорили они жалобно, указывая руками по тому направлению, куда ехали казаки. Оленин понял, что они говорили: «Много абреков».

Никогда не видавший подобных дел, имевший о них понятие только по рассказам дяди Ерошки, Оленин хотел не отставать от казаков и все видеть. Он любовался на казаков, приглядывался ко всему, прислушивался и делал свои наблюдения. Хотя он и взял с собой шашку и заряженное ружье, но, заметив, как казаки чуждались его, он решился не принимать никакого участия в деле, тем более, что, по его мнению, храбрость его была уже доказана в отряде, а главное потому, что теперь он был очень счастлив.

Вдруг вдалеке послышался выстрел.

Хорунжий взволновался и стал делать распоряжения, как казакам разделиться и с какой стороны подъезжать. Но казаки, видимо, не обращали никакого внимания на эти распоряжения, слушали только то, что говорил Лукашка, и смотрели только на него. В лице и фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и щурясь все вглядывался вперед.

— Вон конный едет, — сказал он, сдерживая лошадь и выравниваясь с другими.

Оленин смотрел во все глаза, но ничего не видел. Казаки скоро различили двух конных и спокойным шагом поехали прямо на них.

— Это абреки? — спросил Оленин.

Казаки ничего не отвечали на вопрос, который был бессмыслицей в их глазах. Абреки были бы дураки, если бы переправились на эту сторону с лошадьми.

— Вон машет батяка Родька никак, — сказал Лукашка, указывая на двух конных, которые виднелись уже ясно. — Вон к нам поехал.

Действительно, через несколько минут ясно стало, что конные были объездные казаки, и урядник подъехал к Луке.

— Далече? — только спросил Лукашка.

В это самое время шагах в тридцати послышался короткий и сухой выстрел. Урядник слегка улыбнулся.

— Наш Гурка в них палит, — сказал он, указывая головой по направлению выстрела.

Проехав еще несколько шагов, они увидали Гурку, сидевшего за песчаным бугром и заряжавшего ружье. Гурка от скуки перестреливался с абреками, сидевшими за другим песчаным бугром. Пулька просвистела оттуда.

Хорунжий был бледен и путался. Лукашка слез с лошади, кинул ее казаку и пошел к Гурке. Оленин, сделав то же самое и согнувшись, пошел за ним. Только что они подошли к стрелявшему казаку, как две пули просвистели над ними. Лукашка, смеясь, оглянулся на Оленина и пригнулся.

— Еще застрелят тебя, Андреич, — сказал он. — Ступай-ка лучше прочь. Тебе тут не дело.

Но Оленину хотелось непременно посмотреть абреков.

Из-за бугра увидал он в шагах двухстах шапки и ружья. Вдруг показался дымок оттуда, свистнула еще пулька. Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь, но тем, что абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и ознаменовалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть абреки. Лукашка вернулся к лошади, и Оленин пошел за ним.

— Надо арбу взять с сеном, — сказал Лука, — а то перебьют. Вон за бугром стоит ногайская арба с сеном.

Хорунжий выслушал его, и урядник согласился. Воз сена был привезен, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено. Оленин взъехал на бугор, с которого ему было все видно. Воз сена двигался; казаки жались за ним. Казаки двигались; чеченцы, — их было девять человек, — сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли.

Все было тихо. Вдруг со стороны чеченцев раздались странные звуки заунывной песни, похожей на *ай-да-ла-*

лай дяди Ерошки. Чеченцы знали, что им не уйти, и, чтоб избавиться от искушения бежать, они связались ремнями, колено с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню.

Казаки с возом сена подходили все ближе и ближе, и Оленин ежеминутно ждал выстрелов; но тишина нарушалась только заунывною песнью абреков. Вдруг песня прекратилась, раздался короткий выстрел, пулька шлепнула о грядку телеги, послышались чеченские ругательства и взвизги. Выстрел раздавался за выстрелом, и пулька за пулькой шлепала по возу. Казаки не стреляли и были не дальше пяти шагов.

Прошло еще мгновение, и казаки с гиком выскочили с обеих сторон воза. Лукашка был впереди. Оленин слышал лишь несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось. Бросив лошадь и не помня себя, он подбежал к казакам. Ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось. Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца и кричал: «Не бей его! Живого возьму!» Чеченец был тот самый красный, брат убитого абрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него показалась кровь. Он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нем и под ним становилось больше и больше. Казаки подошли к нему и стали распоясывать. Один из них, Назарка, прежде чем взяться за него, долго не мог вложить шашку в ножны, попадая не тою стороной. Лезвие шашки было в крови.

Чеченцы, рыжие, с стрижеными усами, лежали убитые и изрубленные. Один только знакомый, весь израненный, тот самый, который выстрелил в Лукашку, был жив. Он, точно подстреленный ястреб, весь в крови (из-под правого глаза текла у него кровь), стиснув зубы, бледный и мрачный, раздраженными огромными глазами озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь еще защищаться. Хорунжий подошел к нему и боком, как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал.

Казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие. Каждый из этих рыжих чеченцев был человек, у каждого было свое особенное выраже-

ние. Лукашку понесли к арбе. Он все бранился по-русски и по-татарски.

— Врешь, руками задушу! От моих рук не уйдешь! *Ана сени!* — кричал он, порываясь. Скоро он замолк от слабости.

Оленин уехал домой. Вечером ему сказали, что Лукашка при смерти, но что татарин из-за реки взялся лечить его травами.

Тела стаскали к станичному правлению. Бабы и мальчишки толпились смотреть на них.

Оленин вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел; но к ночи опять нахлынули на него вчерашние воспоминания; он выглянул в окно; Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. Мать ушла на виноград. Отец был в правлении. Оленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней. Она была в хате и стояла спиной к нему. Оленин думал, что она стыдится.

— Марьяна! — сказал он, — а Марьяна! Можно войти к тебе?

Вдруг она обернулась. На глазах ее были чуть заметны слезы. На лице была красивая печаль. Она посмотрела молча и величаво.

Оленин повторил:

— Марьяна! я пришел...

— Оставь, — сказала она. Лицо ее не изменилось, но слезы полились у ней из глаз.

— О чем ты? Что ты?

— Что? — повторила она грубым и жестким голосом. — Казаков перебили, вот что.

— Лукашку? — сказал Оленин.

— Уйди, чего тебе надо!

— Марьяна! — сказал Оленин, подходя к ней.

— Никогда ничего тебе от меня не будет.

— Марьяна, не говори, — умолял Оленин.

— Уйди, постылый! — крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему. И такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться, что он прежде думал о неприступности этой женщины — была несомненная правда.

Оленин ничего не сказал ей и выбежал из хаты.

XLII

Вернувшись домой, он часа два неподвижно лежал на постели, потом отправился к ротному командиру и отпросился в штаб. Не простившись ни с кем и через Ванюшку расплатившись с хозяевами, он собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерошка провожал его. Они выпили, еще выпили, и еще выпили. Так же как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда. Но Оленин уже не считался, как тогда, сам с собою и не говорил себе, что все, что он думал и делал здесь, было *не то*. Он уже не обещал себе *новой жизни*. Он любил Марьянку больше, чем прежде, и знал теперь, что никогда не может быть любим ею.

— Ну, прощай, отец мой, — говорил дядя Ерошка. — Пойдешь в поход, будь умней, меня, старика, послушай. Когда придется быть в набеге или где (ведь я старый волк, всего видел), да коли стреляют, ты в кучу не ходи, где народу много. А то все, как ваш брат оробеет, так к народу и жмется: думает, веселей в народе. А тут хуже всего: по народу-то и целят. Я все, бывало, от народа подальше, один и хожу: вот ни разу меня и не ранили. А чего не видал на своем веку?

— А в спине-то у тебя пуля сидит, — сказал Ванюша, убиравшийся в комнате.

— Это казаки баловались, — отвечал Ерошка.

— Как казаки? — спросил Оленин.

— Да так! Пили. Ванька Ситкин, казак был, разгулялся, да как бацнет, прямо мне в это место из пистолета и угодил.

— Что ж, больно было? — спросил Оленин. — Ванюша, скоро ли? — прибавил он.

— Эх! Куда спешишь! Дай расскажу... Да как треснул он меня, пуля кость-то не пробила, тут и осталась. Я и говорю: ты ведь меня убил, братец мой. А? Что ты со мной сделал? Я с тобой так не расстанусь. Ты мне ведро поставишь.

— Что ж, больно было? — опять спросил Оленин, почти не слушая рассказа.

— Дай докажу. Ведро поставил. Выпили. А кровь все льет. Всю избу прилил кровью-то. Дедука Бурлак и говорит: «Ведь малый-то издохнет. Давай еще штоф

сладкой, а то мы тебя засудим». Притащили еще. Дули, дули...

— Да что ж, больно ли было тебе? — опять спросил Оленин.

— Какое больно! Не перебивай, не люблю. Дай докажу. Дули, дули, гуляли до утра, так и заснул на печи, пьяный. Утром проснулся, не разогнешься никак.

— Очень больно было? — повторил Оленин, полагая, что теперь он добился наконец ответа на свой вопрос.

— Разве я тебе говорю, что больно. Не больно, а разогнуться нельзя, ходить не давало.

— Ну и зажило? — сказал Оленин, даже не смеясь: так ему было тяжело на сердце.

— Зажило, да пулька все тут. Вот пощупай. — И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька.

— Вишь ты, так и катается, — говорил он, видимо утешаясь этою пулькой, как игрушкой. — Вот к заду перекатилась.

— Что, будет ли жив Лукашка? — спросил Оленин.

— А бог его знает! Дохтура нет. Поехали.

— Откуда же привезут, из Грозной? — спросил Оленин.

— Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дураки. На что теперь Баклашев годится? Нет, отец мой, в горах дохтура есть настоящие. Так-то Гирчика, *няню* моего, в походе ранили в это место, в грудь, так дохтура ваши отказались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают.

— Ну, полно вздор говорить, — сказал Оленин. — Я лучше из штаба лекаря пришлю.

— Вздор! — передразнил старик. — Дурак! дурак! Вздор! Лекаря пришлю! Да кабы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров выписывают. У вас фальчь, одна все фальчь.

Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальчь в том мире, в котором он жил и в который возвращался.

— Что ж Лукашка? Ты был у него? — спросил он.

— Да лежит, как мертвый. Не ест, не пьет, только водку и принимает душа. Ну, водку пьет, — ничего. А то

жаль малого. Хорош малый был, джигит, как я. Так-то я умирал раз: уж выли старухи, выли. Жар в голове стоял. Под святые меня сперли. Так-то лежу, а надо мной на печке всё такие, вот такие маленькие барабанщики всё, да так-то отжаривают зорю. Крикну на них, они еще пуще отдирают. (Старик засмеялся.) Привели ко мне бабы уставщика, хоронить меня хотели; бают: он *мирщился,* с бабами гулял, души губил, скоромился, в балалайку играл. Покайся, говорят. Я и стал каяться. Грешен, говорю. Что ни скажет поп, а я говорю все: грешен. Он про балалайку спрашивать и стал. И том грешен, говорю. Где ж она, проклятая, говорит, у тебя? Ты покажь да ее разбей. А я говорю: у меня и нет ее. А сам ее в *избушке* в сеть запрятал; знаю, что не найдут. Так и бросили меня. Так отдох же. Как пошел в балалайку чесать... Так что бишь я говорил, — продолжал он. — Ты меня слушай, от народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваша братья всё на бугры ездить любят. Так-то у нас один жил, из России приехал, все на бугор ездил, как-то чудно *хо̀лком* бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскачет. Поскакал так-то раз. Выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко с подсошек стреляют чеченцы! Ловчей меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю я, бывало, на солдат на ваших, дивлюся! То-то глупость! Идут сердечные все в куче да еще красные воротники нашьют. Тут как не попасть! Убьют одного, упадет, поволокут сердечного, другой пойдет. То-то глупость! — повторил старик, покачивая головой. — Что бы в стороны разойтись да по одному? Так честно и иди. Ведь он тебя не уцелит. Так-то ты делай.

— Ну, спасибо! Прощай, дядя! Бог даст, увидимся, — сказал Оленин, вставая и направляясь к сеням.

Старик сидел на полу и не вставал.

— Так разве прощаются? Дурак, дурак! — заговорил он. — Эх-ма, какой народ стал! Компанию водили, водили год целый: прощай, да и ушел. Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею! Такой ты горький, все один, все один. *Нелюбимый* ты какой-то! Другой раз не сплю, подумаю о тебе, так-то жалею. Как песня поется:

Мудрено, родимый братец,
На чужой сторонке жить!

Так-то и ты.

— Ну, прощай, — сказал опять Оленин.

Старик встал и подал ему руку; он пожал ее и хотел идти.

— Мурло-то, мурло-то давай сюда.

Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.

— Я тебя люблю. Прощай!

Оленин сел в телегу.

— Что ж, так и уезжаешь? Хоть подари что на память, отец мой. Флинту-то подари. Куды тебе две, — говорил старик, всхлипывая от искренних слез.

Оленин достал ружье и отдал ему.

— Что передавали этому старику! — ворчал Ванюша, — все мало! Попрошайка старый. Всё необстоятельный народ, — проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке.

— Молчи, швинья! — крикнул старик смеясь. — Вишь, скупой!

Марьяна вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.

— *Ла филь!*[1] — сказал Ванюша, подмигнув и глупо захохотав.

— Пошел! — сердито крикнул Оленин.

— Прощай, отец! Прощай! Буду помнить тебя! — кричал Ерошка.

Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.

---

[1] Девушка! (*фр.* la fille)

ХАДЖИ-МУРАТ



возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали, и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые душистые пушистые кашки; наглые маргаритки, молочно-белые, с яркой желтой серединой «любишь не любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки — ярко-синие на солнце и в молодости, и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же и вянущие цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету репей того сорта, который у нас называется «татарином» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — он был так страшно крепок,

что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он, по своей грубости и аляповатости, не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни, — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще нескороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растеньица, ни одной травки, — все было черно. «Экое разрушительное жестокое существо — человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни», — думал я, невольно отыскивая что-нибудь живое среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братий кругом его.

«Экая энергия! — подумал я, — все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от оче-

видцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая.

I

Это было в конце 1851 года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирно́й аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом, саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком, в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей.

Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький переулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же, за свежесмазанной глиняной трубой, лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плети и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селям алейкум», — и открыл лицо.

— Алейкум селям, — улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он, не торопясь, надел в рукава нагольный, сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной

к крыше. И, одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой, сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Мурата и правое стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.

— Беги в мечеть, зови отца, — приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую, скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая худая женщина, в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.

— Приход твой к счастью, — сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.

— Сыновья твои чтобы живы были, — отвечал Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.

Старик осторожно повесил на гвоздь винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки, закрыл глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.

— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, то есть «что нового?».

— Хабар иок, «нет нового», — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными, безжизненными глазами. — Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.

— Хорошего нового ничего нет,— заговорил старик.— Только и нового, что всё зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы всё рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у Мичицких сено сожгли, раздерись их лицо, — злобно прохрипел старик.

Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же, как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.

— Мюрид мой. Элдар имя ему, — сказал Хаджи-Мурат.

— Хорошо, — сказал старик и указал Элдару место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.

Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми, бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.

Так же, как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.

— У меня в доме, — сказал Садо, — моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.

Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:

— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

— Брата Бату пошлю, — сказал Садо. — Позови Бату, — обратился он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающейся желтой черкеске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:

— Можешь свести моего мюрида к русским?

— Можно, — быстро, весело заговорил Бата. — Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат. — За труды получишь три, — сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил...

— Хорошо, — сказал Хаджи-Мурат. — Веревка хороша длинная, а речь короткая.

— Ну, молчать буду, — сказал Бата.

— Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?

— Знаю.

— Там мои три конные меня ждут, — сказал Хаджи-Мурат.

— Айя, — кивая головой, говорил Бата.

— Спросишь Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?

— Сведу.

— Свести и назад привести. Можешь?

— Можно.

— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.

— Все сделаю, — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.

— Еще человека в Гехи послать надо, — сказал Хад-

жи-Мурат хозяину, когда Бата вышел. — В Гехах надо вот что, — начал было он, взявшись за один из хозырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка, в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели на молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чуре́к — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных, бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

— Сыну отдать, — сказал он, показывая записку.

— Куда ответ? — спросил Садо.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано, — сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной, прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улы-

бался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.

— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: и много, и хорош, — сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо, — сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды. Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.

Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя-кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает, — повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:

— Да получишь ты радость и жизнь.

Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.

Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахгиринские

ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и в больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев.

— Спасибо сухо, — сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное, с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

— А ведь и есть — потерял, — сердито проворчал Панов, — либо забыл, либо выскочила дорогой.

— Чего ищешь-то? — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом.

— Трубку, — черт ее знает, куда запропала!

— Чубук-то цел? — спросил бодрый голос.

— Чубук — вот он.

— А в землю прямо?

— Ну, где там.

— Это мы наладим живо.

Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению, и Панов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки.

— Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги.

— А то как же.

— Эка молодчина Авдеев, прокурат малый. Ну-ка?

Авдеев отвалился на бок, давая место Панову и выпуская дым изо рта.

Панов лег на брюхо и, обтерев чубучок рукавом, стал затягиваться.

Накурившись, между солдатами завязался разговор.

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез, проигрался, вишь, — сказал один из солдат ленивым голосом.

— Отдаст, — сказал Панов.

— Известно, офицер хороший, — подтвердил Авдеев.

— Хороший, хороший, — мрачно продолжал начавший разговор, — а по моему совету надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.

— Как рота рассудит, — сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек, — подтвердил Авдеев.

— Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал... — настаивал недовольный.

— Говорю, как рота хочет, — повторил Панов. — Не в первый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.

После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Вдруг из-за этого неперестающего тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

— Вишь, проклятые, как заливаются, — сказал Авдеев.

— Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок, — сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.

Опять все затихло, только ветер шевелил сучья дерев, то открывая, то закрывая звезды.

— А что, Антоныч, — вдруг спросил веселый Авдеев Панова, — бывает тебе когда скучно?

— Какая же скука? — неохотно отвечал Панов.

— А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал.

— Вишь ты! — сказал Панов.

— Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю: дай пьян нарежусь.

— А, бывает, с вина еще хуже.

— И это было, да куда денешься?

— Да с чего же скучаешь-то?

— Я-то? Да по дому скучаю.

— Что ж, богато жили?

— Не то, что богачи, а жили справно. Хорошо жили.

И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.

— Ведь я охотой за брата пошел, — рассказывал Авдеев. — У него ребята сам-пят, а меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось попомнят мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «Молодец, ступай». Так и пошел за брата.

— Что ж, это хорошо, — сказал Панов.

— А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.

Авдеев помолчал.

— Аль покурим опять? — спросил Авдеев.

— Ну что ж, налаживай!

Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий — Бондаренко.

— А я, братцы, какой сон видел...

Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке,

которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, а другая — повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов, с ружьем на руке, вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.

— Кто идет? — крикнул он.

— Чечен мирная, — заговорил тот, который был пониже. Это был Бата. — Ружье иок, шашка иок, — говорил он, показывая на себя. — Кинезь надо.

Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.

— Лазутчик. Значит — к полковому, — сказал Панов, объясняя своим товарищам.

— Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо, — говорил Бата.

— Ладно, ладно, сведем, — сказал Панов. — Что ж, веди, что ли, ты с Бондаренкой, — обратился он к Авдееву, — а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри, — сказал Панов, — осторожнее, впереди себя вели идти. А то ведь эти гололобые — ловкачи.

— А это что? — сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает. — Пырну разок — и пар вон.

— Куда же он годится, коли заколешь, — сказал Бондаренко. — Ну, марш!

Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.

— И черт их носит по ночам! — сказал Никитин.

— Стало быть, нужно, — сказал Панов. — А свежо стало, — прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.

Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.

— Что же, сдали? — спросил Панов.

— Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, — продолжал Авдеев. — Ей-богу! Я с ними как разговорился.

— Ты, известно, разговоришься, — недовольно сказал Никитин.

— Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, — говорю, — бар? — Бар, говорит. — Баранчук, говорю, бар? Бар. — Много? — Парочка, говорит. Так разговорились хорошо. Хорошие ребята.

— Как же, хорошие, — сказал Никитин, — попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит.

— Должно, скоро светать будет, — сказал Панов.

— Да, уж звездочки потухать стали, — сказал Авдеев, усаживаясь.

И солдаты опять затихли.

III

В окнах казарм и солдатских домиках давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.

Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии ротный командир Полторацкий, и очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.

— Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь

покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.

— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. — Видите, я вам говорила,— обратилась она к Полторацкому.

— Да вы совсем не то говорили,— улыбаясь, сказал Полторацкий.

— Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.

— Не тебе мешать,— строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем рукой сдавать карты так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный.

— Извините, господа,— сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски. — Ты за меня, Marie, сядешь.

— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.

— Я всегда на все согласен,— сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.

Роббер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу?

— Ну?

— Выпьемте шампанского.

— На это я всегда готов,— сказал Полторацкий.

— Что же, это очень приятно,— сказал адъютант.

— Василий! подайте,— сказал князь.

— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.

— Был дежурный и еще один человек.

— Кто? Что? — поспешно спросила Марья Васильевна.

— Не могу сказать,— пожав плечами, сказал Воронцов.

— Не можешь сказать,— повторила Марья Васильевна. — Это мы увидим.

Принесли шампанское. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.

— Ваша рота завтра назначена в лес? — спросил князь Полторацкого.

— Моя. А что?

— Так мы увидимся завтра с вами,— сказал князь, слегка улыбаясь.

— Очень рад,— сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны.

Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И, еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой.

Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из своего прежнего круга, да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной, дворовый человек Полторацкого, откинул крючок.

— С чего вздумал запирать?! Болван!

— Да разве можно, Алексей Владимир...

— Опять пьян. Вот я тебе покажу, как можно...

Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.

— Ну, черт с тобой. Свечу зажги.

— Сею минутую.

Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у каптенармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавило же был мальчиком взят в верх, то

есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало,— но какая же это была жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа,— да куда же мне идти с вольной... Собачья жизнь!» — думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.

— Ну что, проигрался? — сказал проснувшийся Тихонов.

— Ан нет, семнадцать рублей выиграл и клико бутылочку роспили.

— И на Марью Васильевну смотрел?

— И на Марью Васильевну смотрел,— повторил Полторацкий.

— Скоро уже вставать,— сказал Тихонов,— в шесть надо уже выступать.

— Вавило! — крикнул Полторацкий. — Смотри хорошенько буди меня завтра в пять.

— Как же вас будить, когда вы деретесь?

— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?

— Слушаю.

Вавило ушел, унося сапоги и платье, а Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:

— Eh bien, vous allez me dire ce que c'est?

— Mais, ma chère...

— Pas de «ma chère»! C'est un émissaire, n'est-ce pas?

— Quand même je ne puis pas vous le dire.

— Vous ne pouvez pas? Alors c'est moi qui vais vous le dire.

— Vous?[1]

[1] — Ну, ты сейчас скажешь мне, в чем дело?
— Но, моя милая...
— Никаких «милых»! Это, конечно, лазутчик?

— Хаджи-Мурат, да? — сказала княгиня, слышавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.

Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выйдет к нему в то место, где назначена рубка леса.

Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы — и муж и жена — были рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.

IV

После трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал, не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его, с черными хозырями на белой черкеске, была выше откинувшейся свежебритой, синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком, верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунацкую, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.

— Что надо? — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.

— Думать надо,— сказал Садо, усаживаясь на корточках перед Хаджи-Муратом. — Женщина с крыши видела, как ты ехал,— сказал он, — и рассказала мужу,

— Не могу тебе сказать.
— Не можешь? Так я скажу.
— Ты? *(фр.)*

а теперь весь аул знает. Сейчас прибегала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.

— Ехать надо,— сказал Хаджи-Мурат.

— Кони готовы,— сказал Садо и быстро вышел из сакли.

— Элдар, — прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услыхав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие и бурку. Элдар сделал то же, и оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, сел неслышно на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади; Садо в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся тень, потом — другая.

— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу.

Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остано-

вил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным проездом.

Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же.

— Чего надо? — крикнул Хаджи-Мурат. — Взять хотите? Ну бери! — И он поднял винтовку. Жители аула остановились.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуха в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидал сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был названный брат Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, заведующий его хозяйством.

— Огонь потушить! — сказал Хаджи-Мурат, слезая с лошади.

Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.

— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат, подходя к расстеленной бурке.

— Был, давно ушли с Хан-Магомой.

— По какой дороге пошли?

— По этой,— отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.

— Ладно,— сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее. — Поберечься надо, гнались за мной,— сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча подошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям; потом, так же как Гамзало, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды.

Поглядев на звезды, на Стожáры, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за полночь и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумах, и, надев бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче,— и все удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, во все продолжение его бурной военной жизни. Так, он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, кото-

рая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет!» летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля илляха», и крики «Хаджи-Мурат идет!», и плач жен Шамиля — это был вой, плач и хохот шакалов, которые разбудили его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлевшееся уже сквозь стволы дерев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о Хан-Магоме. Узнав, что Хан-Магома еще не возвращался, Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.

Разбудил его веселый голос Хан-Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан-Магома тотчас же подсел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и провели к самому князю, как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес,— за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности.

Хаджи-Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи-Мурата выйти к русским. И Хан-Магома и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата, как гостя, и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи-Мурат расспросил еще про дорогу, и, когда Хан Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля; своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с чалмой, самим же мюридам почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок.

V

Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под командой Полторацкого, вышли за десять верст за Чахгиринские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К вось-

ми часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, прежде за пять шагов не видавшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера третьей роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости — смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда и нигде не бывает той рубки в рукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих),— это фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая так же, как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания, в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких

выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел.

— Эге! — крикнул веселым голосом Полторацкий,— ведь это в цепи. Ну, брат Костя,— обратился он к Фрезе,— твое счастье. Иди к роте. Мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть! И представление сделаем.

Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны.

Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у другого начинавшегося там мелкого леса, сажен за сто, виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили им. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась; но, когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять, и, только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный, веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался.

— Только стал ружье заряжать — слышу, чикнуло,— говорил солдат, бывший с ним в паре. — Смотрю, а он ружье выпустил.

Авдеев был из роты Полторацкого. Увидав собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним.

— Что, брат, попало? — сказал он. — Куда?

Авдеев не отвечал.

— Только стал заряжать, ваше благородие,— заго-

ворил солдат, бывший в паре с Авдеевым,— слышу, чикнуло; смотрю — он ружье выпустил.

— Те-те,— пощелкал языком Полторацкий.— Что ж, больно, Авдеев?

— Не больно, а идти не дает. Винца бы, ваше благородие.

Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукою.

— Не примает душа, — сказал он, — пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева.

— Ваше благородие, полковник едет,— сказал фельдфебель Полторацкому.

— Ну, ладно, распорядись ты,— сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своем английском кровном рыжем жеребце, сопутствуемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.

— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.

— Да вот выехала партия, напала на цепь,— отвечал ему Полторацкий.

— Ну-ну, и все вы затеяли.

— Да не я, князь,— улыбаясь, сказал Полторацкий,— сами лезли.

— Я слышал, солдата ранили?

— Да, очень жаль. Солдат хороший.

— Тяжело?

— Кажется, тяжело,— в живот.

— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.

— Не знаю.

— Неужели не догадываетесь?

— Нет.

— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

— Не может быть!

— Вчера лазутчик от него был,— сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости. — Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне; так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне.

— Слушаю,— сказал Полторацкий, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь

на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между тем четыре солдата несли в крепость.

Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их.

Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии, человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям.

Свита Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый, волосатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавлинец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами Особенно же выделялись из свиты два человека: один молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами,— это был Элдар, и другой — кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородкой и шрамом через нос и лицо,— чеченец Гамзало.

Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося на дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему и, подъехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу,

говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит, Шамиль не пускал.

Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова.

— Он говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын сардаря. Тебя уважал крепко.

Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.

— Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут, так же как и он, служить русским.

Воронцов оглянулся на них и кивнул и им головой.

Веселый, черноглазый, без век Хан-Магома, так же кивая головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзало только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади.

Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопутствуемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания:

— Сколько душ загубил, проклятый! Теперь, поди, как его ублаготворять будут,— сказал один.

— А то как же. Первый командер у Шмеля был. Теперь, небось...

— А молодчина, что говорить, джигит.

— А рыжий-то, рыжий,— как зверь косится.

— Ух, собака, должно быть.

Все особенно заметили рыжего.

Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.

— Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова своим аглицким акцентом.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Хаджи-Мурат,— слыхал?

— Как не слыхать, ваше сиятельство, били его много раз.

— Ну, да и от него доставалось.

— Так точно, ваше сиятельство,— отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником.

Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.

VI

Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля врага России. Одно было неприятно: командующим войсками в Воздвиженской был генерал Меллер-Закомельский, и понастоящему надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему. Так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравила немного удовольствие Воронцова.

Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом.

Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофей, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, отказался от кофея, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и, когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджи-Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина.

Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга генералу Козловскому, в Грозную, и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтоб и не обидеть и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму...

Хаджи-Мурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку.

— Твоя сын кунак,— сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колени.

— Он прелестен, твой разбойник,— по-французски сказала Марья Васильевна мужу.

Булька стал любоваться его кинжалом, он подарил его ему.

Булька показал кинжал отчиму.

— C'est un objet de prix [1],— сказала Марья Васильевна.

— Il faudra trouver l'occasion de lui faire cadeau [2], — сказал Воронцов.

Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал:

— Джигит, джигит.

— Прекрасный, кинжал прекрасный,— сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. — Благодарствуй.

---

[1] — Это ценная вещь *(фр.)*.

[2] — Надо будет найти случай отдарить его *(фр.)*.

— Спроси его, чем я могу услужить ему,— сказал Воронцов переводчику.

Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же ответил, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-Мурата.

Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удовольствия — и то ласковости, то торжественности — и выступило выражение озабоченности.

Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был настороже.

Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие.

Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик угащивает их едой и чаем.

Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет.

В пятом часу его позвали обедать к князю.

За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.

— Он боится, чтобы мы не отравили его,— сказала Марья Васильевна мужу. — Он взял, где я взяла. — И тотчас обратилась к Хаджи-Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи-Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце.

Стало быть, скоро.

Воронцов вынул брегет и прижал пружинку,— часы пробили четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы.

— Voila l'occasion! Donnez-lui la montre [1],— сказала Марья Васильевна мужу.

[1] — Вот случай! Подари ему часы *(фр.)*.

Воронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой.

После обеда князю доложили об адъютанте Меллера-Закомельского.

Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и, через переводчика передав Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру.

Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к генералу.

— Vous feriez beacoup mieux de rester; c'est mon affair, mais pas la vôtre.

— Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voir madame le générale[1].

— Можно бы в другое время.

— А я хочу теперь.

Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое.

Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютанту же велел проводить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать никуда до его приказания.

— Прошу,— сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя.

Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал:

— Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи-Мурата?

— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Мурата отдаться мне,— отвечал Воронцов, блед-

---

[1] — Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась; это мое дело, а не твое *(фр.)*.
— Ты не можешь мне препятствовать навестить генеральшу *(фр.)*.

нея от волнения ожидания грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом.

— Я спрашиваю, почему не донесли мне?

— Я намеревался сделать это, барон, но...

— Я вам не барон, а ваше превосходительство.

И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал все, что давно накипело у него в душе.

— Я не за тем двадцать семь лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается.

— Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить того, что несправедливо,— перебил его Воронцов.

— Я говорю правду и не позволю... — еще раздражительнее заговорил генерал.

В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна и за ней невысокая, скромная дама, жена Меллера-Закомельского.

— Ну, полноте, барон, Simon не хотел вам сделать неприятности,— заговорила Марья Васильевна.

— Я, княгиня, не про то говорю...

— Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете: худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю... — Она засмеялась.

И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.

— Я признаю, что я был неправ,— сказал Воронцов,— но...

— Ну и я погорячился,— сказал Меллер и подал руку князю.

Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять: что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер-Закомельский, хоть и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не

важен Меллер-Закомельский. И поэтому, когда Меллер-Закомельский позвал к себе Хаджи-Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи-Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить Белому царю и обо всем даст отчет только его сардарю, то есть главнокомандующему, князю Воронцову, в Тифлисе.

VII

Раненого Авдеева принесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом, крытом тесом доме, на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых коек. В палате было четыре больных: один — метавшийся в жару тифозный, другой — бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и непрестанно зевавший, и еще два раненых в набеге три недели тому назад — один в кисть руки (этот был на ногах), другой — в плечо (этот сидел на койке). Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших.

— Другой раз палят, как горохом осыпают,— и ничего, а тут всего раз пяток выстрелили,— рассказывал один из принесших.

— Кому что назначено.

— Ох! — громко крякнул, сдерживая боль, Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только, не переставая, шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собою.

Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади.

— Это что же? — спросил доктор, указывая на большие перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду.

— Это старое, ваше высокоблагородие,— кряхтя проговорил Авдеев.

То были следы его наказания за пропитые деньги.

Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он от-

крыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.

Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серегин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собой. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.

— Ты, Пётра, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов.

Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панова.

— Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — опять спросил Панов, трогая его за холодную ширококостную руку.

Авдеев как бы очнулся.

— А, Антоныч пришел!

— Да вот пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серегин напишет.

— Серегин,— сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серегина,— напишешь?.. Так вот отпиши: сын, мол, ваш Петруха долго жить приказал... Завидствовал брату. Я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не замай живет. Дай бог ему, я рад. Так и пропиши.

Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова.

— Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он.

Панов покачал головой и не отвечал.

— Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев.

— В сумке была.

— То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду,— сказал Авдеев.

В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата.

— Что, брат, плохо? — сказал он.

Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову.

— Свечку дай, помирать буду.

Ему дали свечу в руки, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер

приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился.

Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом: «23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса.

В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранено два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными».

VIII

В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик-отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка невеста, молотили овес на морозном току. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с третьими петухами и, увидав в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и девки пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег и рядом с нею метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разостланы в два ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепы и стали молотить, равномерно, ладя тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала.

Месяц зашел, и начинало светать; и уже кончали веревку, когда старший сын, Аким, в полушубке и шапке, вышел к работающим.

— Ты чего там лодырничаешь? — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп.

— Лошадей убрать надо же.

— Лошадей убрать,— передразнил отец. — Старуха уберет. Бери цеп. Больно жирен стал. Пьяница.

— Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын.

— Чаго? — нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик.

Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа: трап, та-па-тап, трап, та-па-тап... Трап,— ударял после трех раз тяжелый цеп старика.

— Загривок-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня так портки не держатся,— проговорил старик, пропуская свой удар и только, чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой.

Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.

— Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как ты, стоил.

— Ну будет, батюшка,— сказала сноха, откидывая разбитые свясла.

— Да, корми вас сам-шест, а работы ни от одного нету. Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что...

По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужики сгребали невеяное зерно в ворох, бабы и девки заметали.

— Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить,— сказал старуха.— Я завтракать собрала. Идите, что ль.

— Ладно. Чалого запряги и ступай,— сказал старик Акиму. — Да смотри, чтоб не так, как намедни, отвечать за тебя. Попомнишь Петруху.

— Как он был дома, его ругали,— огрызнулся теперь Аким на отца,— а нет его, меня глодать.

— Значит, стоишь,— так же сердито сказала мать. — Не с Петрухой тебя сменять.

— Ну ладно! — сказал сын.

— То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь: ладно.

— Про старые дрожжи поминать дважды,— сказала сноха, и все, положив цепы, пошли домой.

Нелады между отцом и сыном начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного. У Акима было четверо детей, у Петра — никого, но работник Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он

всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же, как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было, как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем, душу бередить, незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался.

Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного. Теперь, когда старуха услыхала, что он поминает меньшого сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем с стариком, после того как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов двенадцать четвертей овса были насыпаны на веретья в трое саней и веретья аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьячком письмо, и старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу.

Старик, одетый в новую шубу и кафтан и в чистых белых шерстяных онучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его.

В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и под конец известие о том, что Аксинья (жена Петра) не захотела с ними жить и пошла в люди. Слышно, «что живет хорошо и честно». Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя, и слово в слово пригорюнившаяся старуха, со слезами на глазах, велела написать дьячку:

«А еще, милое мое дитятко, голубок ты мой Петрушенька, выплакала я свои глазушки, о тебе сокрушаючись. Солнушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил...» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала:

— Так и будет.

Так и осталось в письме, но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, «защищая царя, отечество и веру православную». Так написал военный писарь.

Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь, отслужила панихидку, вписала Петра в поминовение покойников и раздала кусочки просвирок добрым людям для поминания раба божия Петра.

Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти любимого мужа, с которым она пожила только один годочек. Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь и в своем вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькою, и горько упрекала Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее, горькую, по чужим людям скитальщицу».

В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.

IX

Воронцов Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человеком редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий, ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношении с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Красным. Ему в 51-м году было за семьдесят лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой,— и огромным полу-

чаемым содержанием в качестве наместника, и тратил большую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма.

Вечером 4 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера, не откладывая, и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.

Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбелиани, сорокапятилетней, восточного склада, полной, высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазель, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютант и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся, метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски.

Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама, красавица Орбелиани, налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях княжна-грузинка, не переставая улыбавшаяся.

— Excellentes, chère amie [1],— отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. — Simon a eu de la chance [2].

[1] — Превосходные, милый друг *(фр.)*

[2] — Семену повезло *(фр.)*.

И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость — для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно — о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-завтра будет перевезен в Тифлис.

Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.

— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить.

— И не раз, княгиня.

И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат в 43-м году после взятия горцами Гергебиля наткнулся на отряд генерала Пассека и как он на их глазах почти убил полковника Золотухина.

Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.

Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.

— Ведь это он,— говорил генерал,— вы изволите помнить, ваше сиятельство,— устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке.

— Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза.

Дело было в том, что храбрый генерал называл «выручкой» то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же *«выручка»* прямо указывалось на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения

слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше; некоторые, улыбаясь, переглянулись. Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:

— На выручке, ваше сиятельство.

И, раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как «этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что, не приди нам на выручку,— он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка»,— тут бы все и остались, потому...»

Генерал не успел досказать все, потому что Манана Орбелиани, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него,— и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя, лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса.

Всем стало неловко, но неловкость положения исправил грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-Муратом вдовы Ахмет-хана Мехтулинского:

— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией.

— Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спросила княгиня.

— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить, так вот он отмстил на вдове.

Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Шуазель, сидевшей подле грузинского князя.

— Quelle horreur! [1] — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.

— О, нет,— сказал Воронцов, улыбаясь,— мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее.

[1] — Какой ужас! (*фр.*).

— Да, за выкуп.

— Ну, разумеется, но все-таки он благородно поступил.

Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.

— Удивительная смелость у этого человека! Замечательный человек!

— Как же, в 49-м году он среди бела дня ворвался в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.

Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи-Мурата. Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Мурате. Все наперерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение:

— Что делать! A la guerre comme à la guerre[1].

— Это большой человек.

— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон,— сказал глупый грузинский князь, имевший дар лести.

Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю.

— Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал — да,— сказал Воронцов.

— Если не Наполеон, то Мюрат.

— И имя его Хаджи-*Мурат.*

— Хаджи-Мурат вышел, теперь конец и Шамилю,— сказал кто-то.

— Они чувствуют, что им теперь (это *теперь* значило: при Воронцове) не выдержать,— сказал другой.

— Tout cela est grâce à vous[2],— сказала Манана Орбелиани.

Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые начинали уже заливать его. Но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа.

После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми и, подойдя к гене-

[1] — На войне, как на войне *(фр.)*.

[2] — Все это благодаря вам *(фр.)*.

ралу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости.

Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру *ломбер*. Партнерами князя были: грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый — знаменитый по своей власти доктор Андреевский.

Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джовани, с письмом на серебряном подносе.

— Еще курьер, ваше сиятельство.

Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал конверт и стал читать.

Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи-Мурата и столкновение с Меллером-Закомельским.

Княгиня подошла и спросила, что пишет сын.

— Все о том же. Il a eu quelques désagréments avec le commandant de la place. Simon a eu tort. But all is well what ends well[1], — сказал он, передавая жене письмо, и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты.

Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку с миниатюрным портретом Александра I и сделал то, что он делывал, когда был в особенно хорошем расположении духа: достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку, поднес ее к носу и высыпал.

X

Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться; тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребления по продовольствованию полка; тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта; тут была — вся в черном — вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный

[1] У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. Семен был неправ *(фр.)*. Но все хорошо, что хорошо кончается *(англ.)*.

счет; тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье; тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа; тут был один хан, явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя.

Все дожидались очереди и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя.

Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая, Хаджи-Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя.

Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки, как перчатки, обтягивающие ступни; на голове — папаха с чалмой, той самой чалмой, за которую он, по доносу Ахмет-Хана, был арестован генералом Клюгенау и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи-Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели.

Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая всех присутствующих.

Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи-Мурату и заговорил с ним. Хаджи-Мурат неохотно и отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи-Мурата, повел его к двери кабинета и пропустил в нее.

Воронцов принял Хаджи-Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное.

Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалюзи, Хаджи-Мурат приложил свои небольшие загорелые руки к тому ме-

сту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал:

— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови, служить Белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим.

Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.

Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он, враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны.

— Скажи ему,— сказал Воронцов переводчику (он говорил *ты* молодым офицерам),— что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе, простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, глядя на Хаджи-Мурата. — До тех пор пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.

Хаджи-Мурат еще раз приложил руку к середине груди и что-то оживленно заговорил.

Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау.

— Знаю, знаю,— сказал Воронцов (хотя он если и знал, то давно забыл все это). — Знаю,— сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту, стоявшую

у стены. Но Хаджи-Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сесть в присутствии такого важного человека.

— И Ахмет-Хан и Шамиль, оба — враги мои,— продолжал он, обращаясь к переводчику. — Скажи князю, Ахмет-Хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему,— сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.

— Да, да,— спокойно проговорил Воронцов. — Как же он хочет отплатить Шамилю? — сказал он переводчику. — Да скажи ему, что он может сесть.

Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля.

— Хорошо, хорошо,— сказал Воронцов. — Что же именно он хочет делать? Садись, садись.

Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.

— Это хорошо. Это можно,— сказал Воронцов. — Я подумаю.

Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. Хаджи-Мурат задумался.

— Скажи сардарю,— сказал он еще,— что моя семья в руках моего врага, и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля.

— Хорошо, хорошо,— сказал Воронцов. — Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания.

Тем кончилось первое свидание Хаджи-Мурата с Воронцовым.

В тот же день, вечером, в новом в восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Лорис-Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, не только без выраже-

ния удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей.

На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена «сардаря» тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно, уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться все то, что он видит. И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову то, что он отвечал всем: что у них этого нет,— не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них.

Хаджи-Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Лорис-Меликов же сказал потом Хаджи-Мурату, что здесь не место говорить о делах.

Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи-Мурат проверил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной, часах, он спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру.

XI

На пятый день пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Лорис-Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.

— И голова и руки рады служить сардарю,— сказал Хаджи-Мурат, с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руку к груди. — Прикажи,— сказал он, ласково глядя в глаза Лорис-Меликову.

Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи-Мурата, желает от него самого узнать всю его историю.

— Ты расскажи мне,— сказал Лорис-Меликов,— а я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю.

Хаджи-Мурат помолчал (он не только никогда не перебивал речь, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего), потом поднял голову, стряхнул папаху назад, улыбнулся той особенной, детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну.

— Это можно,— сказал он, очевидно, польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем.

— Расскажи мне (по-татарски нет обращения на *вы*) все с начала, не торопясь,— сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку.

— Это можно, только много, очень много есть чего рассказывать. Много дела было,— сказал Хаджи-Мурат.

— Не успеешь в один день, в другой день доскажешь,— сказал Лорис-Меликов.

— С начала начинать?

— Да с самого начала: где родился, где жил.

Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так; потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать.

— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах,— начал он. — Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок ханам. Ханов было трое: Абу-

нунцал-Хан — молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан — мой брат названный и Булач-Хан — меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «Мусульмане, хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, а аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам. Что хотел, то делал и стал богат. Были у меня и лошади, и деньги были. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что, если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном со вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главный начальник был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили, и он проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он бы проиграл последних коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мои мысли переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават.

— Отчего же переменились мысли? — спросил Лорис-Меликов. — Не понравились русские?

Хаджи-Мурат помолчал.

— Нст, не понравились,— решительно сказал он и закрыл глаза. — И еще было дело такое, что я захотел принять хазават.

— Какое же дело?

— А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами, два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтобы снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня. «Ты,— говорит,— убил меня. Мне хорошо. А ты — мусульманин, и молод, и силен, прими хазават. Бог велит».

— Что же, и ты принял?

— Не принял, а стал думать,— сказал Хаджи-Мурат и продолжал свой рассказ:

— Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять хазават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшого сына. Ханша поверила и послала Булач-Хана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булач-Хана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умма-Хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-Хана и принял его, как хана. Он сказал: «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к хазавату. А я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите». Умма-Хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах; ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же, подле имама.

«Не тебя спрашивают, а хана»,— сказал он мне.

Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-Хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове, сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абунунцал не хотел. Тогда она сказала: «Видно, ты боишься». Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. Абунунцал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гам-

зат встретил нас еще лучше, чем Умма-Хана. Он сам за два выстрела под гору выехал навстречу. За ним ехали конные с значками, пели «Ла-илляха иль алла», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат повел хана в палатку, и я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал.

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как? — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— Потом никогда. С тех пор я всегда вспоминал этот стыд и когда вспоминал, то уже ничего не боялся.

XII

— А теперь довольно. Молиться надо,— сказал Хаджи-Мурат, достал из внутреннего, грудного кармана черкески брегет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив набок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть.

— Кунак Воронцов пешкеш,— сказал он улыбаясь.

— Да, хороший, хороший человек,— сказал Лорис-Меликов. — И часы хорошие. Так ты молись, а я подожду.

— Якши, хорошо,— сказал Хаджи-Мурат и ушел в спальню.

Оставшись один, Лорис-Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи-Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери, противоположной спальне, Лорис-Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи-Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним.

В комнате стоял тот особенный, кислый, кожаный

запах, который бывает у горцев. На полу, на бурке, у окна сидел кривой, рыжий Гамзало, в оборванном, засаленном бешмете, и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис-Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый Хан-Магома и, скаля белые зубы и блестя черными без ресниц глазами, повторял все одно и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед.

— О чем это вы спорили? — спросил Лорис-Меликов у Хан-Магомы, поздоровавшись с ним.

— А он все Шамиля хвалит,— сказал Хан-Магома, подавая руку Лорису. — Говорит, Шамиль — большой человек. И ученый, и святой, и джигит.

— Как же он от него ушел, а все хвалит?

— Ушел, а хвалит,— скаля зубы и блестя глазами, проговорил Хан-Магома.

— Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис-Меликов.

— Кабы не был святой, народ бы не слушал его,— быстро проговорил Гамзало.

— Святой был не Шамиль, а Мансур,— сказал Хан-Магома. — Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески, и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые,— не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь,— говорил Хан-Магома.

— И теперь в горах не пьют и не курят,— сказал Гамзало.

— Ламарой твой Шамиль,— сказал Хан-Магома, подмигивая Лорис-Меликову.

«Ламарой» было презрительное название горцев.

— Ламарой — горец. В горах-то и живут орлы,— отвечал Гамзало.

— А молодчина! Ловко срезал,— оскаливая зубы, заговорил Хан-Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.

Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис-Меликова, он попросил себе покурить. И, когда Лорис-Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи-Мурата, и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым.

— Нехорошо это,— строго сказал Гамзало и вышел из комнаты. Хан-Магома подмигнул и на него и, покуривая, стал расспрашивать Лорис-Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.

— Что ж, разве у тебя так денег много?

— Есть, достанет,— подмигивая, отвечал Хан-Магома.

— Ты спроси у него, откуда у него деньги,— сказал Элдар, поворачивая свою красивую, улыбающуюся голову к Лорису.

— А выиграл,— быстро заговорил Хан-Магома.

И он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был большой: три золотых и серебра много. Хан-Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.

— Как же на все? Разве у тебя было? — спросил Лорис-Меликов.

— У меня всего было двенадцать копеек,— оскалив зубы, сказал Хан-Магома.

— Ну, а если бы проиграл?

— А вот.

И Хан-Магома указал на пистолет.

— Что ж, отдал бы?

— Зачем отдавать? Убежал бы, а кто бы задержал, убил бы. И готово.

— Что ж, и выиграл?

— Айя. Собрал все и ушел.

Хан-Магому и Элдара Лорис-Меликов вполне понимал. Хан-Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышедший теперь к русским и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен: это был человек, вполне преданный своему мюршиду, спо-

койный, сильный и твердый. Непонятен был для Лорис-Меликова только рыжий Гамзало. Лорис-Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, гадливость и ненависть ко всем русским; и потому Лорис-Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис-Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи-Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзало всем своим существом подтверждал это предположение. «Те и сам Хаджи-Мурат,— думал Лорис-Меликов,— умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью».

Лорис-Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис-Меликова, хрипло и отрывисто прорычал:

— Нет, не скучно.

И так же отвечал на все другие вопросы.

Пока Лорис-Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрид Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей и мохнатой, точно мехом обросшей, выпуклой грудью. Это был нерассуждающий здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину.

Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис-Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи-Мурата.

— Пять лет,— отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Меликова.— Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня,— сказал он, спокойно из-под сросшихся бровей глядя в лицо Лорис-Меликова.— Тогда я попросил принять меня братом.

— Что значит: принять братом?

— Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом.

В соседней комнате послышался голос Хаджи-Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную.

— Зовет к себе,— сказал он, возвращаясь. И, дав еще папироску веселому Хан-Магоме, Лорис-Меликов пошел в гостиную.

XIII

Когда Лорис-Меликов вошел в гостиную, Хаджи-Мурат с веселым лицом встретил его.

— Что ж, продолжать? — сказал он, усаживаясь на тахту.

— Да, непременно,— сказал Лорис-Меликов. — А я заходил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один — веселый малый,— прибавил Лорис-Меликов.

— Да, Хан-Магома — легкий человек,— сказал Хаджи-Мурат.

— А понравился мне молодой, красивый.

— А, Элдар. Этот молод, а тверд, железный.

Они помолчали.

— Так говорить дальше?

— Да, да.

— Я сказал, как ханов убили. Ну убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце,— начал Хаджи-Мурат. — Оставалась мать ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее.

— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.

— А как же быть: перелез передними ногами, перелезай и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль меньшого убил, сбросил с кручи. Вся Авария покорилась Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выедет из дворца, и из засады убить его. Кто-то подслушал нас, сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал: «Смотри, если правда, что твои внуки задумывают худое против меня, висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». Дед пришел домой и сказал нам. Тогда мы решили не ждать, а сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказались, остались мы с братом. Мы взяли по два писто-

лета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид,— тот самый, который отрубил голову ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату. Но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, а нас двое. Они убили моего брата Османа, а я отбился, выскочил в окно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, тех перебили.

Хаджи-Мурат остановился и тяжело перевел дух.

— Это все было хорошо,— продолжал он,— потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских; если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе.

— Отчего же не пошел к нему? — спросил Лорис-Меликов.

Хаджи Мурат нахмурился и не сейчас ответил:

— Нельзя было. На Шамиле была кровь и брата Османа и Абунунцал-Хана. Я не пошел к нему. Розен, генерал, прислал мне чин офицера и велел быть начальником Аварии. Все было хорошо, но Розен назначил над Аварией сначала хана казикумыхского, Магомет-Мирзу, а потом Ахмет-Хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Салтанет; ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и подсылал своих нукеров убить меня, но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Клюгенау,— сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел чалму, вот эту,— сказал Хаджи-Мурат, указывая на чалму на папахе,— и что это значит, что я предался Шамилю. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но, когда генерал уехал в Тифлис, Ахмет-Хан сделал по-своему: с ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. Шесть суток держали меня так. На седьмые сутки отвязали и повели в Темир-Хан-Шуру. Вели сорок солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захо-

чу бежать. Я знал это. Когда мы стали проходить подле Моксоха, тропка была узкая, направо кручь сажен в пятьдесят. Я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под кручь и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, ногу — все поломал. Пополз было — и не мог. Закружилась голова, и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух увидел, позвал народ, снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая.

И Хаджи-Мурат вытянул кривую ногу.

— Служит, и то хорошо,— сказал он. — Народ узнал, стали ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими,— с спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджи-Мурат. — И я согласился.

Хаджи-Мурат быстро встал и, достав в переметных сумах портфель, вынул оттуда два пожелтевших письма и подал их Лорис-Меликову. Письма были от Клюгенау. Лорис-Меликов прочел. В первом письме было:

«Прапорщик Хаджи-Мурат. Ты служил у меня, я был доволен тобою и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмет-Хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел чалму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне,— ты бежал; не знаю, к лучшему ли это или к худшему, потому что не знаю, виноват ли ты или нет. Теперь слушай меня. Ежели совесть твоя чиста противу великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого, я твой защитник. Хан тебе ничего не сделает,— он сам у меня под начальством. Так и нечего тебе бояться».

Дальше Клюгенау писал о том, что он всегда держал свое слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджи-Мурата выйти к нему.

Когда Лорис-Меликов кончил первое письмо, Хаджи-Мурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Лорис-Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо:

— Я написал ему, что чалму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои

отец, брат и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один негодяй на... на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. Тогда генерал прислал мне это письмо, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Лорис-Меликову другую, пожелтевшую бумажку.

«Ты мне отвечал на мое письмо,— спасибо,— прочитал Лорис-Меликов. — Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесенное тебе одним гяуром, запрещает это; а я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить. Я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджи-Мурат. Я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебя, зная недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если чалму ты надевал, собственно, только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза, а тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан, *имущество твое будет возвращено,* и ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более, что русские иначе смотрят на все; в глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил гимринцам чалму носить и смотрю на их действия, как следует; следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю; он мне верен, *он не раб твоих врагов,* а друг человека, который пользуется у правительства особенным вниманием».

Дальше Клюгенау опять уговаривал Хаджи-Мурата выйти.

— Я не поверил этому,— сказал Хаджи-Мурат, когда Лорис-Меликов кончил письмо,— и не поехал к Клюгенау. Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я не мог сделать через русских. В это же время Ахмет-Хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа; я не мог отбиться от него. И вот в это-то время ко мне приехал посыльный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и

перешел к Шамилю. И вот с тех пор я, не переставая, воевал с русскими.

Тут Хаджи-Мурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Лорис-Меликов отчасти знал их. Все походы и набеги его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увенчивавшихся успехами.

— Дружбы между мной и Шамилем никогда не было,— докончил свой рассказ Хаджи-Мурат,— но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля. Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей. Но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с наибства и велел прислать ему все деньги. Я послал тысячу золотых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое именье. Он требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи сардарю: пока семья там, я ничего не могу делать.

— Я скажу,— сказал Лорис-Меликов.

— Хлопочи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке.

Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ Лорис-Меликову.

XIV

Двадцатого декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было по-французски.

«Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи-Муратом, и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи-Мурата: он приехал в Тифлис восьмого; на следующий день я познакомился с ним, и дней восемь или девять я говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень

сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит, со всеми знаками полной откровенности, что, пока его семейство в руках Шамиля, он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благодарность за ласковый прием и прощение, которое ему оказали. Неизвестность, в которой он находится насчет дорогих ему особ, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам, почти что ничего не ест, постоянно молится и только просит позволенья покататься верхом с несколькими казаками,— единственно для него возможное развлечение и движение, необходимое вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходит ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял: «Спасите мое семейство и потом дайте мне возможность услужить вам (лучше всего на лезгинской линии, по его мнению), и, если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным».

«Я ему ответил, что все это кажется мне весьма справедливым и что у нас найдется даже много лиц, которые не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас в качестве залога; что я сделаю все возможное для сбора на наших границах пленных, и что, не имея права, по нашим уставам, дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам, я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в коем случае не выдаст ему семейства, что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, если он не вернется, погубить его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хаджи-Мурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что все в руках бога, но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не про-

стит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно: во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяннее и опаснее; во-вторых, есть в Дагестане множество лиц очень даже влиятельных, которые отговорят его от этого. Наконец он повторил мне несколько раз, что какая бы ни была воля бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства; что он умоляет меня, во имя бога, помочь ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посредство и с дозволения наших начальников, мог иметь сношения со своим семейством, постоянные известия о его настоящем положении и о средствах освободить его; что многие лица и даже наибы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему; что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральном, ему легко будет иметь, с нашей помощью, сношения, очень полезные для достижения цели, преследовавшей его днем и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, и нам — для ручательства в истине высказанных им намерений.

«Вы поймете, любезный князь, что все это очень озадачило меня, так как, что ни сделай, большая ответственность лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверять ему; но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его; а это, по моему мнению, было бы и несправедливо и неполитично. Такая мера, известие о которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех (а их много), которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки. Раз, что мы поступили бы с Хаджи-Муратом, как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас.

«Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как я поступил, чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджи-Мурату уйти снова. В службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы не сказать невозможно, идти по одной прямой дороге, не рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности; но раз, что дорога кажется прямою, надо идти по ней,— будь что будет.

«Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю императору, и я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Все, что я вам писал выше, я также написал генералам Завадовскому и Козловскому, для непосредственных сношений Козловского с Хаджи-Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не может. Я ему объявил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи-Мурата взаперти; но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался и которого он считает своим кунаком (приятелем), не начальник этого места, и могли бы произойти недоразумения (неприятности). Впрочем, Воздвиженское слишком близко от многочисленного враждебного нам селения, между тем как для сношений, которые он желает иметь с своими поверенными, Грозная удобна во всех отношениях.

«Кроме двадцати избранных казаков, которые по его же просьбе ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис-Меликова [1], достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджи-Мурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шушинского уезда, находящимся здесь по делам; это — истинно-достойный человек, и я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие Хаджи-Мурата, и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах.

[1] Граф Михаил Тариелович.

«Я советовался с Тархановым насчет Хаджи-Мурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджи-Мурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами,— потому что уж раз обращаться с ним худо, его не легко стеречь,— или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничтожили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи-Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджи-Мурата и что Хаджи-Мурат не сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит его казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджи-Муратом,— это его привязанность к своей религии, и он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убедит Хаджи-Мурата в том, что не лишит его жизни или сейчас или спустя несколько времени после его возвращения.

«Вот все, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел».

XV

Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. Накануне же нового, 52-го года, фельдъегерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил его к князю Чернышеву, тогдашнему военному министру, и 1 января 1852 года Чернышев повез к императору Николаю, в числе других дел, и это донесение Воронцова.

Чернышев не любил Воронцова и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышев все-таки parvenu [1], главное — за особенное расположение императора к Воронцову; и потому Чернышев пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе о кав-

[1] выскочка *(фр.)*.

казских делах Чернышеву удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что по небрежности начальства был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов, всегда особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам, оставив Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности.

Но план этот не удался Чернышеву только потому, что в утро 1 января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы то ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышева, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старание погубить в процессе декабристов Захара Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Так что, благодаря дурному расположению духа Николая, Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время.

Было половина десятого, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый, бородатый кучер Чернышева, в лазоревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлах маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца и дружески кивнул своему приятелю, кучеру князя Долгорукого, который, ссадив барина, уже давно стоял у дворцового подъезда, подложив под толстый ваточный зад вожжи и потирая озябшие руки.

Чернышев был в шинели с пушистым седым бобровым воротником и в треугольной шляпе с петушиными перьями, надетой по форме. Откинув медвежью полость, он осторожно выпростал из саней свои озябшие ноги без калош — он гордился тем, что не знал калош —

и, бодрясь, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную перед ним дверь швейцаром. Скинув в передней на руки подбежавшего старого камер-лакея шинель, Чернышев подошел к зеркалу и осторожно снял шапку с завитого парика. Поглядев на себя в зеркало, он привычным движением старческих рук подвил виски и хохол и поправил крест, аксельбанты и большие с вензелями эполеты и, слабо шагая плохо повинующимися старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру отлогой лестницы.

Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей и подобострастно кланявшихся ему камер-лакеев, Чернышев вошел в приемную. Дежурный, вновь назначенный флигель-адъютант, сияющий новым мундиром, эполетами, аксельбантами и румяным, еще не истасканным лицом с черными усиками и височками, зачесанными к глазам так же, как их зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, с скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышева и поздоровался с ним.

— L'empereur?[1] — обратился Чернышев к флигель-адъютанту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета.

— Sa Majesté vient de rentrer[2],— очевидно, с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и, мягко ступая, так плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы, подошел к беззвучно отворявшейся двери и, всем существом своим выказывая почтение к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью.

Долгорукий, между тем, раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нем бумаги.

Чернышев же, нахмурившись, прохаживался, разминая ноги и вспоминая все то, что надо было доложить императору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять отворилась и из нее вышел еще более, чем прежде, сияющий и почтительный флигель-адъютант и жестом пригласил министра и его товарища к государю.

---

[1] — Император? *(фр.)*

[2] — Его величество только что вернулись *(фр.)*.

Зимний дворец после пожара был уже давно отстроен, но Николай жил в нем еще в верхнем этаже. Кабинет, в котором он принимал с докладами министров и высших начальников, был очень высокая комната с четырьмя большими окнами. Большой портрет императора Александра I висел на главной стене. Между окнами стояли два бюро. По стенам стояло несколько стульев. В середине комнаты — огромный письменный стол, перед столом — кресло Николая, стулья для принимаемых.

Николай в черном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за приглаженных височков, искусно соединенных с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых кверху усов и подпертые высоким воротником ожиревшие, свежевыбритые щеки с оставленными правильными колбасиками бакенбард и прижимаемый к воротнику подбородок придавали его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причиной же усталости было то, что накануне он был в маскараде и, как обыкновенно, прохаживаясь в своей кавалергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся от его огромной и самоуверенной фигуры публикой, встретил опять ту маску, которая в прошлый маскарад скрылась от него, обещая встретить его в следующем маскараде. Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повел ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог наедине остаться с своей дамой. Дойдя молча до двери ложи, Николай оглянулся, отыскивая глазами капельдинера, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя свою даму.

— Il y a quelqu'un [1],— сказала маска, останавливаясь.

[1] — Здесь кто-то есть *(фр.)*.

Ложа действительно была занята. На бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланский офицер и молоденькая, хорошенькая, белокуро-кудрявая женщина в домино, с снятой маской. Увидев выпрямившуюся во весь рост гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской. Уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не вставая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами.

Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.

— Ну, брат, ты помоложе меня,— сказал он окоченевшему от ужаса офицеру,— можешь уступить мне место.

Офицер вскочил и, бледнея и краснея, согнувшись, вышел молча за маской из ложи, и Николай остался один с своей дамой.

Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства еще, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно было. Девица эта была свезена в место обычного свидания Николая с женщинами, и Николай провел с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал — и так и говорил — столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, полные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступил так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек.

Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, встал в восьмом часу и, сделав свой обычный туалет, вытерев льдом свое большое, сытое тело и помолившись богу, он прочел обычные, с детства произносимые молитвы: «Богородицу», «Верую», «Отче наш», не приписывая произносимым словам никакого значения, и вышел из малого подъезда на набережную, в шинели и фуражке.

Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост и старательная вытяжка и отдавание чести с подчеркнуто выпяченным локтем ученика смягчило его неудовольствие.

— Как фамилия? — спросил он.

— Полосатов, ваше императорское величество.

— Молодец!

Ученик все стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, ваше императорское величество!

— Болван! — и Николай, отвернувшись, пошел дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова. «Копервейн, Копервейн», повторил он несколько раз имя вчерашней девицы. «Скверно, скверно». Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. «Да, что бы была без меня Россия,— сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства. — Да, что бы была без меня не Россия одна, а Европа». И он вспомнил про шурина, прусского короля, и его слабость и глупость, и покачал головой.

Подходя назад к крыльцу, он увидал карету Елены Павловны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением тех пустых людей, которые рассуждали не только о науках, поэзии, но и об управлении, воображая, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. Он знал, что, сколько он ни давил этих людей, они опять всплывали и выплывали наружу. И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять

стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать, только когда вошел во дворец. Войдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды и волосы на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо прошел в кабинет, где принимались доклады.

Первого он принял Чернышева. Чернышев тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышева, Николай уставился на него своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышева было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников; потом было дело о перемещении войск на прусской границе; потом назначение некоторым лицам, пропущенным в первом списке, наград к Новому году, потом было донесение Воронцова о выходе Хаджи-Мурата и, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.

Николай, молча сжав губы, поглаживал своими большими белыми руками, с одним золотым кольцом на безымянном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не спуская глаз со лба и хохла Чернышева.

Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.

— Видно, у нас в России один только честный человек,— сказал он.

Чернышев тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, ваше величество,— сказал он.

— Оставь, я положу резолюцию,— сказал Николай, взяв бумагу и переложив ее на левую сторону стола.

После этого Чернышев стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай посмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и ре-

шительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе.

Николай никак не мог простить прусскому королю данную им после 48-го года конституцию и потому, выражая шурину самые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае возмущения народа в Пруссии — Николай везде видел готовность к возмущению — выдвинуть их в защиту престола шурина, как он выдвинул войско в защиту Австрии против венгров. Нужно было это войско на границе и на то, чтобы придавать больше весу и значения своим советам прусскому королю.

«Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я»,— опять подумал он.

— Ну, что еще? — сказал он.

— Фельдъегерь с Кавказа,— сказал Чернышев и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как, — сказал Николай. — Хорошее начало.

— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды,— сказал Чернышев.

Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе.

— Ты как же понимаешь? — спросил он.

— Понимаю так, что если бы давно следовали плану вашего величества, постепенно, хотя и медленно, подвигаться вперед, вырубая леса, истребляя запасы, то Кавказ давно бы уже был покорен. Выход Хаджи-Мурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.

— Правда,— сказал Николай.

Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргин-

ская экспедиция, стоившая стольких людских жизней, несмотря на это Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось, что для того, чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45-го года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.

Таково было и его решение о студенте Медико-хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышев.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамена, держал третий раз и, когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.

— Бжезовский.

— Поляк?

— Польского происхождения и католик,— отвечал Чернышев.

Николай нахмурился.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки — негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их, и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.

— Подожди немного,— сказал он и, закрыв глаза, опустил голову.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему надо решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений и что тогда на него находило наитие и решение составлялось само собою самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нем расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение.

Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком:

«Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз скрозь тысячу человек. Николай». Подписал он с своим неестественным, огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека, но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.

Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышеву.

— Вот,—сказал он,— прочти.

Чернышев прочел и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.

— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании,— прибавил Николай. «Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем»,— подумал он.

— Слушаю,— сказал Чернышев и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.

— Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?

— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами,— сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.

— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.

— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая взгляда Николая. — Михаил Семенович, боюсь, слишком доверчив.

— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.

— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.

— Ты думал, — насмешливо сказал Николай. — А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.

— Слушаю,— сказал Чернышев и, встав, стал откланиваться.

Откланялся и Долгорукий, который во все время доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая.

После Чернышева был принят приехавший откланяться генерал-губернатор Западного края Бибиков.

Одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные.

— Я делаю это потому, что считаю это нужным,— сказал он. — А рассуждать об этом не позволяю.

Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об униатах и всю несправедливость перевода государственных, то есть единственных в то время свободных людей в удельные, то есть в крепостные царской фамилии. Но возражать нельзя было. Не согласиться с распоряжением Николая значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал сорок лет и которым пользовался. И потому он покорно наклонил свою черную, седеющую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли.

Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для выхода. Надев на себя мундир с эполетами, орденами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек мужчин в мундирах и жен-

щин в вырезных нарядных платьях, расставленные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода.

С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и внизу животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид. Встречаясь глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая кто — кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и, пронизывая их холодным, безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили.

Приняв поздравления, Николай прошел в церковь.

Бог, через своих слуг, так же, как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия, восхваления. Все это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира, и, хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда в конце обедни великолепный, расчесанный диакон провозгласил «многая лета» и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил стоявшую у окна Нелидову с ее пышными плечами и в ее пользу решил сравненье с вчерашней девицей.

После обедни он пошел к императрице и в семейном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и, между прочим, поручил ему выдавать из своих особенных сумм ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку.

Обед в этот день был в Помпейском зале; кроме меньших сыновей, Николая и Михаила, были приглашены: барон Ливен, граф Ржевусский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля.

Дожидаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливеном завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши.

— La Pologne et le Caucase, ce sont les deux cautères

de la Russie,— сказал Ливен. — Il nous faut 100 000 hommes a pèu près dans chacun de ces deux pays [1].

Посланник выразил притворное удивление тому, что это так.

— Vous dites, la Pologne? — сказал он.

— Oh, oui, c'etait un coup, de maître de Maetternich de nous en avoir laissé l'embarras... [2]

В этом месте разговора вошла императрица, с своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай. За столом Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончиться, вследствие его распоряжения о стеснении горцев вырубкой лесов и системой укреплений.

Посланник, перекинувшись беглым взглядом с прусским флигель-адъютантом, с которым он нынче утром еще говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план, доказывающий еще раз великие стратегические способности Николая.

После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни женщин. Одна особенно приглянулась ему, и, позвав балетмейстера, Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с брильянтами.

На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией.

Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.

XVI

Во исполнение этого предписания Николая Павловича, тот час же, в январе 1852 года, был предпринят набег на Чечню.

---

[1] — Польша и Кавказ — это два испытания для России. Нам нужно по меньшей мере сто тысяч человек в каждой из этих стран *(фр.)*.

[2] — Вы говорите, Польша?

— О да, это был искусный ход Меттерниха причинить нам затрудиения *(фр.)*.

Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальонов пехоты, двух сотен казаков и восьми орудий. Колонна шла дорогой. По обеим же сторонам колонны непрерывной цепью, спускаясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в высоких сапогах, полушубках и папахах, с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприятельской земле, соблюдая возможную тишину. Только изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия, или не понимающая приказа о тишине фыркала или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым, сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растянулась или слишком близко или далеко идет от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочила коза с белым брюшком и задом и серой спинкой и такой же козел с небольшими, на спину закинутыми рожками. Красивые, пугливые животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намереваясь штыками заколоть их; но козы поворотили назад, проскочили сквозь цепь и, преследуемые несколькими конными и ротными собаками, как птицы, умчались в горы.

Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел уже верст десять, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так ярки, что было больно смотреть на сталь штыков и на блески, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца.

Позади была только что пройденная отрядом быстрая, чистая речка; впереди — обработанные поля и луга с неглубокими балками; еще впереди — таинственные черные горы, покрытые лесом; за черными горами — еще выступающие скалы, и на высоком горизонте — вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы.

Впереди пятой роты шел в черном сюртуке, в папахе и с шашкой через плечо недавно перешедший из гвардии высокий, красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опас-

ности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей целому. Бутлер нынче во второй раз выходил в дело, и ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей и солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-нибудь постороннем.

Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоезженную, шедшую среди кукурузного жнивья, и стал подходить к лесу, когда — не видно было, откуда — с зловещим свистом пролетело ядро и ударилось в середине обоза подле дороги, в кукурузном поле, взрыв на нем землю.

— Начинается, — весело улыбаясь, сказал Бутлер шедшему с ним товарищу.

И действительно, вслед за ядром показалась из-за леса густая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии был большой зеленый значок, и старый фельдфебель роты, очень дальнозоркий, сообщил близорукому Бутлеру, что это должен быть сам Шамиль. Партия спускалась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Маленький генерал в теплом черном сюртуке и папахе с большим белым курпеем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудийных выстрела. Он оглянулся: два облака сизого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять вдогонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул.

Бутлер с своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты,

вытаскивая из саклей, что находили, главное же ловили и стреляли кур, которых не могли увезти горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не слышно было. Немного после полдня велено было отступать. Рота построилась за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами.

Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа.

Когда отряд, перейдя назад вброд перейденную утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздались песни.

Ветра не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие на сотню верст, казались совсем близкими, и, когда песенники замолкали, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась песня. Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с припевом: «То ли дело, то ли дело, егаря, егаря!»

Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь все это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — все это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомета и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю среди молодцов кавказцев.

«То ли дело, то ли дело, егаря, егаря!» — пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, свободно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награды и уважение и здешних товарищей и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче. У нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и темно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться.

— Так вот как-с, батюшка,— говорил майор в промежутке песни. — Не так-с, как у вас в Питере: равнение направо, равнение налево. А вот потрудились — и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, «Как вознялась заря»,— скомандовал он любимую песню.

Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая, белокурая, вся в веснушках, тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания.

Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить, и пошел к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою комнату и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном, без сновидений и просыпания.

XVII

Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной, крыша была провалена, и двери и столбы галерейки сожжены, а внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно глядел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая во время его посещения Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и, не переставая, выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся со своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищали ее. Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство само-

сохранения. Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно и религиозному закону, и чувству отвращения, и презрения к русским, покориться им.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.

XVIII

На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видневшуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда, старавшихся притвориться облаками.

Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое; радовался и воспоминанию о том, как вчера, по возвращении их из похода, Маша, или Марья Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Марья Дмитриевна, с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марьей Дмитриевной самого простого, почтительного обращения и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.

Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге, точно скакало несколько человек. Он поднял го-

лову и увидал в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой папахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с чалмой был рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами; под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру.

— Это воинский начальник дом? — спросил он, выдавая и несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.

— Этот самый,— сказал Бутлер.

— А это кто же? — спросил Бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в чалме.

— Хаджи-Мурат это. Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник,— сказал офицер.

Бутлер знал про Хаджи-Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидать его здесь, в этом маленьком укреплении.

Хаджи-Мурат дружелюбно смотрел на него.

— Здравствуйте, кошкильды,— сказал он выученное им приветствие по-татарски.

— Саубул,— отвечал Хаджи-Мурат, кивая головой. Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть.

— Начальник? — сказал он.

— Нет, начальник здесь, пойду позову его,— сказал Бутлер, обращаясь к офицеру, входя на ступеньки и толкая дверь.

Но дверь парадного крыльца, как его называла Марья Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но, не получив ответа, пошел кругом через задний вход. Крикнув своего денщика и не получив ответа и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное, такое же белое тесто, как ее руки, на маленькие кусочки для пирожков.

— Куда денщики подевались? — сказал Бутлер.

— Пьянствовать ушли,— сказала Марья Дмитриевна. — Да вам что?

— Дверь отпереть; у вас перед домом целая орава горцев. Хаджи-Мурат приехал.

— Еще выдумайте что-нибудь,— сказала Марья Дмитриевна, улыбаясь.

— Я не шучу. Правда. Стоят у крыльца.

— Да неужели вправду? — сказала Марья Дмитриевна.

— Что же мне выдумывать. Подите посмотрите, он у крыльца стоит.

— Вот так оказия,— сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе. — Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича,— сказала она.

— Нет, я сам пойду. А ты, Бондаренко, дверь поди открой,— сказал Бутлер.

— Ну, и то хорошо,— сказала Марья Дмитриевна и опять взялась за свое дело.

Узнав, что к нему приехал Хаджи-Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи-Мурат в Грозной, нисколько не удивился этому, а, приподнявшись, скрутил папиросу, закурил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало ему этого черта. Одевшись, он потребовал от денщика «лекарство». И денщик, зная, что лекарством называлась водка, подал ему.

— Нет хуже смеси,— проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом. — Вот вчера выпили чихиря, и болит голова. Ну, теперь готов,— закончил он и пошел в гостиную, куда Бутлер уже провел Хаджи-Мурата и сопутствующего ему офицера.

Офицер, провожавший Хаджи-Мурата, передал Ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджи-Мурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из крепости иначе, как с конвоем казаков.

Прочтя бумагу, Иван Матвеевич поглядел пристально на Хаджи-Мурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз переведя таким образом глаза с бумаги на гостя, он остановил, наконец, свои глаза на Хаджи-Мурате и сказал:

— Якши, бек-якши. Пускай живет, так и скажи ему, что мне приказано не выпускать его. А что прика-

зано, то свято. А поместим его — как думаешь, Бутлер? — поместим в канцелярии?

Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу:

— Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацкую отдадим да кладовую. По крайней мере на глазах будет,— сказала она и, взглянув на Хаджи-Мурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась.

— Что же, я думаю, что Марья Дмитриевна права,— сказал Бутлер.

— Ну, ну, ступай, бабам тут нечего делать,— хмурясь, сказал Иван Матвеевич.

Во все время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему все равно, где жить. Одно, что ему нужно и что разрешено ему сардарем, это то, чтобы иметь сношение с горцами, и потому он желает, чтобы их допускали к нему. Иван Матвеевич сказал, что это будет сделано, и попросил Бутлера занять гостей, пока принесут им закусить и приготовят комнаты, сам же он пойдет в канцелярию написать нужные бумаги и сделать нужные распоряжения.

Отношения Хаджи-Мурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно определились. К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Марья Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нравилась ему. Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему. Он старался не смотреть на нее, не говорить с нею, но глаза его невольно обращались к ней и следили за ее движениями.

С Бутлером же он тотчас же, с первого знакомства, дружески сошелся и много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать.

Известия, передаваемые ему лазутчиками, были нехороши. В продолжение четырех дней, которые он провел в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные.

XIX

Семья Хаджи-Мурата, вскоре после того как он вышел к русским, была привезена в аул Ведено и содержалась там под стражей, ожидая решения Шамиля. Женщины — старуха Патимат и две жены Хаджи-Мурата — и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида; сын же Хаджи-Мурата, восемнадцатилетний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более сажени, яме вместе с четырьмя преступниками, ожидавшими, так же как и он, решения своей учести.

Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде. Он был в походе против русских.

6 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Ведено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено, по его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватя шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриды удержали его. Два из них тут же, подле Шамиля, были убиты.

Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих: «Ля илляха иль алла», подъехал к своему месту пребывания.

Весь народ большого аула Ведено стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело попрашивавшем поводья при приближении к дому. Убранство коня было самое простое, без украшений золота и серебра: тонко выделанная, с дорожкой посредине, красная ременная уздечка, металлические стаканчиками стремена и красный чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба с видневшимся около шеи и рукавов черным мехом, стянутая на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха с черной кистью, обвитая белой чалмой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зеленых чувяках, и икры обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым шнурком.

Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное подстриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджи-Мурата с детьми тоже со всеми обитателями сакли вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха Патимат, мать Хаджи-Мурата, не вышла, а осталась сидеть, как она сидела, с растрепанными седеющими волосами, на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени, и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она, так же как и сын ее, всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его.

Не видел также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджи-Мурата. Он только слышал из своей темной вонючей ямы выстрелы и пение и мучился, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишенные свободы. Сидя в вонючей яме и видя все одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, злых, большей частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, гарцовали теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели: «Ля илляха иль алла».

Проехав аул, Шамиль въехал в большой двор, примыкавший к внутреннему, в котором находился сераль Шамиля. Два вооруженных лезгина встретили Шамиля у отворенных ворот первого двора. Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам, были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени и стояли так все время, пока Шамиль проезжал двор от одних, внеш-

них, ворот до других, внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дожидавшихся его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих заботы о них, он, с тем же неизменно каменным лицом, проехал мимо них и, въехав во внутренний двор, слез у галереи своего помещения, при въезде в ворота налево. После напряжения похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены и, переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы колеблются, и некоторые из них, ближайшие к русским, уже готовы перейти к ним. Все это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного: отдыха и прелести семейной ласки любимейшей из жен своих, восемнадцатилетней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет.

Но не только нельзя было думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же, за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения (Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора), но нельзя было не только пойти к ней,— нельзя было просто лечь на пуховиках и отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к которому он не имел теперь ни малейшего расположения, но неисполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него самого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его.

Первый вошел к нему его тесть и учитель, высокий, седой, благообразный старец, с белой, как снег, бородой и красно-румяным лицом, Джемал-Эдин, и, помолившись богу, стал расспрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.

В числе всякого рода событий — об убийствах по кровомщению, о покражах скота, об обвинениях в несоблюдении предписаний тариката: курении табаку, питии вина,— Джемал-Эдин сообщил о том, что Хад-

жи-Мурат выслал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джемал-Эдин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидают его.

Поев у себя обед, который принесла ему остроносая, черная, неприятная лицом и нелюбимая, но старшая жена его, Зайдет, Шамиль пошел в кунацкую.

Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в чалмах и без чалмов, в высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше всех их. Все они, так же как и он, подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву, потом отерли лица руками, спуская их по бородам и соединяя одну с другой. Окончив это, все сели, Шамиль — посредине, на более высокой подушке, и началось обсуждение всех предстоящих дел.

Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шариату: двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство, троих помиловали. Потом приступили к главному делу: к обдумыванию мер против перехода чеченцев к русским. Для противодействия этим переходам Джемал-Эдином было составлено следующее провозглашение:

«Желаю вам вечный мир с богом всемогущим. Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумил вас тогда, в 1840 году, бог, вы бы уже были солдатами и ходили, вместо кинжалов, со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, а я с кораном и с шашкой приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским».

Шамиль одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его.

После этих дел было обсуждаемо и дело Хаджи-Мурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаться в этом,— он знал, что, будь с ним Хаджи-Мурат с своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи-Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо; если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал русским. И потому во всяком случае надо было вызвать его и, вызвав, убить его. Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там, или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно — его семья и, главное, его сын, к которому, Шамиль знал, что Хаджи-Мурат имел страстную любовь. И потому надо было действовать через сына.

Когда советники переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк.

Советники знали, что это значило то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал:

— Приведите ко мне сына Хаджи-Мурата.

— Он здесь,— сказал Джемал-Эдин.

И действительно, Юсуф, сын Хаджи-Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но все еще красивый и своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва.

Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего или знал, но, не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного: продолжения той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в кунацкую и, остановившись у двери,

встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами, белую руку.

— Ты сын Хаджи-Мурата?

— Я, имам.

— Ты знаешь, что он сделал?

— Знаю, имам, и жалею об этом.

— Умеешь писать?

— Я готовился быть муллой.

— Так напиши отцу, что, если он выйдет назад ко мне теперь до Байрама, я прощу его, и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то,— Шамиль грозно нахмурился,— я отдам твою бабку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову.

Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа. Он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля.

— Напиши так и отдай моему посланному.

Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа.

— Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди.

Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля, но, когда его вывели из кунацкой, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму.

В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смерклось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а Зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отыскивая ее, и нарочно не пошла к себе. Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то выходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.

XX

Хаджи-Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна ссорилась с мохнатым Ханефи (Хаджи-Мурат взял с собой только двух — Ханефи и Элдара) и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения и симпатии к Хаджи-Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидать его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров.

Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджи-Муратом. Иногда Хаджи-Мурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему. Иногда они беседовали через переводчика, иногда же собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджи-Мурат, очевидно, полюбил Бутлера. Это видно было по отношению к Бутлеру Элдара. Когда Бутлер входил в комнату Хаджи-Мурата, Элдар встречал Бутлера, радостно оскаливая свои блестящие зубы и поспешно подкладывая ему подушки под сиденье, и снимал с него шашку, если она была на нем.

Бутлер познакомился и сошелся также и с мохнатым Ханефи, названным братом Хаджи-Мурата. Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджи Мурат, в угождение Бутлеру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее.

Песня относилась к кровомщению,— тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом.

Песня была такая:

«Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, моя родная мать. Порастет кладбище могильной травой, заглушит трава твое горе, мой старый отец.

Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

«Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь со мной.

«Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами и, когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Поэзия особенной, энергической горской жизни, с приездом Хаджи-Мурата и сближением с ним и его мюридами, еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, ноговицы. Ему казалось, что он сам горец и что живет такою же, как и эти люди, жизнью.

В день отъезда Хаджи-Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола, с водкой, чихирем и закуской, когда Хаджи-Мурат, одетый подорожному, быстрыми мягкими шагами вошел, хромая, в комнату.

Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петроковский, в первый раз видевший Хаджи-Мурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис.

— Айя,— сказал он.

— Он говорит, что да,— отвечал переводчик.

— Что же понравилось ему?

Хаджи-Мурат что-то ответил.

— Больше всего ему понравился театр.

— Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему?

Хаджи-Мурат нахмурился.

— У каждого народа свои обычаи. У нас женщины

так не одеваются,— сказал он, взглянув на Марью Дмитриевну.

— Что же ему не понравилось?

— У нас пословица есть,— сказал он переводчику,— собака угостила ишака мясом, и ишак собаку сеном,— оба голодные остались. — Он улыбнулся. — Всякому народу свой обычай хорош.

Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджи-Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой.

— Что ж? сливок? булку? — сказала Марья Дмитриевна, подавая ему.

Хаджи-Мурат наклонил голову.

— Так что ж, прощай! — сказал Бутлер, трогая его по колену. — Когда увидимся?

— Прощай, прощай,— улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат. — Кунак булур. Крепко кунак твоя. Время — айда пошел,— сказал он, тряхнув головой как бы тому направлению, куда надо ехать.

В дверях комнаты показался Элдар, с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджи-Мурат поманил его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджи-Мурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджи-Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал:

— Он говорит: ты похвалила бурку, возьми.

— Зачем это? — сказала Марья Дмитриевна, покраснев.

— Так надо. Адат так,— сказал Хаджи-Мурат.

— Ну, благодарю,— сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку. — Дай бог вам сына выручить. Улан якши, — прибавила она, — переведите ему, что желаю ему семью выручить.

Хаджи-Мурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Элдара шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику:

— Скажи ему, чтобы мерина моего бурого взял, больше нечем отдарить.

Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в

комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что эта была настоящая гурда.

Бутлер вышел вместе с Хаджи-Муратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал и что могло кончится смертью Хаджи-Мурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость.

Жители кумыцкого аула Таш-Кичу, питавшие большое уважение к Хаджи-Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого наиба, за три дня до отъезда Хаджи-Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумыцкие же князья, жившие в Таш-Кичу и ненавидевшие Хаджи-Мурата и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи-Мурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмирило горцев и послало Хаджи-Мурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджи-Мурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось.

Но в самую минуту отъезда Хаджи-Мурата, когда он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арслан-Хан.

Увидав Хаджи-Мурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджи-Мурата. Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану. Арслан-Хан выстрелил и не попал. Хаджи-Мурат же, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то по-татарски крикнул.

Бутлер и Элдар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел и Иван Матвеевич.

— Что же это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость? — сказал он, узнав, в чем дело. — Нехорошо это, брат. В поле две воли, а что же у меня резню такую затевать?

Арслан-Хан, маленький человечек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджи-Мурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи-Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь.

— За что он его убить хотел? — спросил Бутлер через переводчика.

— Он говорит, что такой у нас закон,— передал переводчик слова Хаджи-Мурата. — Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить.

— Ну, а если он догонит его дорогой? — спросил Бутлер.

Хаджи-Мурат улыбнулся.

— Что же,— убьет, значит так алла хочет. Ну, прощай, — сказал он опять по-русски и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марьей Дмитриевной.

— Прощай, матушка,— сказал он, обращаясь к ней,— спасиб.

— Дай бог, дай бог семью выручить,— повторила Марья Дмитриевна.

Он не понял слов, но понял ее участие к нему и кивнул ей головой.

— Смотри, не забудь кунака,— сказал Бутлер.

— Скажи, что я верный друг ему. Никогда не забуду,— ответил он через переводчика и, несмотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенес свое тело на высокое седло и, ощупав привычным движением пистолет, оправив шашку, с тем особенным, гордым, единственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханефи и Элдар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим мюршидом.

Как всегда, начались толки об уехавшем.

— Молодчина!

— Ведь как волк бросился на Арслан-Хана, совсем лицо другое стало.

— А надует он, плут большой, должно быть,— сказал Петроковский.

— Дай бог, чтобы побольше русских таких плутов было,— вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна. — Неделю у нас прожил и, кроме хорошего, ничего от него не видали,— сказала она. — Обходительный, умный, справедливый.

— Почем вы это все узнали?

— Стало быть узнала.

— Втюрилась, а? — сказал вошедший Иван Матвеевич,— уж это как есть.

— Ну, и втюрилась. А вам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший. Он татарин, а хороший.

— Правда, Марья Дмитриевна,— сказал Бутлер. — Молодец, что заступилась.

XXI

Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить: они уходили и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню, вследствие назначения нового начальника левого фланга князя Барятинского.

Князь Барятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную собрал отряд, с тем чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышев писал Воронцову. Собранный в Воздвиженской отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес. Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его Марья Васильевна приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не были секретом отношения Барятинского с Марьей Васильевной, и потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большей частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер; но для того чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами честили солдаты и не принятые в высшее общество офицеры.

В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся

своих однокашников по Пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Барятинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Барятинского начальнику левого фланга генералу Козловскому.

Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Все напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели: по одну сторону Козловский, по другую Барятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева — жена Воронцовы. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело болтали и пили с соседями-офицерами. Когда дошло до жаркого, денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру:

— Осрамится наш «как».

— А что?

— Да ведь ему надо речь говорить. А что же он может?

— Да, брат, это не то, что пулями завалы брать. А еще тут рядом дама да эти придворные господа. Право, жалко смотреть на него,— говорили между собою офицеры.

Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Барятинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал:

— По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры,— сказал он. — Но считайте меня всегда как с вами... Вам, господа, знакома, как, истина — один в поле не воин. Поэтому все, чем я на службе моей, как, награжден, всем, как, чем осыпан великими щедротами государя импе-

ратора, как, всем положением моим, как, и добрым именем, всем, всем решительно, как... — здесь голос его задрожал, — я, как, обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои! — И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза. — От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю, задушевную признательность...

Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Все это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Барятинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат, и гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином и военным восторгом, к которому и так были особенно склонны.

Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелек, но, наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать.

И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уже боялся счесть то, что было за ним записано. Он, не считая, знал, что, отдав все жалованье, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл еще, но адъютант с строгим лицом положил своими белыми, чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, сказал, что он пришлет из дому, и, когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль

его и что все, даже Полторацкий, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, и все бы было хорошо, думал он. А теперь было не только не хорошо, но было ужасно.

Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна по тому, что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его.

На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел, но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить четыреста семьдесят рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет процентах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу, зная, что у него или, скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, прося его дать ему взаймы пятьсот рублей.

— Я бы дал...,—сказал Иван Матвеевич,— сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж прижимисты, черт их знает. А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. У того черта, у маркитанта нет ли?

Но у маркитанта нечего было и пробовать занимать. Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы.

XXII

Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью, он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел

бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский и он переговорит с ним. Тогда Хаджи-Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург и между тем все-таки разрешил Хаджи-Мурату переехать в Нуху.

Для Воронцова, для петербургских властей, так же, как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджи-Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в кавказской войне, или просто интересным случаем; для Хаджи-Мурата же это было, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как ни трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех, и он действительно обдумывал план нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который, он думал, легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи-Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьей к русским, но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать это в месте заключения семьи в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место, тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджи-Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за выручку семьи.

В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры

и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи-Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи.

Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи-Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи-Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов, передал Хаджи-Мурату желание Воронцова, чтобы он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.

— Якши,— сердито сказал Хаджи-Мурат.

Чиновник Кириллов не понравился ему.

— А деньги привез?

— Привез,— сказал Кириллов.

— За две недели теперь, — сказал Хаджи-Мурат и показал десять пальцев и еще четыре. — Давай.

— Сейчас дадим,— сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. — И на что ему деньги? — сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи-Мурат не понимает, но Хаджи-Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с Хаджи-Муратом, с тем чтобы иметь что передать по возвращении своем князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос.

— Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги.

И, сказав это, Хаджи-Мурат опять сел к столу, собираясь считать деньги.

Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десяти золотых (Хаджи-Мурат получал по пять золотых в день), он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат ссыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул стат-

ского советника по плеши и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил и пристав. Но Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.

— Что с ним станешь делать,—сказал пристав. — Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает.

Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи-Мурату. Один из лазутчиков был мясистый черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи-Мурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будут помогать Хаджи-Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи-Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджи-Мурат думал, и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджи-Мурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал:

— Идите..

— Какой будет ответ?

— Ответ будет, какой даст бог. Идите.

Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал.

«Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? — думал Хаджи-Мурат. — Он, лисица, обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того как я побыл у русских, уже не поверит мне»,— думал Хаджи-Мурат.

И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети,— сказали они,— туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». — Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его.

«Так заключают и меня»,— думал Хаджи-Мурат.

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»

«Это можно»,— думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя.

«Но надо сейчас решить, а то он погубит семью».

Всю ночь Хаджи-Мурат не спал и думал.

XXIII

В середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем,— Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вошел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи, и ударили в уши свист и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому.

Пройдя сени, Хаджи-Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окно. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи-Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и Хан-Магома спали. Хаджи-Мурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.

— Зашей и эти,— сказал Хаджи-Мурат, подавая Элдару полученные нынче золотые.

Элдар взял золотые и тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сел, скрестив ноги.

— А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья,

пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко,— сказал Хаджи-Мурат.

— Порох есть, пули есть. Будет готово,— сказал Гамзало и зарычал что-то непонятное. Гамзало понял, для чего Хаджи-Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного: побить, порезать, сколько можно, русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджи-Мурат, и был доволен.

Когда Хаджи-Мурат ушел, Гамзало, разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороха, затыкали хозыри с отмеренными зарядами пороха пулями, обернутыми в масляные тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом.

Перед рассветом Хаджи-Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чище, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи-Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, крове звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи-Мурату песню. Хаджи-Мурат остановился и стал слушать.

В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал с своими молодцами с русской стороны табун белых коней, как потом его настиг за Тереком русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но, прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны».

Этими словами кончалась песня, и к этим послед-

ним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: «Ля илляха иль алла»,— и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье, и свист из сада, и равномерное шипение, и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.

Хаджи-Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату. Совершив утренний намаз, Хаджи-Мурат, осмотрев свое оружие, сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав спал.

Песня Ханефи напоминала ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было,— было тогда, когда Хаджи-Мурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать.

Песня была такая:

«Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев. Не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик-джигит».

Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи-Мурата, и смысл песни был тот, что, когда родился Хаджи-Мурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-Хана, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи-Мурата, выкормившую старшего ее сына, Абунунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи-Мурата рассердился и приказал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню.

Хаджи-Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать — не такою сморщенной, седою и с решеткой зубов, какою он оставил

ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду.

И вспомнился ему и морщинистый, с седой бородкой, дед, серебренник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел с матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку.

И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне, Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец-джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его (он был выше отца) дышала отвагой, молодостью и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий, длинный стан, длинные, сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном.

— Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать и бабку,— сказал Хаджи-Мурат.

И Хаджи-Мурат помнил то выражение молодечества и гордости, с которым покраснел от удовольствия Юсуф, сказав, что, пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи-Мурат уже не видал ни жены, ни матери, ни сына.

И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль! О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать.

Мысли эти так взволновали Хаджи-Мурата, что он

не мог более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, крикнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали.

— Поди, скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней,— сказал он.

XXIV

Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигитовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще вином. Он пил все больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный, сильный отпор, пристыдивший его.

В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Барятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты Кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты, разбрелись по казармам и угощивались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам. И, как и водилось, здешние офицеры угащивали пришедших.

Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню: «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы, трай-рай-ратата́й, в прошедшие годы». Бутлер был

тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой.

Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну, в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он, немного совестясь, избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней.

— Вы куда? — спросил он.

— Да своего старика проведать,— дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергала ухаживание Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее.

— Что же его проведывать, придет.

— Да придет ли?

— А не придет — принесут.

— То-то, нехорошо ведь это,— сказала Марья Дмитриевна. — Так не ходить?

— Нет, не ходите. А пойдем лучше домой.

Марья Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так молча они совсем уж подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем.

— Это кого бог несет? — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась.

Месяц светил взад приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знала его.

— Петр Николаевич, вы? — обратилась к нему Марья Дмитриевна.

— Я самый,—сказал Каменев. — А, Бутлер! Здрав-

ствуйте. Не спите еще? Гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?

— А вон, слышите,— сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни. — Кутят.

— Это что же, ваши кутят?

— Нет, пришли из Хасов-Юрта, вот и угощаются.

— А, это хорошее дело. И я поспею. Я к нему ведь только на минуту.

— Что же, дело есть? — спросил Бутлер.

— Есть маленькое дельце.

— Хорошее или дурное?

— Кому как! Для нас хорошее, кое для кого скверное,— и Каменев засмеялся.

В это время и пешие и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.

— Чихирев! — крикнул Каменев казаку. — Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.

— Ну, достань-ка штуку, — сказал Каменев, слезая с лошади.

Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь? — обратился он к Марье Дмитриевне.

— Что же бояться, — сказала Марья Дмитриевна.

— Вот она, — сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. — Узнаете?

Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полуоткрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское, доброе выражение.

Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом.

Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.

— Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он.

— Удрать хотел, поймали,— сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером.

— И молодцом умер,— сказал Каменев.

— Да как же это все случилось?

— А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям и аулам, показываю.

Было послано за Иваном Матвеевичем, и он, пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева.

— А я к вам,— сказал Каменев,— Хаджи-Мурата голову привез.

— Врешь? Убили?

— Да, бежать хотел.

— Я говорил, что надует. Так где же она, головато? Покажи-ка.

Крикнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.

— А все-таки молодчина был,— сказал он. — Дай, я его поцелую.

— Да, правда, лихая была голова,— сказал один из офицеров.

Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку.

Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула.

— А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь? — говорил один офицер.

— Нет, дай я его поцелую, он мне шашку подарил,— кричал Иван Матвеевич.

Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась.

— Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил Бутлер.

— Все вы живорезы, терпеть не могу, живорезы, право,— сказала она, вставая.

— То же со всеми может быть,— сказал Бутлер, не зная, что говорить. — На то война.

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна,— и какая война! Живорезы,— вот и все. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право,— повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход.

Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробнее, как было все дело.

И Каменев рассказал.

Дело было вот как.

XXV

Хаджи-Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе была полусотня, из которой разобраны были по начальству человек десять, остальных же, если их посылать, как было приказано, по десять человек, приходилось наряжать через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пяти человек, прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров, но 25 апреля Хаджи-Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи-Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи-Муратом, и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех, но Хаджи-Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый Назаров. Он был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями.

— Смотри, Назаров, не пускай далеко! — крикнул воинский начальник.

— Слушаю, ваше благородие,— ответил Назаров и, поднимаясь на стремена, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго крупного горбоносого рыжего мерина. Четыре казака ехали за ним:

Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик,— тот самый, который продал порох Гамзале; Игнатов, отслуживающий срок немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой; Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись, и Петраков, молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый.

С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и на только что распустившейся листве, и на молодой, девственной траве, и на всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги. Хаджи-Мурат ехал шагом; казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты две, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардинца; он пошел про́ездом так, что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки.

— Эх, лошадь добра под ним,— сказал Ферапонтов. — Кабы в ту пору, как он не мирной был, ссадил бы его.

— Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.

— А я на своем перегоню,— сказал Назаров.

— Как же, перегонишь,— сказал Ферапонтов.

Хаджи-Мурат все прибавлял хода.

— Эй, кунак, нельзя так. Потише! — прокричал Назаров, догоняя Хаджи-Мурата.

Хаджи-Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же про́ездом, не уменьшая хода.

— Смотри, задумали что, черти,— сказал Игнатов. — Вишь, лупят.

Так прошли с версту по направлению к горам.

— Я говорю, нельзя! — закричал опять Назаров.

Хаджи-Мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с про́езда перешел на скок.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул Назаров, задетый за живое.

Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджи-Муратом.

Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадью, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался, что с каждым скоком набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему. Хаджи-Мурат сообразил по топоту крупной лошади казака, приближающегося к нему, что он накоротке должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца.

— Нельзя, говорю! — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи-Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел.

— Что ж это ты делаешь? — закричал Назаров, хватаясь за грудь. — Бей их, ребята,— проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла.

Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее носившей его вокруг товарищей испуганной лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувыркнулся с лошади.

Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефи с Хан-Магомой бросились за ним, но он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его.

Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефи с Хан-Магомой вернулись к своим. Гамзало, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан-Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджи-Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты три от Нухи, среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.

Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба, всхлипывая, умирал.

— Батюшки, отцы мои родные, что наделали! — вскрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи-Мурата. — Голову сняли! Упустили, разбойники! — кричал он, слушая донесение Мишкина.

Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы за бежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как Хаджи-Мурат с товарищами ускакал от казаков, больше двухсот человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.

Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от пота белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула Беларджик, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, налево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь через Алазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса и тогда уже, вновь переехав через реку лесом, проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-Мурат и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.

Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они все еще не доехали до реки. Влево был островок

с распустившимися листиками кустов, и Хаджи-Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи. Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться, сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурат с своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но, когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи-Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их.

И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слушал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разостлал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый Хан-Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник, с своими милиционерами.

«Что ж, будем биться, как Гамзат»,— подумал Хаджи-Мурат.

После того как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в догоню Хаджи-Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных. Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов, захватив с собою старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей уверившись, что Хаджи-Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджи-Мурата живого или мертвого.

Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней

и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукеры тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат работал вместе с ними.

Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал:

— Эй! Хаджи-Мурат! Сдавайся! Нас много, а вас мало.

В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов, и пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, поливала кровью молодую траву. Хаджи-Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед, и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались броситься на Хаджи-Мурата и его людей, но все более и более отдалялись от них и стреляли только издалека, наобум.

Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи-Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага мехтулинский с своими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага, так же, как Карганов, начал с того, что закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался, но, так же как и в первый раз, Хаджи-Мурат ответил выстрелом.

— В шашки, ребята! — крикнул Гаджи-Ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты.

Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим несколько выстрелов. Чело-

века три упало, и нападавшие остановились и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджи-Мурата и его людей. Хаджи-Мурат бил без промаха; точно так же редко выпускал выстрелы даром Гамзало и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел: «Ля илляха иль алла» — и, не торопясь, стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи-Мурата и высовываясь из-за завала. Волосатый Ханефи с засученными рукавами и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджи-Мурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полки. Хан-Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и, не переставая, визжал и стрелял с руки, без подсошек. Его первого ранило. Пуля попала ему в шею, и он сел на зад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи-Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять.

— Бросимся в шашки, — в третий раз говорил Элдар.

Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь, на ногу Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи-Мурата. Рот, с выдающейся, как у детей, верхней губой, дергался, не раскрываясь. Хаджи-Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым Элдаром и стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем все пел, медленно заряжая и целясь.

Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану.

Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова, с его хитрым белым лицом, и слышал его мягкий голос, то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.

И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбежавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался.

Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногой. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.

И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все ми-

лиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей (Ханефи, Курбана и Гамзалу связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу.

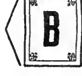
Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце.

Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.

НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

ДЯДЕНЬКА ЖДАНОВ И КАВАЛЕР ЧЕРНОВ[1]

(Первая редакция)



В 1828 году, в одну из артиллерийских рот, расположенных на Кавказской линии, пригнали 25 человек рекрут. Это все была молодежь — мясистая, неуклюжая, с белыми стрижеными головами и унылыми толстыми лицами. Между ними был один только Чернов, высокий мужчина с русыми усами и ловкими самоуверенными движениями, который обращал на себя внимание. На Чернове была розовая рубаха, он играл на балалайке, плясал и вечно шутил и смеялся. Артель невольно поддалась его влиянию, ему повиновались и старались подражать, но веселье других рекрут было как-то неловко и жалко. — Только один рекрут никогда не пытался отуманиться вином, балалайкой и хохотом; не скрывал своего горя и искренно предавался ему. Это был маленький, белоголовый парень <с большими голубыми глазами>; он никогда не подходил к товарищам, не пил, не разговаривал, не слушал, а с вечно опущенной головой садился в сторонке, доставал складной ножик, единственное свое имущество, брал какую-нибудь палочку, строгал ее и плакал. — О чем он думал, о чем он плакал? Бог его знает.

Товарищи трунили над ним, заставляли его пить. Он напивался и плакал еще больше и приговаривал. Хотели, чтобы он тоже поставил касуху. Он отказался.

[1] Угловыми скобками обозначен текст, зачеркнутый Л. Н. Толстым, а квадратными — редакторский текст. — *Ред.*

Его прибили, и он отдал последние 2 рубля и опять заплакал. Когда рекрутов пригнали в роту, унтер-офицер сказал фельдфебелю, что из рекрутов «солдат бойкий выйдет».>

1854

(Вторая редакция)

Хочу рассказать простую историю двух людей, которых я знал долго и так близко, как знают только товарищей. Одного из них я много любил, а над участью другого часто горько задумывался. — Это были два солдата в батарее, в которой я служил юнкером на Кавказе, и которых обоих уже нет на этом свете. В 1828 году в партии рекрут пригнали их на линию.

Один из них, Чернов, из дворовых людей Саратовской губернии, был высокий, стройный мужчина, с черными усиками и бойкими, разбегавшимися глазами. На Чернове была розовая рубаха,— он весь поход играл на балалайке, плясал, пил водку и угащивал товарищей.

Другой рекрут — Жданов, из крестьян той же губернии, был невысокий, мясистый парень лет девятнадцати с большими круглыми голубыми глазами и белым стриженым затылком.

У Жданова всего имущества было четыре рубахи, складной ножик и двугривенный денег. Он не мог поить товарищей, но так же, как и они, старался отуманиться вином и весельем. Веселье его однако было как-то неловко <дико> и жалко. Раз его напоили, и он таки пошел плясать на цыпочках по-солдатски, но вдруг расплакался, бросился на шею Чернову и [стал] приговаривать такую дичь, что всем смешно стало. На другой день он поставил касуху и опять плакал. Большую часть времени по походам он спал, а ежели не спал, то подходил к Чернову и, разинув рот, слушал его россказни, прибауточки и все смеялись.

Унтер-офицер, который гнал партию и которого Жданов боялся пуще огня, передал фельдфебелю в роте: «Чернов и другие хорошие есть, а что Жданов вовсе дурачок и что над ним много битья будет». И действительно, Жданову битья много было. Его били на ученьи, били на работе, били в казармах. Кротость и

отсутствие дара слова внушили о нем самое дурное понятие начальникам; а у рекрутов начальников много: каждый солдат годом старше его мыкает им куда и как угодно.

В первое время переход от слабого присмотра, который бывает за рекрутами, к строгости и даже несправедливости обращения с молодыми солдатами на месте совершенно озадачили бедного Жданова. Он вообразил, что он очень дурен и что ему нужно стараться быть лучшим, и начал стараться. Он сделался усердным — до глупости, но положение его от этого становилось еще хуже. У него не было минуты отдыху: каждый солдат помыкал им, как мальчишкой, и считал себя вправе требовать от него того, что он делал по собственной охоте, и взыскивать с него. — Когда он наконец понял, что усердие вредит только его положению — им овладело отчаяние. «Так что же это в самом деле! — думал он,— что делать? Так вот оно солдатство!» — и бедняк не видел исхода и горько плакал по ночам на своем наре.

Моральное состояние это продолжалось недолго — исхода действительно не было. Одно оставалось — терпеть. И он терпел не только безропотно, но с убеждением, что одна обязанность его терпеть и терпеть.

Его выгоняли на ученье,— он шел, давали в руку тесак и приказывали делать рукой так,— он делал, как мог, его били,— он терпел. Его били не затем, чтобы он делал лучше, но затем, что он солдат, а солдата нужно бить. Выгоняли его на работу, он шел и работал, и его били; его били опять не затем, чтобы он больше или лучше работал, но затем, что так нужно. — Он понимал это. Кончалась работа или ученье, он шел к котлу, брал кусок хлеба, садился поодаль и кусал свой кусок, ни о чем не думая. Как только в голову ему заходила мысль, он пугался ее, как нечистого навождения, и старался заснуть.

Когда старший солдат подходил к нему, он снимал шапку, вытягивался в струнку и готов был со всех ног броситься, куда бы ни приказали ему, и, ежели солдат поднимал руку, чтоб почесать в затылке, он уже ожидал, что его будут бить, жмурился и морщился...

КАК УМИРАЮТ РУССКИЕ СОЛДАТЫ

(Тревога)



1853 году я несколько дней провел в крепости Чахгири, одном из самых живописных и беспокойных мест Кавказа. На другой день моего приезда, перед вечером, мы сидели с знакомым, у которого я остановился, на завалинке перед его землянкой и ожидали чая. Капитан N, наш добрый знакомый, подошел к нам.

Это было летом; жар свалил, белые летние тучи разбегались по горизонту, горы виднелись яснее, и быстрые ласточки весело вились в воздухе. Два вишневые дерева и несколько однообразных подсолнечников недвижимо стояли перед нами и далеко по дороге кидали свои тени. В двухаршинном садике было как-то тихо и *уютно*.

Вдруг в воздухе раздался дальний гул орудийного выстрела.

— Что это? — спросил я.

— Не знаю. Кажется, с башни,— отвечал мой знакомый, — уж не тревога ли?

Какой-то казак проскакал по улице, солдат пробежал по дороге, топая большими сапогами, в соседнем доме послышался шум и говор. Мы подошли к забору.

— Что такое? — спросили мы у деньщика, который в полосатых штанах, поддерживаемых одной помочею, почесывая спину, бежал по улице.

— Тревога! — отвечал он, не останавливаясь,— барина ищу.

Капитан N схватил папаху и, застегиваясь, побежал домой. Его рота была дежурная. Раздался второй и третий выстрел с башни.

— Пойдемте на кручь, посмотрим, верно, на водопое что-нибудь, — сказал мне мой знакомый. — Не туши самовар, — прибавил он деньщику, — сейчас придем.

По улицам бежал народ: где казак, где офицер верхом, где солдат с ружьем в одной и мундиром в другой руке. Испуганные рожи жидов и баб показывались у ворот, в отворенных дверях и окнах. Все было в движении.

— Где, братцы мои, тревога? где? — спрашивал запыхавшийся голос.

— За мостом антирелийских лошадей забирают,— отвечал другой,— такая большенная партия, братцы мои, что беда.

— Ах ты, мои батюшки! как они в крепость-то ворвутся, ай-аяй-ай-ай! — говорила слезным голосом какая-то баба.

— А, примерно, к Шамилю в жены не желаете, тетушка? — отвечал, подмигивая, молодой солдат в синих шароварах и с папахой набекрень.

<— Ишь, ровно на свадьбу, — говорил старый солдат, покачивая головой на бегущий народ,— делать-то нечего.

Два мальчика галопом пролетели мимо нас.

— Эх, вы, голубчики! на тревогу! — провизжал один из них, размахивая хлыстом.>

Едва мы успели подойти к круче, как нас уже догнала дежурная рота, которая с мешочками за плечами и ружьями наперевес бежала под гору. Ротный командир, капитан N, верхом ехал впереди.

— Петр Иваныч! — закричал ему мой знакомый,— хорошенько их.

Но N не оглянулся на нас: он с озабоченным выражением глядел вперед, и глаза его блестели более обыкновенного. В хвосте роты шел фельдшер с своим кожаным мешочком, и несли носилки. Я понял выражение лица ротного командира.

Отрадно видеть человека, смело смотрящего в глаза смерти; а здесь сотня людей всякий час, всякую минуту готовы не только принять ее без страха, но — что гораздо важнее — без хвастовства, без желания отуманиться, спокойно и просто идут ей навстречу. <Хороша жизнь солдата!>

Когда рота была уже на полугоре, рябой солдат с загорелым лицом, белым затылком и серьгой в ухе, запыхавшись подбежал к круче. Одной рукой он нес ружье, другой придерживал суму. Поравнявшись с нами, он споткнулся и упал. В толпе раздался хохот.

— Смотрите, Антоныч! не к добру падать,— сказал балагур солдат в синих штанах.

Солдат остановился; усталое, озабоченное лицо его вдруг приняло выражение самой сильной досады и строгости.

— Кабы ты был не дурак, а то ты самый дурак,— сказал он с презрением,— что ни на есть глуп, вот что,— и он пустился догонять роту.

Вечер был тихий и ясный, по ущельям, как всегда, ползли тучи, но небо было чисто, два черных орла высоко разводили свои плавные круги. На противуположной стороне серебряной ленты Аргуна отчетливо виднелась одинокая кирпичная башня — единственное владение наше в Большой Чечне. В некотором расстоянии от нее партия конных чеченцев гнала отбитых лошадей вверх по крутому берегу и перестреливалась с солдатами, бывшими в башне.

Когда рота перебежала через мост, чеченцы были от нее уже гораздо далее ружейного выстрела, но, несмотря на то, между нашими показался дымок, другой, третий, и вдруг беглый огонь по всему фронту роты. Звук этой трескотни выстрелов секунд через пятьдесят, к общей радости толпы зрителей, долетел до нас.

— Вот она! Ишь пошли! Пошли, пошли-и! Наутек,— послышались в толпе хохот и одобрение.

— Ежели бы, то есть, постепенно отрезать их от гор, не могли бы себе уходу иметь,— сказал балагур в синих штанах, обращавший своим разговором внимание всех зрителей.

Чеченцы, действительно, после залпа поскакали шибче в гору; только несколько джигитов из удальства остались сзади и завязали перестрелку с ротой. Особенно один на белом коне в черной черкеске джигитовал, казалось, шагах в пятидесяти от наших, так что досадно было глядеть на него. Несмотря на беспрерывные выстрелы, он разъезжал шагом перед ротой; и только изредка около него показывался голубоватый дымок, долетал отрывчатый звук винтовочного выстрела. Сейчас после выстрела он на несколько скачков пускал свою лошадь и потом снова останавливался.

— Опять выпалил, подлец,— говорили около нас.

— Вишь, сволочь, не боится. Такое слово знает,— замечал говорун.

— Задело, задело, братцы мои,— вдруг послышались радостные восклицанья,— ей-богу, задело одного! Вот важно-то! Ай лихо! Хоть лошадей не отбили, да убили черта одного. Что, дофарсился, брат? —

и т. д. Действительно,> между чеченцами вдруг стало заметно особенное движение, как будто они подбирали раненого, а вперед их побежала лошадь без седока. Восторг толпы при этом виде дошел до последних пределов — смеялись и хлопали в ладоши. За последним уступом горцы совершенно скрылись из виду, и рота остановилась.

— Ну-с, спектакль кончен,— сказал мне мой знакомый,— пойдемте чай пить.

— Эх, братцы, нашего-то, кажись, одного задели,— сказал в это время старый фурштат, из-под руки смотревший на возвращавшуюся роту,— несут кого-то.

Мы решили подождать возвращения роты.

Ротный командир ехал впереди, за ним шли песенники и играли одну из самых веселых, разлихих кавказских песен. — На лицах солдат и офицера я заметил особенное выражение сознания собственного достоинства и гордости.

— Нет ли папиросы, господа? — сказал N, подъезжая к нам,— страх курить хочется.

— Ну что? — спросили мы его.

— Да черт бы их побрал с их лошадьми <паршивыми>,— отвечал он, закуривая папиросу. — Бондарчука ранили.

— Какого Бондарчука?

— Шорника, знаете, которого я к вам присылал седло обделывать.

— А, знаю, белокурый.

— Какой славный солдат *был*. Вся рота им держалась.

— Разве тяжело ранен?

— Вот же, навылет, — сказал он, указывая на живот.

В это время за ротой показалась группа солдат, которые на носилках несли раненого.

— Подержи-ка за конец, Филипыч,— сказал один из них,— пойду напьюсь.

Раненый тоже попросил воды. Носилки остановились. Из-за краев носилок виднелись только поднятые колена и бледный лоб из-под старенькой шапки.

Какие-то две бабы, бог знает от чего, вдруг начали выть, и в толпе послышались неясные звуки сожаления, которые вместе с стонами раненого производили тяжелое, грустное впечатление.

— Вот она есть, жисть-то нашего брата,— сказал, пощелкивая языком, красноречивый солдат в синих штанах.

Мы подошли взглянуть на раненого. Это был тот самый беловолосый солдат с серьгой в ухе, который спотыкнулся, догоняя роту. Он, казалось, похудел и постарел несколькими годами, и в выражении его глаз и склада губ было что-то новое, особенное. — Мысль о близости смерти уже успела проложить на этом простом лице свои прекрасные, спокойно-величественные черты.

— Как ты себя чувствуешь? — спросили его.

— Плохо, ваше благородие,— сказал он, с трудом поворачивая к нам отяжелевшие, но блестящие зрачки.

— Бог даст, поправишься.

— Все одно когда-нибудь умирать,— отвечал он, закрывая глаза.

Носилки тронулись; но умирающий хотел еще сказать что-то. Мы еще раз подошли к нему.

— Ваше благородие,— сказал он моему знакомому. — Я стремена купил, они у меня под наром лежат — ваших денег ничего не осталось.

. . . .

На другое утро мы пришли в госпиталь наведать раненого.

— Где тут солдат восьмой роты? — спросили мы.

— Который, ваше благородие? — отвечал белолицый исхудалый солдат с подвязанной рукой, стоявший у двери.

— Должно, того спрашивают, что вчера с тревоги принесли,— сказал слабый голос с койки.

— Вынесли.

— Что, он говорил что-нибудь перед смертью? — спро[сили мы].

— Никак нет, только дыхал тяжело,— отвечал голос с койки,— он со мной рядом лежал, так дурно пахло, ваше благородие, что беда.

. . . .

Велики судьбы славянского народа! Не даром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!..

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий сборник включены художественные произведения Л. Н. Толстого, написанные в разные периоды его жизни, но объединенные темой Кавказа, за исключением написанных специально для детей. Особенностью данного сборника является попытка в предисловии и примечаниях воссоздать историко-политическую картину кавказской войны первой половины и середины XIX века, а также конкретные обстоятельства жизни и военной службы Л. Н. Толстого, послужившие побуждением и основой для создания им кавказских произведений. Издание такого рода осуществляется впервые. Тексты печатаются по изд.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 3, 6, 35. М.—Л., Гослитиздат, 1932, 1929, 1950.

«Набег». Рассказ впервые опубликован в журнале «Современник», 1853, № 3, за подписью «Л. Н.». Создавался в мае — декабре 1852 года на основе реального события — набега на аул Автуры, в котором добровольцем участвовал Л. Н. Толстой. Во второй половине июня 1851 года отряд из нескольких пехотных рот, сотни казаков и взвода орудий батарейной № 4 батареи, которым командовал Н. Н. Толстой, выступил из Горячеводского укрепления и соединился в крепости Грозной с другим отрядом. Всего в экспедиции было 7100 штыков и 1956 сабель при 19 орудиях. В Грозной Толстой получил разрешение у командующего левым флангом Барятинского на участие в набеге. В дневнике от 3 июля 1851 года записано: «Тоже действовал нехорошо: бессознательно и трусил Барятинского». Отряд удачно форсировал

реку Аргун и прорвался к чеченскому аулу Автуры, насчитывавшему 900 дворов. Цель экспедиции — осмотр местности для будущих военных действий и выбор удобного места для постройки укрепления — была выполнена. В «Набеге» сохранились некоторые черты участников операции: в капитане Хлопове узнается симпатичный Толстому капитан Хилковский, в Аланине — прапорщик Буемский, в Розенкранце — поручик Пистолькорс, в генерале — Барятинский. После напечатания «Набега» Толстой записал в дневнике: «Меня сильно беспокоит, что Б. узнает себя...»

Барятинский Александр Иванович (1814—1879), князь, генерал-фельдмаршал. Вопреки воле родителей в 20 лет поступил на военную службу и отправился в «школу характеров» — на Кавказ. В 1835 году был тяжело ранен и едва не попал в плен к горцам. В 1845 году в чине полковника снова напросился на Кавказ, участвовал в Даргинской экспедиции. В 1851 году стал начальником левого фланга кавказских войск. Именно тогда он побудил поступить на военную службу Толстого. В 1853 году Барятинский был назначен начальником главного штаба кавказской армии, но не ужился в Тифлисе и вернулся в Петербург. В 1856 году был назначен наместником на Кавказе. В 1859 году русские войска под его командованием окружили и взяли штурмом аул Гуниб, где засел Шамиль с несколькими сотнями своих приверженцев. Сдавшийся в плен Шамиль был принят с почетом и отправлен с семьей на жительство в Калугу, откуда отпущен в 1870 году в Мекку, где и умер.

Толстой хорошо знал черты характера Барятинского и вывел его в ряде произведений, подчеркивая всюду его славу большого сердцееда.

Судя по первоначальным вариантам, рассказ постепенно облагораживался, исчезала «сатира», смахивавшая на полковые сплетни. Как-то: капитан А., место которого занял Хлопов, недалек, завистник, чудак и, по слухам, горький пьяница. «Знакомый адъютант, который желает только получить поскорее чин капитана и тепленькое местечко и по этому случаю сделался врагом горцев...»

Отсылая «Набег» Некрасову, Толстой писал ему 26 декабря 1852 года: «Не выпускайте, не прибавляйте и, главное, не переменяйте в нем ничего... Ежели, против чаяния, цензура вымарает в этом рассказе слишком много, то, пожалуйста, не печатайте его в изувеченном виде, а возвратите мне». Опасения оправдались. 6 апреля 1853 года Некрасов сообщал: «Признаюсь, я долго думал над измаранными его (рассказа. — *Д. Ж.*) корректурами — и наконец решился напечатать, сознавая по убеждению, что хотя он и много испорчен, но в нем осталось еще много хороше-

го. Это признают и другие...» Тургенев тогда сказал: «Ежели этот молодой человек будет продолжать так, как он начал... он далеко пойдет».

В издании «Военных рассказов» 1856 года Толстому удалось восстановить некоторые пропуски, и текст этот считается каноническим.

Стр. 33. *В Дарги ходили...* — После разгрома русскими войсками аула Ахульго в 1840-х годах резиденцией Шамиля стал чеченский аул Дарго, где были продовольственные склады и небольшой арсенал. Расположенный в лесистой местности, на плато с обрывистыми подступами, Дарго в июле 1845 года был взят отрядом главнокомандующего на Кавказе М. С. Воронцовым, но экспедиция едва не кончилась катастрофой из-за успешных контратак горцев. Окруженный отряд был выручен генерал-лейтенантом Фрейтагом, пришедшим на помощь с войсками Чеченской линии. Русские войска потеряли более трех тысяч солдат и офицеров и трех генералов.

Стр. 34. *...прочтите Михайловского-Данилевского...* — Михайловский-Данилевский А. И. (1790—1848) — военный историк, генерал-лейтенант, автор «Описания Отечественной войны 1812 года», которое невысоко ценилось некоторыми современниками, в том числе и Толстым. Из-за неточностей, допущенных историком в его труде, он получил у современников шутливое прозвище «последнего баснописца».

Стр. 40. *...Мулла-Нуров и т. п.* — Мулла-Нур — герой одноименной повести А. А. Бестужева-Марлинского (1797—1837).

Стр. 43. *...из «Лючии».* — «Лючия ди Ламермур» — опера итальянского композитора Г. Доницетти (1797—1848).

«Рубка леса». Рассказ впервые опубликован в журнале «Современник», 1855, № 9, за подписью «Л. Н. Т.» и с посвящением И. С. Тургеневу. Создавался с лета 1853 года до лета 1855 года. В основу положены личные впечатления Толстого от зимнего похода 1852 года. В январе Барятинский задумал операцию, которая заставила бы немирных горцев Малой Чечни либо сложить оружие и переселиться на равнинный берег Сунжи, либо отступить в глубь гор. Толстой вернулся из Тифлиса, где сдавал экзамены и получил звание юнкера, в Старогладковскую, но не застал брата, который уже выступил в поход в составе отряда из 24 орудий, 12 сотен кавалерии и 11 батальонов пехоты. Толстой приехал в лагерь в бассейне реки Аргун, где между Шалинской просекой и Мезоинской поляной шла вырубка леса. Батарея Толстого входила в отряд генерал-майора Вревского, который должен был за-

вязать бои с горцами в ущелье рекн Рошия. Утром 17 января колоииа пробралась сквозь густой лес и атаковала чеченцев у завалов. Отход отряда прикрывали артиллеристы, среди которых был Толстой. Одиим из сиарядов был смертельио раиеи наиб Эльмурза, руководивший горцами. После соедииения с основным отрядом Толстой получил приказ отправиться с тяжелым орудием (едииорогом) в Герзельаул, расположенный между укреплениями Хасав-Юрт и Курииским, где пробыл иесколько диeй. В первых числах февраля Толстому был дан приказ присоедиииться к действующему в Большой Чечне отряду Барятииского. 6 февраля отряд выступил иа рекогиосцировку, а затем солдаты вырубалн лес у Аргуиа, Джалки и Мичика под огнем горцев. О событиях 15 февраля участник похода В. Полторацкий писал: «Если мы понесли в этот день иичтожиую сравнительио потерю, то миого обязаны этим артиллерии» (Исторический вестиик, 1893, № 5, с. 360). 17 февраля отряд двииулся дальше, в глубь Чечии. Ночевали в ауле Маюртуп. Барятииский, предупрежденный, что джигнты, прячущиеся в ауле, поклялнсь зарезать его, расположился со штабом в хижииах иа окраиие. Шамиль, иаходившийся поблизости, иа склоие Черных гор, ие пожелал даже укрыться в сакле от холода. С восходом солнца колоииа русских войск двииулась в укрепление Курииское. В густом тумаие показалнсь атаковавшие горцы, завязалась артиллерийская перестрелка. Толстой был фейерверкером одного нз орудий, которыми комаидовал его брат. «Трескотия была ужасная,— вспомииал Толстой. — А это сильио возбуждает иервы, так что о смерти даже и ие думаешь. Вдруг одно из иеприятельскнх ядер ударило в колесо пушки, раздробило обод и с ослабевшей силой помяло шииу второго колеса, около которого я стоял. Не попади ядро в обод первого колеса, мие, вероятно, было бы плохо...» (Сергеенко А. П. Как живет и работает Л. Н. Толстой. М., 1908, с. 106). Пехота дралась врукопашиую. Со стороны Курииского подоспел на выручку отряд полковиика Бакланова, и после соединения колоииа начала переправу через реку Гонсаул. Орудия втаскнвались иа обледеиевшие кручи в сплошном тумаие. Шесть тысяч горцев с четырьмя орудиями во главе с Шамилем уже ждали колоину. Отступлеиие ее прикрывали восемь батарейиых и четыре легких орудня. Н. А. Волкоиский вспомииал: «Тихо спускались сумерки. Местиость представляла собою жерло ада: какими-то кровавыми клубами вылетал дым из двеиадцати орудий... вдали горели иеприятельские батареи и представляли собою особую фантасмагорию. В лесу — возгласы, крики, которые, казалось, хотели осилить грохот орудий» (Кавказский сборник, т. 5. Тифлис, 1880, с. 129—130). К девяти вечера каиоиада

стихла, и колонна к ночи добралась до Куринского. Толстой вспоминал, что спали на полу вповалку и что казаки угостили его с товарищами вкусным козленком. 22 февраля Толстой добрался до крепости Грозной, в 2 марта уже был в Старогладковской.

Так же как «Набег» выкристаллизовался из задуманной корреспонденции «Письмо с Кавказа», в основу «Рубки леса» легли наброски, которые стал делать Толстой после благоприятного приема редакцией «Современника» рассказа «Набег». Еще 13 октября 1852 года Толстой записал в дневнике: «Хочу писать кавказские очерки для образования слога и денег». Планы и названия все время менялись. Мелькнула «Поездка в «Мамакай-Юрт». Определенно обозначилась работа над «Дневником кавказского офицера». И явно раздумьями над увиденным навеяны в дневнике 26 октября 1853 года такие строки: «Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное». Толстой все еще в нерешительности, за что же ему приняться вплотную, и записывает в декабре: «1) «Дневник кавказского офицера», 2) Казачья поэма (повесть «Казаки».— *Д. Ж.*), 3) Венгерка, 4) «Пропащий человек» (потом «Разжалованный».— *Д. Ж.*), через десять дней упоминает «Записки фейерверкера», пока не появилось окончательное название — «Рубка леса. Рассказ юнкера».

14 июля 1855 года Толстой писал Некрасову, что хочет посвятить рассказ И. С. Тургеневу. «Эта мысль пришла мне потому, что, когда я перечел статью («Рубку леса».— *Д. Ж.*), я нашел в ней много невольного подражания его рассказам». Тургенев написал незнакомому еще тогда Толстому: «...Благодарю Вас душевно за посвящение мне Вашей «Рубки леса» — ничего еще во всей моей литературной карьере так не польстило моему самолюбию» (Тургенев И. С. Собр. соч. Т. 12. М., 1958, с. 193). Рассказ имел большой успех у критики. В статье «Заметки о журналах за сентябрь 1855 года» Некрасов писал: «Мастерство рассказа, полное знание изображаемого быта, замечания, исполненные тонкого и проницательного ума,— вот достоинства рассказа г. Л. Н. Т.» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. IX. М., 1952, с. 332).

Из «Рубки леса», по словам Некрасова, тоже «вылетело несколько драгоценных черт» при прохождении цензуры. В «Военных рассказах» 1856 года произведение вышло в более полном, чем в журнале, виде.

Стр. 82. *...Пассек, Слепцов...* — Пассек Д. В. (1808—1845) — генерал-майор, отличившийся в период кавказской войны.

В 1843 году его отряд, окруженный войсками Хаджи-Мурата у с. Зиряны («Зирянское сидение»), героически сопротивлялся до подхода отряда генерала Гурко. В 1844 году разбил у с. Гили двадцатитысячное войско наиба Кибитта-Магомы. Во время Даргинской экспедиции командовал авангардом и был сражен пулей. Слепцов Н. П. (1815—1851) — генерал-майор, кончил Горный институт, но избрал военную карьеру; вместе с Пассеком отличился в Аварии. В 1845 году назначен командиром вновь формируемого 1-го линейного Сунженского казачьего полка, основал станицы Троицкую, Сунженскую (потом Слепцовскую) и др. Взял Шалинский окоп, участвовал во многих сражениях. Убит 10 декабря 1851 года в бою на реке Гехи.

Стр. 91. *...при осаде Гергебиля...* — Гергебиль — аул в Северном Дагестане. Было две неудачные попытки царских войск взять аул, в 1847 и 1848 годах.

Стр. 93. *...под Индейской горой...* — Имеется в виду Андийский хребет, отрог Главного Кавказского хребта. Здесь находился аул Дарго.

«Из кавказских воспоминаний. Разжалованный». Рассказ впервые опубликован в журнале «Библиотека для чтения», 1856, № 12, под заглавием «Встреча в отряде с московским знакомым. Из кавказских записок князя Нехлюдова». Задуман в 1853 году на Кавказе, написан в Петербурге в ноябре 1856 года. В основу рассказа положены впечатления от встреч с лицами, разжалованными в рядовые и отбывавшими наказание в действующей кавказской армии. Известны встречи Толстого с петрашевцами А. И. Европеусом и Н. С. Кашкиным, а также с А. М. Стасюлевичем. Цензор отнесся к рассказу строго, заставил переменить название и смягчить некоторые места. В литературных кругах, как писал В. П. Боткин, рассказ «прошел почти незаметным».

Стр. 99. *Воронцов* Михаил Семенович (1782—1856) — князь, генерал-фельдмаршал. Детство и юность провел в Лондоне, где его отец был русским послом. Военную службу начинал на Кавказе, в 1803—1804 гг. участвовал в различных военных походах и едва не погиб в Закатальском ущелье. Сражался с наполеоновскими войсками в Померании, при Фридланде; на турецком театре военных действий в 1810 году, командуя особым отрядом, занял Плевну, Ловчу и Сельви. В Отечественную войну 1812 года сражался при Смоленске, под Бородином был ранен. Под г. Крайоном в 1814 году выдержал сражение против самого Наполеона. До 1818 года был командиром русского оккупационного корпуса во Франции. С 1823 года — новороссийский генерал-губернатор и

полномочный наместник Бессарабской области, занимался развитием торговли, виноделия, сельского хозяйства. Удостоен Пушкиным эпиграммы: «Полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, полуневежда, полу-подлец, но есть надежда, что будет полным, наконец». В 1844 году назначен главнокомандующим войск на Кавказе с неограниченными полномочиями. Пребывал на этом посту до 1853 года.

Стр. 102. *...венгерской кампании.* — Интервенция Австрии и России против революционной Венгрии в 1848—1849 гг.

«Казаки». Повесть впервые опубликована в журнале «Русский вестник», 1863, № 1. В ней отразились впечатления Толстого от станицы Старогладковской, в которой он жил долгое время. По приезде он поселился у некоего Глушкана на Новой улице, затем переехал в дом богатого казака есаула Алексея Ивановича Сехина. Жил Толстой и у его брата бобыля Епифана (в повести Ерошка). В настоящее время в станице указывают целый ряд домов, в которых квартировал Толстой. По одной из версий, в доме хорунжего и учителя Ильи Васильевича Максимова он платил за постой сперва «два монета», а когда влюбился в дочь хозяина Зину (в повести Марьяну), то и все шесть. По воспоминаниям сослуживца братьев Толстых В. М. Щелкачева, Николай Толстой был компанейским человеком, а Лев «гордый был, другие пьют, гуляют, а он сидит один; книжку читает». Потом Лев Толстой сошелся с офицерами, «благородными, храбрыми, простыми» людьми. В станице насчитывалось в 1851 году 1195 жителей, были широкие прямые улицы, площадь с домом командира, лавкой купца Агабекова, старообрядческой моленной (разрушавшаяся православная церковь находилась на окраине). Станицу окружали ров и плетень, в котором было двое охраняемых ворот. Дома на высоких цоколях (от наводнений) были добротными, чистыми, обмазанными снаружи глиной и побеленными. У каждой семьи были виноградники, лошади, волы, свиньи. Большое место в экономике станицы занимала коллективная ловля рыбы в Тереке «багреньем». Толстой внимательно приглядывался к укладу казацкой жизни, описанному потом в «Казаках», купил две лошади, упражнялся в джигитовке и стрельбе, ходил с Епифаном Сехиным на охоту в обширный лес на берегу Терека, посещал мирные и даже немирные аулы, присутствовал на казачьих гуляньях.

7/19 апреля 1863 года Тургенев писал к Фету о восторге, который вызвали у него вышедшие «Казаки». «Одно лицо Оленина портит общее великолепное впечатление,— продолжал он. — Для контраста цивилизации с первобытной нетронутой природой не

было никакой нужды снова выводить это возящееся с самим собой, скучное и болезненное существо».

Однако когда позднее Тургенев перечитывал эту повесть, он все больше убеждался, что она — шедевр «всей русской повествовательной литературы», а Толстой был прав и точен, когда рисовал психологический портрет Оленина.

Но стоило бы обратить внимание на тургеневские слова «снова выводить это возящееся с самим собой... существо», за которыми стоит все тот же «журнал» Печорина и десятки других произведений русской и мировой литературы. Писатель (в какую бы маску он ни рядился) прежде всего черпает материал для психологических характеристик в самом себе и, являясь по своей природе существом сложным, мечтательным и мнительным во взаимоотношениях с людьми до болезненности, не может скрыть этого в своих произведениях, особенно если он к тому же молод и очень талантлив. Именно это и подкупает читателя, который в свое время пережил те же чувства, а тем более если он тоже молод. Мотив приобщения горожанина к деревенской жизни, мотив любовного томления молодого человека, неопытного и робкого в определенном смысле, мотив физиологического влечения к красивой женщине, чья жизнь протекает на глазах героя,— все это извечно, а после «Казаков» стало литературным стереотипом, процветающим и в наши дни, хотя о прямых заимствованиях говорить трудно.

И так же трудно говорить со всей определенностью об автобиографичности «Казаков», о соотнесенности фигуры Оленина с личностью автора, хотя в повести слишком много соблазнительных совпадений. В очень сложной десятилетней истории создания «Казаков» выявляется первоначальный замысел, в котором не было места никакому Оленину, а была идея написания этнографических очерков, воспроизводящих историю, быт и нравы гребенских казаков, что, впрочем, органично вошло в окончательный вариант повести. Поиски формы начались уже через несколько месяцев после того, как в октябре 1852 года упомянуты в дневнике «рассказы Япишки (в повести Ерошка. — *Д. Ж.*) об охоте, о старом житье казаков и о его похождениях в горах». Это был опыт поэмы, из которой рифмованными стихами была написана лишь одна сцена: «Эй, Марьяна, брось работу...» Несмотря на упорство в борьбе за непринужденность стиха и оригинальность рифмы, уже вскоре Толстой сурово оценил свой труд, подписав под ним: «Гадко!..», хотя и впоследствии, через годы, он не прекращал попыток ритмизировать свое сочинение, пробуя разные метры, заставляя Марьяну вспоминать о прощании с казаком в такой манере: «Шапку снял, прочь коня повернул и про-

щай! Только видела я, как он плетью взмахнул, справа, слева ударил по крепким ногам...»

Вскоре после вынесения приговора первой стихотворной попытке, летом 1853 года он начал писать прозой «Беглеца» — «казачью повесть», порой называемую и «казачьей поэмой», под чем подразумевалась поэтизация казачьей жизни, а не стихотворная форма. Потом на два года работа над повестью откладывается, но и занятый другими делами, Толстой где-то в глубине души еще питает надежду вернуться к ней. 9 июля 1854 года он записывает, перечитывая Лермонтова: «...Я начинаю любить Кавказ хотя посмертной, но сильной любовью. Действительно, хорош этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи: «война и свобода». И совершенно прав комментатор «Казаков» А. Е. Грузинский, заметивший рядом запись Толстого о том, что его поразили «Цыганы» Пушкина, которые вдруг стали понятны. Это был тот самый мотив, который давно уже занимал Толстого и вне связи с «Цыганами». Алеко — предтеча Оленина, освобожденного временем от чрезмерных романтических страстей.

Потом были Севастополь, Петербург, общение с Некрасовым, Панаевым, Боткиным, Дружининым, Анненковым, Тургеневым, Фетом, Гончаровым, Островским, Полонским, Алексеем Жемчужниковым и Алексеем Толстым, роман с соседкой по Ясной Поляне В. В. Арсеньевой, «Метель», «Два гусара», «Юность» и др., Швейцария, «Альберт», «Люцерн», пока в 1858 году не пришло время сказать: «Я весь увлекся «Казаками». Вообще за эти годы можно насчитать до сотни упоминаний о повести. В начале 1860 года Толстой велит себе «писать «Казаков» не останавливаясь», но смерть брата, поездки за границу, педагогическая деятельность в деревне, «Поликушка», обдумывание «Войны и мира» — все это откладывало окончательную отделку «Казаков», пока в 1862 году, после женитьбы, долги (проигравшись в карты, он уже взял у редактора «Русского вестника» под «роман Кавказский» тысячу рублей) не подтолкнули его на приведение в порядок обширного накопившегося материала, написание заново начала и придумывание развязки.

Публикация «Казаков» вызвала много критических откликов. В статьях Е. Эдельсона, Я. Полонского, П. Анненкова отмечалось противопоставление цивилизации и «простой» жизни. Демократическая критика (А. И. Головачев, Евг. Тур и др.), захваченная злободневными спорами об «отцах и детях», отнеслась к повести отрицательно, причислив ее к произведениям «чистого искусства», считая архаичной и даже ретроградной, уводящей от насущных проблем современности. Но все отмечали прекрасный

язык, яркость красок, верность природе. Впоследствии влияние «Казаков» чувствовалось во многих произведениях не только русской, но и мировой литературы.

Стр. 121. *Шевалье* — содержатель гостиницы и ресторана в Москве.

Стр. 129. *Аммалат-Бек* — герой одноименной повести А. Бестужева-Марлинского.

Стр. 192. *Куперов Патфайндер* — главный герой романа американского писателя Фенимора Купера «Следопыт».

«Хаджи-Мурат». Повесть начата в 1896 году и писалась до конца жизни. Впервые в печати появилась в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого» (т. III. М., 1912) с большими цензурными купюрами. Кроме личных впечатлений, Толстой опирался на великое множество воспоминаний очевидцев и архивных документов. «Когда я пишу историческое, я люблю быть до малейших подробностей верным действительности»,— писал Толстой к вдове бывшего военного начальника в Нухе, где был убит Хаджи-Мурат, Анне Авессаломовне Каргановой, желая знать, чьи были лошади, на которых бежал наиб, и какой они были масти. Список литературы, источников, использованных Толстым при работе над «Хаджи-Муратом», публиковался во многих изданиях, наиболее полный — в Полн. собр. соч., т. 35, с. 631—633. В тексте повести Толстой бережно воспроизводил дату каждого события, но не всегда имел возможность уточнить ее. Описывая события 23 ноября 1851 года, Толстой передает разговор офицеров о недавней смерти генерала Слепцова, который погиб позднее, 10 декабря. Возникает и некоторая путаница с датой побега и гибели Хаджи-Мурата — в одном месте повести она приурочена к 9 апреля, а в другом — к 25 апреля 1852 года...

Большая часть персонажей повести — исторические лица. Действуют или упомянуты: Николай I, М. С. Воронцов, военный министр А. И. Чернышев (1786—1857), генералы В. М. Козловский (1796—1873), П. П. Меллер-Закомельский (1806—1869), Ф. К. Клюки фон Клюгенау (1791—1851), А. И. Барятинский, Н. П. Слепцов, поручик В. М. Полторацкий (1828—1889), сын наместника, командир Куринского егерского полка С. М. Воронцов, М. Т. Лорис-Меликов (1825—1888), уездный воинский начальник г. Нухи И. В. Карганов, генерал-штаб-доктор кавказского наместничества Э. С. Андреевский, грузинская княжна Манана Орбелиани, графиня В. Г. Шуазель и др. Среди горцев — Шамиль, его наставник Джемал-Эдин, члены семьи, окружение, сам Хаджи-Мурат и его близкие, мусульманский проповедник шейх Мансур, первый имам

Кази-Мулла, второй имам Гамзат-Бек, хунзахские ханы, шамилевские наибы...

Жизненный путь Хаджи-Мурата рассказан в повести довольно подробно. Главное событие — выход Хаджи-Мурата — показано документально. Толстой приводит письмо М. С. Воронцова к Чернышеву от 20 декабря 1851 года, переведенное с французского историком А. Л. Зиссерманом. По-видимому, писатель не знал о существовании более раннего письма Воронцова к тому же адресату, от 30 ноября 1851 года, которое имеет помету «Доложено его величеству 15 декабря 1851» и слова Николая I: «Слава богу, важное начало!» Это письмо лишь подтверждает прозорливость Толстого.

«Я не знаю, дорогой князь, дошла ли до Вас кратчайшим путем новость о неожиданном появлении Хаджи-Мурата в Воздвиженском. Я сам не имею еще никаких официальных известий от Козловского. Однако письмом, отправленным во Владикавказ с нарочным, а оттуда эстафетой, мой сын сообщает мне следующее. Утром 23 ноября, получив от Хаджи-Мурата уведомление, что тот находится в окрестностях и хочет отправиться в Воздвиженское, он вышел ему навстречу с двумя ротами и, спросив предварительно разрешение у генерала Меллера, нашел Хаджи-Мурата в указанном месте и доставил его без каких-либо приключений в Воздвиженское. Хаджи-Мурат, не евший ничего 30 часов, был весьма рад позавтракать вместе с Симоном и его женой. Симон не особенно входит в подробности, но кажется, что Хаджи-Мурат направлялся в Ведено, склоняясь на просьбы и обещания Шамиля, но по дороге убедился, что ему уготовлена расправа, и решился, воспользовавшись советами и содействиями одного своего родственника в Малой Чечне, довериться нам. Хаджи-Мурат сказал, что беспокоится за свою семью, оставшуюся в Аварии. Если бы он вовремя дал им знать о своем решении и если бы он оставил с семьей надежных людей, то она имела бы время перебраться в Сулак, а затем отправиться в Темир-Хан-Шуру, где князь Аргутинский принял бы ее хорошо, не опасаясь мести и недоброжелательства, которые они могли бы встретить со стороны владетеля Шамхальского и его семьи.

Так как было бы плохо и совершенно бесполезно оставлять Хаджи-Мурата на Кавказской линии, я тотчас же послал полковника Агаева к генералам Завадовскому и Козловскому с приказом доставить Хаджи-Мурата сюда (в Тифлис. — *Д. Ж.*). Симон пишет мне, что генерал Меллер пока отправляет его в Грозную. Само собою разумеется, что здесь, в Тифлисе, я приму его хорошо и в соответствии с теми пожеланиями, которые Вы соблаговолили мне написать от имени его императорского величества.

Я скажу ему, что государь император прощает его, и дам ему приличное содержание. Далее все будет зависеть от нашего августейшего повелителя решить судьбу Хаджи-Мурата в зависимости от пользы, которую мы сможем из этого извлечь, и от услуг, которые он сможет нам оказать. В общем для нас было бы, конечно, более выгодно, если бы Хаджи-Мурат смог дольше продержаться в Дагестане как враг Шамиля; но как только это оказалось невозможным, для нас лучшим стало то, что его вражда с Шамилем теперь уже непримирима и он сдался нам. Шамиль потерял в нем самого активного и храброго из своих наибов, и все эти обстоятельства могут быть для него в Дагестане только неблагоприятными. Разумеется, я немедленно представлю Вам донесение обо всем, что узнаю официально». (Документ опубликован В. А. Дьяковым в журнале «Вопросы истории», 1973, № 5, с. 139—140.)

Исследуя отраженные в повести взаимоотношения русских властей с грузинской аристократией, горскими феодалами и старейшинами, нелишне вспомнить слова лорда Керзона, который, впрочем, дал оценку поведения русских в присоединенных областях вообще:

«Россия бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой... Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того предиамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами. Его непобедимая беззаботность делает для него легкой позицию невмешательства в чужие дела; и терпимость, с которой он смотрит на религиозные обряды, общественные обычаи и местные предрассудки своих азиатских собратьев, в меньшей степени итог дипломатического расчета, нежели плод врожденной беспечности». (Публикуется по кн.: Нестеров Ф. Ф. Связь времен. М., 1980, с. 108). Беседа Воронцова с Хаджи-Муратом в повести не подтверждает концовки рассуждения Керзона. Воронцовым руководит именно политический расчет. Несмотря на равнодушную ласковость, Воронцов не верит Хаджи-Мурату, считая его «врагом всему русскому», которого принудили покориться лишь обстоятельства. Хаджи-Мурат тоже проницательно остерегается опытного и хитрого Воронцова.

История многих событий кавказской войны, убийства аварских ханов, Гамзата, взаимоотношений с Шамилем передается через рассказ Хаджи-Мурата адъютанту наместника, будущему министру внутренних дел Лорис-Меликову. Любопытно, что в вариантах инициатором убийства ханов был Шамиль, но потом Тол-

стой, видимо, решил отвергнуть эту беллетристическую выдумку, не найдя ей реального подтверждения.

Стр. 339. *«Заслуживает смертной казни...»* — В основе этого случая лежит подлинный документ, но относящийся не к 1852 году, а к 1827 году. Тогда во время отсутствия Воронцова новороссийским губерниям управлял граф Пален, который доносил о тайном переходе через реку Прут двух евреев-контрабандистов во время карантина и считал, что конец подобным преступлениям может положить лишь смертная казнь. Император на его рапорте написал: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало и не мне ее вводить» (Русская старина, 1883, декабрь). После казни декабристов это звучало особенно лицемерно. Лесть придворных приводила к тому, что Николай приписывал себе стратегию покорения Кавказа, задуманную Ермоловым. Выход Хаджи-Мурата он счел следствием этой стратегии и приказал тревожить Чечню. Кстати, в результате этого предписания и был совершен набег в январе 1852 года, в котором участвовал фейерверкером Лев Толстой, и поэтому дело описано в «Хаджи-Мурате» особенно подробно. В результате аул Махкет был разорен, ненависть чеченцев искала выхода в обращении к Шамилю.

«Дяденька Жданов и кавалер Чернов». Рассказ впервые опубликован в Полном собрании сочинений, т. 3. М., 1932. Писался в 1854 году для задуманного Толстым журнала «Военный листок». Однако издание журнала не было разрешено, а рассказ получался явно неприемлемым для цензуры и поэтому остался незавершенным.

«Как умирают русские солдаты. (Тревога)». Рассказ впервые опубликован в книге «Лев Толстой. Неизданные художественные произведения». М., 1928. Написан в Севастополе осенью 1854 года для того же несостоявшегося «Военного листка». Толстой вернулся к работе над рассказом осенью 1858 года в Ясной Поляне, но и тогда не завершил работы.

СЛОВАРЬ

некоторых горских, казачьих и других трудных для понимания слов и выражений, встречающихся в кавказских произведениях Л. Н. Толстого

Абаз — ходившая на Кавказе восточная серебряная монета.
Абрек — беглый горец, разбойник.
Адат — обычай, неписаный закон у горцев.
Айя — да.
Алейкум-селям — ответное приветствие.
Аманат — заложник.
Ана — мать.
Анадысь — намедни.
Ана сени — горское ругательство.
Анджимах — праздник весны.
Арба — двухколесная повозка.
Атлар — лошадь.
Аул — село, деревня.

Байгуш — бедняк, нищий.
Банник — щетка для чистки орудийного ствола.
Бар — есть, имеется.
Баранчук — ребенок.

В середине XIX века многочисленные племена на Кавказе говорили на собственных языках и наречиях. При общении между собой они чаще всего употребляли одно из наречий тюркского языка, в частности кумыкское. Кроме того, в межплеменной язык входили слова из языков и наречий арабского, турецкого, персидского, аварского, чеченского, черкесского, ногайского и др. Казачья лексика изобиловала местными словами и заимствованиями из языков горцев.

В словаре использованы толкования слов, взятые из Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого.

Башлык — суконный капюшон.
Бек — старшина, горский феодал.
Бешмет — стеганый полукафтан, у женщин служил верхней одеждой, у мужчин надевался под черкеску.
Бисмилля хиррах мани ррахил — молитвословие, стоящее в начале каждой суры Корана (т. е.: во имя бога всемилостивейшего).
Бомбардир — старший солдат в орудийном расчете.
Булур — т. е. будет.
Бурка — плащ или накидка из войлока с прядями козьей шерсти.
Буттай — отец.

Ветлеватый — ветвистый.
Вука — коллективные работы.

Гирекма — т. е.: можно ли.
Грядка — боковой край саней.
Гу — молитвословие (О ты, который есть).
Гурда — особо ценимое на Кавказе оружие.
Гяур — презрительное название иноверца у мусульман.

Дгвар — вечерние чтения Корана в мечети.
Далай — припев к песне.
Данкнуть — звукоподражательное обозначение выстрела.
Джаваат — совет старейшин.
Джигит — искусный наездник, воин (с оттенком похвалы).
Джин — добрый или злой дух.
Докторальный — наставительный.
Духан — кавказская харчевня.

Егеря — солдаты стрелковых полков.
Единорог — род пушки.

Жид — иудей; израильтянин. В ответ на письмо М. Г. Рабкина (2 января 1910 г.) Толстой писал: «Слово жид, juif, Jude, Jew не имеет по существу никакого иного значения, как определение национальности, как француз и т. п. Если же слово это, к сожалению, получило в последнее время какое-то оскорбительное значение, то мною ни в каком случае не могло быть употребляемо в этом значении» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 3, с. 337).

Закат — десятая часть урожая, жертвуемая в мечеть и в пользу бедных.

Замордовать — затравить (на охоте).

Зарьять — задохнуться, надорваться с перегону (о борзой собаке).

Затыльник — задняя часть орудия с приспособлениями для наводки.

Зикр (а) — молитвословие.

Значок — кусок цветной материи, прибитый к древку, что-то вроде знамени у горцев.

Имам — мусульманский владыка, соединяющий в своем лице высшую духовную и светскую власть.

Иок — нет.

Истихар-намаз — особая молитва, к которой Шамиль прибегал, когда сомневался; состояла в загадывании: если приснится что-либо белое или зеленое, дело можно начинать, если черное или красное, надо отложить дело.

Кадий — духовное лицо, исполняющее обязанности судьи.

Казакин — кафтан на крючках, со сборками на груди и стоячим воротником.

Каймак — густые сливки или молоко, томленные в печи.

Карга — коряга, суковатый пень, целое дерево с корнями, снесенное водой.

Каюк — плоскодонка (лодка).

Квадрант — артиллерийский прибор.

Коробчить, или карабчить — воровать, обманывать.

Кошкильды, или хошгельди — «здравия желаем, мир вам» *(объяснение Толстого).*

Коран — священная книга мусульман.

Крючки — крюковые ноты, по которым пели в Московской Руси, а позже у старообрядцев.

Кумган — высокий медный кувшин с носиком и крышкой.

Кунак — друг.

Кура — метель, буран.

Курбан-Байрам — один из главных мусульманских праздников.

Курпей — овечья шкура; здесь — верх папахи.

Ладанка — маленькая сумочка с ладаном или иконкой, которую носили на груди вместе с крестом.

Ламорой — презрительное название у чеченцев — жителей гор — людей, живущих на равнинной плоскости.

Лапаз, или лабаз — сарай, навес, помост на столбах или деревьях.

Ливер — насос для вина.

Линейный казак — станичник, служащий в пограничном полку (на линии).

Локтать — лакать.

Лыча, или алыча — мелкая круглая слива.

Ляилаха илла ллах — молитвословие (т. е.: нет бога, кроме бога).

Марушка — женщина, жена.

Маштак — малорослая лошадь.

Милиционеры — горцы, сражавшиеся в кавказскую войну на стороне русских.

Минарет — башня, возвышающаяся над мечетью.

Монет — монета, металлический рубль.

Морифат — высшая степень религиозного духовного совершенства *(ислам.)*.

Мунафик — неискренний, лицемерный мусульманин.

Муталим — ученик муллы.

Муэдзин — служитель мечети, призывающий с минарета верующих к молитве в определенные часы.

Мюрид — послушник, «искатель истины». «Слово мюрид имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем» *(объяснение Толстого)*.

Мюршид — руководитель мюрида.

Наиб — «Наибами называют людей, которым вверено от Шамиля какая-нибудь часть управления» *(объяснение Толстого)*.

Намаз — повседневная молитва мусульман, совершаемая пять раз в сутки.

Натруска — сосуд, из которого сыпали порох на полку старинного ружья.

Нахабар — т. е.: что нового?

Ноговицы — куски сукна или кожи, охватывающие икры и голень и застегивающиеся сбоку.

Нуда — гнус, мошки, комары, оводы.

Нукер — служитель, телохранитель.

Однодворцы — потомки служилых людей (часто дворян), не имевшие больших земельных наделов и занимавшиеся крестьянским трудом.

Озипать, или озепать — сглазить.

Отур — т. е. садись.

Очко — отверстие в артиллерийском снаряде, куда вставлялась трубка, наполненная порохом.

Пальник — палка с железными щипцами на конце для фитиля (в артиллерии).

Пешкеш — подарок.

Пильгиши — клецки.

Побочин — возлюбленный.

Погребец — дорожная шкатулка с посудой и провизией.

Подсошки — подставка, на которую опирали ружье при стрельбе.

Похожие — казаки в походе.

Проезд — ход лошади между шагом и бегом.

Прокурат — проказник, шутник, плут.

Раина — пирамидальный тополь.

Рамазан — месяц главного поста у мусульман.

Распудрить гранату — приготовить гранату для заряда.

Рацнон — здесь: деньги на покупку корма для лошадей.

Рогаль — олень.

Родительское — сорт виноградного вина у казаков.

Сакля — хижина.

Сардарь — правитель, командующий войсками (горцы так называли царского наместника Кавказа).

Саубул — «будь здоров» *(объяснение Толстого)*.

Сежа — приспособление для рыбной ловли.

Селям-алейкум — т. е.: привет тебе, здравствуй.

Сераль — дворец.

Серничек — серная спичка.

Скородить — бороновать.

Субалтерн-офицер — офицер, подчинявшийся ротному командиру.

Тарикат — религиозное мусульманское учение о подвижнической жизни.

Татары — этим именем в XIX в. назывались многие тюркоязычные и некоторые иные народности Сев. Кавказа, Средней Азии, Поволжья и др. (у Толстого часто общее название горцев-мусульман).

Той — пир с музыкой, песнями и плясками.

Травянка — длинная тыква, из которой делают сосуды для жидкости.

Тулумбас — старинный барабан.

Уйде — «дома» *(объяснение Толстого).*

Улан — мальчик.

Улан-якши — молодец.

Уносы — постромки передней пары при запряжке четверней.

Уставщик — религиозный наставник у старообрядцев-беспоповцев.

Фейерверкер — артиллерийский унтер-офицер.

Флинта — ружье.

Фурштат — здесь: солдат, причисленный к военному обозу.

Хабар-нок — т. е.: нет ничего нового.

Хаджи — почетный титул мусульманина, совершившего паломничество в Мекку.

Хазават, или газават — «священная» война против неверных.

Хинкал — лепешка.

Хобот — рычаг для поворота орудийного ствола.

Хозыри, или газыри — карманчики для ружейных патронов, нашитые на черкеске по обеим сторонам груди.

Чакалка — шакал.

Чапра — выжимки, остающиеся после давки винограда.

Чапура — большая чашка для вина у казаков.

Черкеска — верхняя мужская одежда у горцев и казаков, длинный кафтан без воротника, в талию.

Чинара — дерево семейства платановых.

Чистый понедельник — понедельник первой недели великого поста, начинающегося непосредственно вслед за масленицей.

Чихирь — красное вино домашнего приготовления у казаков.

Чугуре — духовой музыкальный инструмент.

Чурек — лепешка из кукурузной или пшеничной муки.

Шариат — гражданское законодательство, основанное на Коране и других священных мусульманских книгах.

Шелыгаи — бездельник, шалопай.

Шейх — духовный наставник.

Шиига — шиит, последователь одного из двух главных толков (шиизм и суннизм) мусульманства.

Эмджек — молочный брат.

Ягу — см.: Гу.

Якши — т. е. хорошо.

Яхакк — т. е.: о, праведный боже!

СОДЕРЖАНИЕ

Толстой Л. Н.

Т53 Кавказские рассказы и повести/Сост., предисл., примеч. и словарь Д. Жукова. — М.: Сов. Россия, 1983. — 416 с.

В книгу вошли рассказы и повести, написанные Л. Н. Толстым в разные периоды его жизни, но объединенные темой Кавказа.

В статье и примечаниях воссоздаются конкретные обстоятельства жизни писателя, послужившие основой для создания им кавказских произведений, анализируются истоки мастерства великого художника слова.

Т $\frac{4702010100-138}{М-105(03)83}$ доп. — 83 **Р1**

Лев Николаевич Толстой

КАВКАЗСКИЕ РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Редактор **Э. С. Смирнова**
Художественный редактор **Г. В. Шотина**
Технические редакторы **В. А. Преображенская,**
Т. С. Мариина
Корректор **А. З. Лазуткина**

ИБ № 4019
Отпеч. с готовых матриц. Подп. в печ. 01.11.83. Формат 84×108/32. **Бумага № 1 тип. Гарнитура** литературная. Печать высокая. **Усл. печ. л.** 21,84, Усл. кр.-отт. 22,26. **Уч.-изд. л. 23,62.** Доп. тир. 175 000 экз. Заказ 42. Цена **2 р. 10 к. Изд. инд. ЛХ-371.**

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Отпечатано с матриц типографии им. Смирнова Смоленского облуправления издательств, полиграфии и книжной торговли на Книжной фабрике № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.



